

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ
ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

4

ИЮЛЬ — АВГУСТ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

МОСКВА — 1968

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Приветствие VI Международному съезду славистов	3
Я. Б е л и ч (Прага). Состояние и задачи чешской диалектологии	4
Й. Ш т о л ь ц (Братислава). Состояние, проблемы и задачи словацкой диалектологии	13
С. М и х а л ь к (Будышин). Исследовательская работа по сербо-лужицкой диалектологии	21

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

В. И. Г е о р г и е в (София). Фонематический и морфематический подход к объяснению флексии славянских языков	32
С. Б е р н ш т е й н (Москва). Введение в славянскую морфонологию	43
Я. В у й т о в и ч (Варшава). К вопросу о происхождении мазурения	60
Ю. С. М а с л о в (Ленинград). Об основных и промежуточных ярусах в структуре языка	69

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

В. В. К о л е с о в (Ленинград). К фонетической характеристике редуцированных гласных в русском языке XI в.	80
А. В. Б о н д а р к о (Ленинград). Общие и частные значения грамматических форм	87

ИЗ ИСТОРИИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Л. А. Б у л а х о в с к и й. Морфологическая проблематика русских наименований птиц	100
---	-----

ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНЫХ ЖУРНАЛОВ

Э. М. У л е н б е к (Лейден). Еще раз о трансформационной грамматике	107
--	-----

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Рецензии

Р. В. К р а в ч у к (Минск). <i>J. V. Rudnyč'kuj. An etymological dictionary of the Ukrainian language</i>	117
Я. С. О т р е м б с к и й (Познань). <i>Chr. S. Stang. Vergleichende Grammatik der baltischen Sprachen</i>	135
В. Г р и н а в е ц к и с (Вильнюс). <i>Z. Zinkevičius. Lietuvių dialektologija</i>	141
М. Ш и м у н д и ч (Марибор). <i>S. Babič. Sufiksalna tvorba pridjeva u suvremenom hrvatskom ili srpskom književnom jeziku</i>	144

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

В. И. М а л ы ш е в (Ленинград). Серьезный недостаток хорошего издания.	147
---	-----

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки	148
Книги, журналы и брошюры, поступившие в редакцию	151

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

О. С. Азманова, В. В. Виноградов (главный редактор),

В. М. Жирмунский (зам. главного редактора), П. С. Кузнецов, Э. А. Макаев, М. В. Панов, В. Э. Панфилов, И. И. Ревзин, Ю. В. Рождественский, Б. А. Серебrennikov, Н. И. Толстой (отв. секретарь редакции), О. Н. Трубачев

Адрес редакции: Москва, К-31. Кузнецкий мост, 9/10. Тел. 28-75-55

Приветствие

VI Международному

съезду славистов

Советские филологи приветствуют VI Международный съезд славистов и желают ему и всем его участникам большого успеха в работе.

VI Международный славистический съезд проходит в Праге, в стране, где зародилась славянская филология, где бессмертный Иосиф Добровский предопределил надолго пути дальнейшего движения славистической науки. Трудями И. Добровского, Й. Юнгмана, Ф. Челаковского, Я. Коллара, Ф. Палацкого, В. Ганки, П. Й. Шафарика и др. чешская и словацкая славистика в XIX в. заложила прочный фундамент славяноведения, открыла широкие перспективы его будущего строительства, лишенные националистических преград и шовинистической замкнутости, ведущие к равноправию и сотрудничеству всех наций и народов как славянских, так и неславянских. Русская славистическая школа, формировавшаяся при дружеской помощи чешских и словацких ученых, связанная с именами А. Х. Востокова, И. И. Срезневского, П. И. Прейса, О. М. Бодянского и В. И. Григоровича, развивала принципы славянской взаимности и интернационализма.

Возникшая в недрах Российской Академии наук еще в 1903 году, мысль о созыве съезда славянских филологов и историков могла осуществиться лишь более чем четверть века спустя, когда после Великого Октября славянские народы обрели свою государственную самостоятельность. В 1929 году Прага гостеприимно приняла славяноведов, собравшихся на свой первый международный съезд. Новыми идеями его участников и вдохновителей А. Мейе, И. А. Бодуэна де Куртенэ, В. Матезиуса, Н. С. Трубцецкого, Б. Гавранка, Б. Трнки, Я. Чекановского, Т. Лера-Сплавинского, Ю. Куриловича, А. Белича, М. Фасмера и др. до сих пор живет наше языкознание.

Славистические съезды стали регулярными, многочисленными по составу участников и разносторонними по своей научной проблематике лишь после Второй мировой войны, когда в славянских странах, ставших прочно на путь социалистического развития, были созданы все условия для плодотворной научной работы. Значительно возрос интерес к славянским языкам; литературе, истории и культуре в странах всех пяти континентов.

Советские слависты не сомневаются в том, что VI Международный съезд славистов пройдет в атмосфере дружбы, сотрудничества и взаимопонимания. Они приносят искреннюю благодарность чехословацким коллегам за их большую и самоотверженную работу по организации Пражского съезда.

Белокаменная Москва шлет свой братский привет Златой Праге!

Я. БЕЛИЧ

СОСТОЯНИЕ И ЗАДАЧИ ЧЕШСКОЙ ДИАЛЕКТОЛОГИИ

Чешская диалектология имеет более чем столетнюю традицию. Начало теоретическому изучению диалектов чешского языка положил А. В. Шембера, еще в сороковых годах XIX в. опубликовавший несколько небольших диалектологических исследований, в известном смысле представляющих подготовительный материал для его книги «Základové dialektologie československé» (Viedeň, 1864), первого полного обзора чешских и словацких диалектов. В настоящее время эта книга имеет значение прежде всего историческое, но некоторые разделы содержат интересные данные о не сохранившемся до наших дней состоянии диалектов.

С шестидесятых годов XIX в. начинают появляться исследования, посвященные отдельным диалектам. Среди них наибольший интерес представляет обзорная работа Ф. Бартоша «Dialektologie moravská» (Brno, 1 — 1886, 2 — 1895), содержащая описание диалектов Моравии и чешской части бывшей Силезии, т. е. диалектов восточных областей чешской языковой территории. «Диалектология» Бартоша в методологическом отношении превосходит книгу Шемберы и до сих пор служит надежным источником, несмотря на изменение состояния диалектов во многих местах. Благодаря этой книге чешские диалекты в Моравии долгое время были изучены гораздо детальнее, чем в Чехии (в известном смысле такое состояние сохраняется до сих пор). Фонетическое, морфологическое, отчасти также синтаксическое и лексическое описание диалектов, представленных в «Диалектологии», было дополнено словарем того же автора «Dialektický slovník moravský» (Praha, 1906). Словарь включает слова, отличающиеся от литературной лексики, с указанием на область или место, в котором данное слово засвидетельствовано, но без указания на общее географическое распространение.

На протяжении последних десятилетий XIX в. и до конца первой мировой войны появляется ряд диалектных статей и исследований, а также первые локальные и региональные монографии, выполненные с применением сравнительно-исторического метода. Еще до начала первой мировой войны в чешской диалектологии начинает распространяться также лингвогеографический метод. Тем не менее чешская диалектология в это время отстает от развития диалектологии в других странах, в том числе диалектологии некоторых славянских народов, как в отношении равномерного изучения диалектов в разных областях чешской территории, так и особенно в отношении методологическом. В известном смысле это дает себя знать до сих пор.

Поэтому Б. Гавранек в своей программной статье «K české dialektologii» («Listy filologické», 51, 1924, стр. 263 и сл.) подчеркивает необходимость расширить диалектологические исследования с привлечением специалистов-диалектологов. Отмечая необходимость как локальных монографий, так и монографий, описывающих диалекты более обширных областей, равно как и необходимость изучения отдельных языковых явлений на всей территории, он затрагивает также проблемы методоло-

гические, т. е. вопросы о способах собирания материала, о составлении диалектологических монографий и о принципах охвата территории при диалектологическом исследовании. Если для локальной монографии целью является полная фиксация и интерпретация всей системы диалекта в его современном состоянии, то в работах лингвогеографического характера, по мнению Б. Гавранка, необходимо переходить от простой инвентаризации географических различий к изучению их возникновения и распространения, их истории, т. е. переходить от простой лингвистической географии к «языковой геологии».

Первую реализацию программы Б. Гавранка представляет собой его работа «Nářečí česká» («Československá vlastivěda», III, 1934, стр. 84—218), где дается синтетическое описание диалектов чешского языка. Автор использует все доступные (в том числе рукописные) диалектологические работы предыдущего периода¹, а также собственные материалы и создает методологически совершенно новое исследование. В монографии соблюдается традиционное деление диалектов чешского языка на собственно чешские (занимающие приблизительно область бывшей Чешской земли), среднечешские, или ганацкие, моравско-словацкие (восточноморавские) и ляхские (силезские); специальное внимание уделяется проблемам классификации диалектов, переходным явлениям, отчасти также развитию интердиалектов и т. д. Отдельные диалектные группы представлены в монографии не как замкнутые в себе системы. Язык на всей территории и в отдельных ее участках представлен как единство, создаваемое целым рядом взаимосвязанных важных явлений и общих тенденций развития, но в то же время богато дифференцированное наличием ряда дифференциальных признаков.

Лингвогеографическая установка работы Б. Гавранка проявляется также в том, что в текст включено большое количество карт, показывающих границы отдельных явлений и их группировок в отдельных областях. В описании отдельных диалектных областей сказывается отчасти неполнота предыдущей монографической литературы, поэтому гораздо подробнее разработана, например, область среднечешских диалектов в сравнении с диалектами чешскими в узком смысле слова. Особое внимание уделяется диалектам силезским, в частности переходным диалектам чешско-польским. Проблемы языковой чешско-словацкой границы не были поставлены в полном объеме; область восточноморавских диалектов, в соответствии с бытовавшими тогда неверными представлениями о единстве чехословацкого языка, осталась в работе Б. Гавранка почти неисследованной; она была включена в описание словацких диалектов В. Важного².

Несмотря на известную неполноту, работа Б. Гавранка представляет собой значительное достижение чешской диалектологии. Вместе с тем стало ясно, какие диалектные области, явления и проблемы нуждаются в дальнейшем детальном изучении. Стала ясна также необходимость систематического собирания диалектного материала для диалектологического атласа чешского языка, составление которого завершило бы известный этап в развитии чешской диалектологии и одновременно создало бы предпосылки для новых диалектологических исследований в других направлениях.

¹ В работе приводится подробный указатель чешской диалектологической литературы; литературу более позднего периода см.: J. Bělič, *La dialectologie tchèque et slovaque depuis 1934*, «Philologica», 6, 1951, стр. 34 и сл.; то же: «Orbis», 1, 1952, стр. 193 и сл. Начиная с 1945 г. библиографические данные публикуются в «Bibliografie české lingvistiky» (автор З. Тыл), 1, 1955; 2, 1957, 3, 1963.

² V. Vážný, *Nářečí slovenská*, «Československá vlastivěda», III, 1934, стр. 210—310.

После выхода в свет работы Б. Гавранка по инициативе Ф. Травничка и Б. Гавранка появляются — сперва в Моравии — первые попытки систематического изучения диалектов. Диалектологическая комиссия Матицы Моравской в Брно основала с этой целью серию монографий «Moravská a slezská nářečí», которая началась работой А. Келлнера «Štramberské nářečí» (Brno, 1939), содержащей грамматическое описание небольшой подгруппы сilesских диалектов. Ее концепция стала во многом образцом для последующих работ, посвященных отдельным диалектным единицам.

Главная цель этих работ заключается в детальном изучении современного состояния данного диалекта, в частности его древнейшего, поддающегося выделению пласта. Одновременно (особенно в области фонетики) проводится исторический анализ, результаты которого можно использовать как в работах по исторической грамматике, так и при сопоставительном изучении диалектов и литературного языка. Новые монографии, совершенствующие метод Келлнера³, пытаются преодолеть атомарность предшествующего этапа сравнительно-исторического изучения; в них подчеркиваются структурные моменты, отличающие данный диалект от литературного языка. Меньше всего разрабатывается синтаксис, в описании которого преобладают явления, отличающиеся от литературного⁴. В лексическом разделе, как правило, приводятся лишь слова, не известные литературному языку, иногда даже редкие для самого диалекта; в результате этого состояние диалектной лексики в значительной степени представляется в извращенном виде. Исчерпывающий словарь какого-либо диалекта до сих пор не был опубликован. Из имеющихся опубликованных словарей следует отметить «Slovník středopavského nářečí» А. Лампгрехта (Ostrava, 1963), включающий общеупотребительные слова и старые названия из области сельскохозяйственного производства. Словарь дополняет грамматическое описание ядра западной сilesской группы, выполненное тем же автором⁵.

К «Брненской школе» принадлежат также монографии, содержащие детальное описание крупных диалектных областей. В первую очередь здесь следует назвать работу А. Келлнера «Východolašská nářečí» (Brno, 1 — 1946, 2 — 1949), наиболее обстоятельную работу в области чешской диалектологии вообще, в которой содержится описание диалектов переходной чешско-польской полосы в чехословацкой части так называемой тешинской Силезии на востоке от Остравы. Структура грамматического описания в методическом отношении не отличается существенным образом от предыдущих монографий; вместе с тем ввиду значительной дифференциации исследуемой области для наиболее существенных дифференциальных признаков указываются границы их распространения. В книге имеется также словарь, который не ограничивается лишь лексикой, отличной от литературного языка, как это имеет место в других работах, а включает основное ядро словарного состава данной области, на основании которого можно составить представление об отношении данной области как к чешским (или словацким) диалектам, так и к диалектам польским. От предыдущих работ монография Келлнера отличается попыткой установить происхождение и пути развития диалектов исследуемой области посредством анализа элементов польского и чешского типа, а также отдельных специфических областных явлений с привлечением исторических

³ См., например: F. g. K o r e š n ů, Nářečí Určic a okolí, Praha, 1957; в этой работе описывается центральная подгруппа среднеморавских диалектов.

⁴ Проблемы диалектного синтаксиса в последнее время находятся в центре внимания Брненской школы; см.: J. B a u e r, Skladba v nářečnických monografiích, сб. «Adolfu Kellnerovi», Орава, 1954, стр. 154 и сл. и др. работы. Члены этой группы опубликовали ряд статей, посвященных диалектовому синтаксису.

⁵ A. L a m p r e c h t, Středopavské nářečí, Praha, 1953.

данных. Выводы Келлнера об исконном чешском характере области являются односторонними и в значительной степени спорными, тем не менее полнота описания и надежность привлеченных данных позволяют этой монографии стать важным вкладом в многолетнюю польско-чешскую дискуссию о путях развития отмеченных переходных диалектов.

Крупная диалектная область исследуется также в работе Я. Белича «Dolská nářečí na Moravě» (Praha, 1954). В этой работе содержится описание и анализ языка переходной полосы, расположенной между южными частями восточноморавской и среднеморавской областей. В центре внимания находится главным образом фонетика и словоизменение (одна глава посвящена также словарю). В книге дается также реконструкция возникновения исследуемых диалектов на основе анализа изоглосс отдельных дифференциальных признаков и исторических данных. В отдельной главе исследуются современные тенденции развития данной области в направлении к единому интердиалекту и к единой общенародной форме языка.

Аналогичный метод использован в монографии Й. Скулины «Severní pomezí moravskoslovenských nářečí» (Praha, 1964), посвященной северной части восточноморавских диалектов. В книге имеются разделы о словообразовании и синтаксисе. Монографией, выполненной в плане регионального описания, является работа Ф. Сверака «Nářečí na Vřeclavsku a v dolním Pomoraví» (Brno, 1966), описывающая наиболее южную часть восточноморавских диалектов.

Независимо от чешской диалектологической школы возникла двухтомная работа К. Дейны «Polsko-laskie pogranicze językowe na terenie Polski» (Łódź, 1951, 1953). Первая часть представляет собой детальный атлас, отражающий дифференциацию небольших участков силезских диалектов чешского типа на польской территории и смежных с ними силезских диалектов польского типа. Вторая часть содержит анализ фонетических, отчасти также морфологических и лексических явлений. В известном смысле эта работа параллельна отмеченной выше работе Келлнера — она также анализирует проблемы возникновения и языкового характера переходной области. Выводы автора тоже во многих отношениях спорны; ведь принадлежность того или иного диалекта к той или иной национальной территории в переходной диалектной полосе определяется не лингвистическими критериями, опирающимися на пережиточные диалектные явления предыдущего периода, а историческими обстоятельствами в период становления современных наций⁶. Вместе с тем следует признать, что работа К. Дейны, продолжающая традиции развитой польской диалектологии, представляет первую обширную монографию, описывающую область диалектов чешского типа и использующую в максимальном объеме лингвогеографический метод.

Систематическое лингвогеографическое описание чешских диалектов начинается лишь с 1945 г. Под руководством Чешской диалектологической комиссии составляются подробные вопросники для отдельных диалектных областей чешского языка; с 1947 г. в Институте чешского языка в Праге и в Брно начинается собирание материала и картографирование⁷. На первом этапе вопросники ориентировались главным образом на проблемы фонетического и морфологического характера, известные из предшествующих работ; синтаксис ограничивался несколькими особенностями, харак-

⁶ См.: J. Bělič, Hranice mezi příbuznými jazyky a pomezí nářeční izoglosy, сб. «Československé přednášky pro V. mezinárodní sjezd slavistů v Sofii», Praha, 1963, стр. 135 и сл.

⁷ См.: V. Vážný, K otázce jazykového atlasu zemí českých, SaS, 16, 2, 1955, стр. 159 и сл., 260 и сл.

терными для отдельных областей. Вопросники заполняли в большинстве случаев работники без специальной диалектологической подготовки, преимущественно учителя общеобразовательных школ. Вследствие этого ответы эксплораторов были не всегда надежны, и пришлось оставить в стороне, например, некоторые фонетические тонкости. В то же время этот метод позволил собрать материал на очень густой сетке, включающей все населенные пункты в стране. Заполнено было всего 25 034 вопросника, для некоторых пунктов по два и больше.

Несмотря на некоторые недостатки анкетного опроса, результаты его можно считать положительными. Большое количество ответов по отдельным явлениям позволило уточнить распространение отдельных дифференциальных признаков с указанием их границ, переходных полос и «предполья» отдельных явлений. Было установлено, что границы отдельных дифференциальных признаков, в том числе тех из них, которые положены в основу детальной классификации чешских диалектов, не совпадают с распространением явлений, отмечаемым в предыдущих работах. Новые данные способствовали уточнению представлений о диалектах чешского языка и современном их состоянии, внесли некоторые уточнения в их классификацию и стали надежной основой для исследований в области развития диалектной дифференциации в прошлом в связи с развитием различных общественных и экономических формаций.

Уже во время картографической обработки материала в журналах и сборниках появляются лингвогеографические статьи, основанные на собранных новых материалах. Область юго-западной подгруппы чешских диалектов в узком смысле слова описывает Ворач в монографии «*Česká nářečí jihozápadní*» (Praha, 1955). На основании анализа комплекса основных фонетических и словоизменительных признаков в их современном состоянии на исследуемой территории автор приходит к важным заключениям (отчасти гипотетического характера), объясняющим возникновение отдельных явлений и обусловленность диалектных границ в юго-западной области историческими обстоятельствами. В монографии «*Nářečí přechodného pásu česko-moravského*» (Praha, 1960) С. Утешены устанавливает распространение фонетических и отчасти также морфологических явлений на широкой полосе вдоль чешско-моравской границы, с учетом особенностей языковой системы в целом и положения в других диалектах. Несколько работ этого типа подготовлено к печати. Диалектологические исследования этого рода следует признать более важными для чешской диалектологии, чем составление областных диалектных атласов без подробного анализа отдельных диалектных различий. Материал, хранящийся в архиве Института чешского языка, уже сейчас используется в статьях и работах синтетического характера; в будущем он будет служить надежным источником для работ этого рода.

И все же сводный атлас всей территории чешского языка на основе имеющегося материала составить невозможно, так как вопросники для отдельных областей составлялись большей частью изолированно, без учета других вопросников; поэтому собранный материал не позволяет картографировать данное явление и его распространение на примере одних и тех же слов. Это обстоятельство сказывается главным образом при изучении чешских диалектов в узком смысле слова, так как многие различительные признаки отчасти уже утрачены или находятся в процессе утраты, и географическое распространение одного и того же явления в отдельных словах часто не совпадает. Необходимость составления единого вопросника здесь проявляется особенно очевидно. Итак, первый этап собирания материала, заверченный в 1962 г., можно рассматривать лишь как пробный, позволяющий перейти ко второму этапу подготовительных работ для

чешского диалектологического атласа, а именно к составлению единого вопросника для всей территории и к собиранию материала на местах диалектологами-специалистами.

Сводный вопросник «Dotazník pro výzkum českých nářečí» (Прага, 1964—1965), с которого начинается новый этап подготовительных работ для чешского атласа, составил коллектив сотрудников отделения диалектологии Института чешского языка АН ЧССР в Праге и в Брно. Первая часть вопросника содержит 2129 вопросов, группирующихся по отдельным темам; такая группировка позволяет собирать материал путем регулируемого разговора. В примечаниях для эксплораторов указано, какого характера явление (фонетическое, морфологическое, словообразовательное, синтаксическое) имеется в данном случае в виду. Вторая часть вопросника содержит дополнения грамматического характера, всего 511 вопросов, сгруппированных по отдельным ярусам языковой структуры. Исследуемые явления встречаются, как правило, в разговоре на любую тему, но трудно выявляются путем прямого вопроса. Кроме этого, вторая часть содержит еще 88 вопросов дополнительного характера.

Собирание материала по отмеченному вопроснику предположительно должно завершиться к концу 1970 г. К этому времени будет собран материал приблизительно из 400 избранных пунктов, представляющих собою населенные пункты деревенского типа на территории с исконно чешским населением. Все вопросы заполняются лишь в некоторых пунктах (так называемая опорная сетка), в остальных пунктах количество вопросов сокращено. Впоследствии будет собран еще материал приблизительно в 50 городах и в некоторых пунктах пограничной области с новым чешским населением, пришедшим туда после 1945 г., так как атлас должен содержать отчасти данные также о городской речи и речи пограничных областей. Итак, перспективы окончательного составления чешского диалектологического атласа, к сожалению, еще весьма далеки⁸.

Форма представления в чешском диалектологическом атласе данных городской речи, равно как и речи новонаселенных областей, до сих пор не совсем ясна ввиду ее неоднородности, даже в одном и том же населенном пункте. Трудно будет установить, какие языковые явления можно считать для данного пункта типичными и достаточно представительными (для населенных пунктов деревенского типа также будут по мере необходимости приводиться сосуществующие формы, относящиеся к пластам более древнему, архаическому, и новому). Тем не менее, даже если оставить в стороне проблематику диалектологического атласа, изучение городской речи и речи пограничных областей является насущной задачей чешской диалектологии, поскольку они развиваются весьма интенсивно; исследование этих процессов может способствовать выяснению современного состояния и путей его развития в рамках чешского языка как целого; наряду с этим оно принесет много важных сведений общелингвистического и социалингвистического характера.

Изучение городской речи в условиях существования чешского языка важно также и потому, что процент городского населения на территории чешского языка очень высок. По статистическим данным в 1965 г. он пред-

⁸ Наряду с подготовкой чешского диалектологического атласа чешские диалектологи совместно со словацкими принимают участие в подготовительных работах по составлению общеславянского диалектологического атласа. Чехословацкие лингвисты приняли участие в разработке теоретической концепции атласа (см. рубрику «Příspevky k problematice slovanského jazykového atlasu», под которой с 1959 г. публикуются статьи в журнале «Slavia») и в составлении вопросника для всей славянской территории («Вопросник Общеславянского лингвистического атласа», М., 1965). В настоящее время они собирают материал на территории Чехословакии (в чешской области всего 35 пунктов).

ставлял 63,6%, т. е. почти две трети всего населения, если относить к населенным пунктам городского типа все пункты, население которых представляет свыше 2000 постоянных жителей (если исходить из 10 000 постоянных жителей, то городское население представит 40,9% всего населения на чешской территории), и количество городского населения непрерывно возрастает. Вследствие непрекращающегося пополнения городского населения выходцами из разных диалектных областей, особенно в больших промышленных центрах, происходит междиалектное общение, т. е. интерференция разных диалектных систем; этот процесс усложняется более сильным, чем в деревне, влиянием со стороны литературного языка. Основной пласт разговорного языка в городах в области чешских диалектов в узком смысле слова представляет в основном общедно-разговорный чешский язык, а в моравских и силесских городах большей частью областные интердиалекты, процесс становления которых в настоящее время протекает очень интенсивно. Унификация городской речи приобретает разные формы: часть нового населения (в первую очередь дети) полностью осваивает местный вид разговорного языка, но в значительной мере здесь сказывается также влияние со стороны разговорной формы литературного языка. Положение в отдельных областях чешской языковой территории (особенно в Чехии по сравнению с восточными областями) и в отдельных городах неодинаково, но везде дают себя знать унифицирующие тенденции в направлении к единой общенациональной форме. Систематическое изучение городской речи начинает развиваться главным образом в последние годы; к этому же времени относится появление программной статьи Я. Белича «Ke zkoumání městské mluvy» («Slavica Pragensia», IV, 1962, стр. 369 и сл.), где показана вся сложность возникающих здесь проблем. Опубликовано было пока лишь несколько небольших статей, работы монографического характера пока только подготавливаются (в большинстве случаев это работы преподавателей педагогических факультетов).

Аналогичное положение наблюдается в пограничных областях и в бывших национальных островах с преобладающим немецким населением, после 1945 г. заново населенных выходцами из разных частей чешской, отчасти также словацкой языковой области. В сравнении с городской речью, где постоянные миграции населения непрерывно обновляют интерференцию различных диалектных систем и колебания в рамках разговорного языка, в новонаселенных областях, особенно у молодого поколения, выросшего или вырастающего в новой среде, унифицирующие тенденции выступают еще более выразительно. В некоторых местностях преобладают выходцы из соседней области с исконно чешским населением, поэтому их язык не отличается существенным образом от языка центральных районов (если оставить в стороне тот факт, что в ряде случаев трудно установить изоглоссы местных различительных признаков, сильнее дает себя знать развитие в направлении к региональному интердиалекту). В других областях, в частности в северо-западной части моравско-силесской области, где выходцы из разных диалектных областей смешивались более или менее пропорционально, происходит образование новых вариантов народно-разговорного языка с сильным влиянием чешского литературного языка. Изучение отмеченных унифицирующих тенденций и процессов весьма интересно и должно осуществляться безотлагательно; тем не менее до сих пор опубликовано лишь несколько небольших статей, посвященных различным пограничным областям⁹. В ближайшее время необходимо

⁹ См., например: B. K o u d e l a, K vývoji lidového jazyka v českém pohraničí severozápadním, «Sborník Vyšší pedagogické školy v Ústí n. L.», Rada filologická, 1958, стр. 5 и сл.; J. B a l h a r, L. P a l l a s, Vývoj jazyka v nové osídlené obci, «Slezský sborník», 61, 1963, стр. 166 и сл.

организовать систематическое изучение новонаселенных областей.

Детальное изучение городской речи, отчасти также изучение языка пограничных областей создаст прочную основу для изучения процесса образования интердиалектов, их местных вариантов и региональных модификаций, для установления их места в комплексе национального языка, а именно их отношения к местным диалектам, с одной стороны, и к литературному языку и к другим интердиалектам, с другой. Эти вопросы уже с 1945 г. находятся в центре внимания диалектологов, однако соответствующей монографии не существует даже о наиболее важном интердиалекте — о так называемом обиходно-разговорном чешском языке (*obecná čeština*)¹⁰.

Наряду с главным направлением диалектологической работы в Чехословакии еще с довоенных лет развиваются также исследования по специальным вопросам. Много внимания уделялось, например, проблемам произношения, особенно в работе В. Мазловой «*Výslovnost na Zábřezsku*» (Praha, 1949); вопросам интонации посвятил несколько статей С. Петржик, см. особенно «*O hudební stránce středočeské věty*» (Praha, 1938), а в настоящее время М. Помпортл, см., например, «*Zvuková stránka souvislé řeči v nářečích na Těšínsku*» (Ostrava, 1958).

Несколько статей послевоенного периода посвящено проблемам исторической диалектологии. Анализ древних диалектных текстов или же текстов с диалектной окраской способствует более точной датировке отдельных изменений и установлению их предыдущего географического распространения; при этом нередко вскрываются явления, современному языку не известные¹¹. В статье С. Утешеного «*K otázce původu českých nářečích oblastí*» («*Slavia*», 27, 1958, стр. 188 и сл.), изучается связь современных диалектов с предполагаемыми племенными диалектами дописьменного периода. В монографии А. Вашка «*Jazykové vlivy karpatské salašnické kolonizace na Moravě*» (Praha, 1967) на основании сравнительного анализа диалектных явлений в северной подгруппе восточноморавских диалектов и языкового состояния в странах, лежащих в карпатской дуге, доказывает, что область так называемого моравского Валашка с самого начала, несмотря на живое общение с западнословацкой областью, входила в область чешского языка. Особое значение для чешской исторической диалектологии, равно как и для исследования общелингвистических проблем, имеет изучение языка гомогенных чешских колоний за рубежом, где сохраняется ряд архаических явлений, на чешской территории уже утраченных или отмирающих. Интересно также изучение иноязычного

¹⁰ См. дискуссию, проходившую на страницах журнала «Вопросы языкознания» в 1960—1961 гг. Продолжение дискуссии см. в журнале «*Slovo a slovesnost*», 22, 1961 и сл. Проблема обиходно-разговорного чешского языка, в частности его отношение к литературному языку, вызывает интерес также у зарубежных богемистов. Словоизменению обиходно-разговорного чешского языка посвятил большую часть своей монографии «*Morphologie du tchèque parlé*» (Paris, 1946) М. В. Е. й. Отношение между обиходно-разговорным и литературным чешским языком рассматривается в статье А. Г. Широковой «*К вопросу о различии между чешским литературным языком и народно-разговорной речью*» («*Славянская филология*», 2, 1954, стр. 3 и сл.). Интересна статья американского богемиста Г. Кучеры «*Phonemic variations of Spoken Czech*» («*Slavic Word*», 11, 1955, стр. 575 и сл.), где соответствующие явления рассматриваются главным образом в количественном плане (см. также главы, посвященные обиходно-разговорному языку и сосуществующим фонологическим системам в рамках народно-разговорной речи, в его книге «*The phonology of Czech*», ('s-Gravenhage, 1961).

¹¹ Из статей этого типа см., например: А. L a m p r e c h t, *Z historické dialektologie oravské*, «*Slezský sborník*», 49, 1951, стр. 334 и сл.; в этой статье анализируется язык поземельных книг конца XVII — первой половины XVIII вв. из западной Силезии; F. M a t ě j e k, *K otázce stáří hanáckých nářečí*, «*Sborník prací filosofické fakulty Brněnské university*», A 4, 1956, стр. 51 и сл.; здесь анализируется южная подгруппа среднеморавских диалектов.

влияния¹². Опубликованных монографий по этим вопросам нет; несколько монографий подготовлено к печати, преимущественно в Югославии. Имеется несколько печатных статей.

Относительно мало внимания в чешской диалектологии уделяется в последние десятилетия так называемым социальным диалектам. Еще до войны была опубликована работа Ф. Оберпфальцера (Йилека) «Argot a slangu» («Československá vlastivěda», III, Praha, 1934, стр. 314—375), подводящая итоги ряду предшествующих статей. После второй мировой войны, помимо небольших статей, вышла книга В. Кржистека «Ostravská hornická mluva» (Praha, 1956), автор которой сосредоточивает свое внимание главным образом на профессиональной лексике шахтеров в области остравского бассейна. Аналогичный характер носит монография Б. Темы «Mluva hutníků na Bohumínsku a Karvínsku» (Praha, 1958), автор которой анализирует лексику металлургов в смешанной польско-чешской полосе. Этим же вопросам посвящена монография того же автора «Mluva studentů východního Tešínska» (Praha, 1966). Большой интерес вызвала работа Б. Зимовой «Vorařský slang pražského Podskalí» (Praha, 1965), посвященная остаткам профессиональной лексики бывших пражских сплавщиков леса. Систематическое изучение нелитературной современной и старой профессиональной лексики и языка различных общественных слоев до сих пор не налажено; полностью отсутствуют новые исследования, посвященные чешскому арго¹³.

Несмотря на отмеченные недостатки и неполноту систематического изучения, за период начиная с 1945 г. в чешской диалектологии было сделано гораздо больше, чем в предшествующее время. Наряду с основной задачей — обследованием всей территории с целью составления чешского лингвистического атласа, перед чешской диалектологией стоят и другие насущные задачи, к числу которых относится в первую очередь планомерное составление детальных монографий с описанием различных областей чешского языка. Желательно дальнейшее совершенствование методов диалектологической работы и изучение тех языковых ярусов, разработка которых в современных диалектологических монографиях недостаточна — в частности синтаксиса, словообразования и словарного состава; это относится и к изучению современных процессов диалектного развития. С этой точки зрения особо нужно отметить необходимость более широкого и систематического изучения городской речи, языка пограничных областей и интердиалектов, в частности обиходно-разговорного языка. В работах, посвященных языку областей с исконным чешским населением, необходимо путем изучения изоглосс отдельных диалектных явлений и их сопоставления с границами явлений нелингвистического характера вскрывать условия и причины развития этих диалектов в прошлом.

¹² К. Дейна в статье «Gwara kuczowska na tle innych gwar czeskich» («Rozprawy Komisji językowej», III, Łódź, 1955, стр. 5 и сл.) устанавливает происхождение диалекта чешского населения лунята в Лодзинском воеводстве в Польше. Язык чешских колоний в Югославии анализируется в ст.: J. Bělič, Poznámky o češtině na Daruvarsku v Jugoslavii, «Slavica Pragensia», 1, 1959, стр. 59 и сл. См. также: P. J. a n-č á k, K dnešnímu stavu nářečí střešlinských Čechů v Polsku, «Slavica Pragensia», IV, 1962, стр. 599 и сл.; S. U t ě š e n ý, O jazyce českých osad na jihu rumunského Banátu, Český lid, 49, 1962, стр. 201 и сл., и др.

¹³ Из довоенных работ см., например: E. R i p p l, Zum Wortschatz des tschechischen Rotwelsch, Praha, 1926; O. N o v á ě k, Brněnská plotna, Brno, 1929; K. T e i m e r, Das tschechische Rotwelsch, Heidelberg, 1937.

И. ШТОЛЬЦ

СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ СЛОВАЦКОЙ
ДИАЛЕКТОЛОГИИ

Словацкие диалекты в сравнении с диалектами других славянских языков занимают особое положение. С древнейших времен вплоть до возникновения словацкого литературного языка (в конце XVIII и середине XIX в.) они представляли собой язык словацкого этноса как компактной общности, занимающей определенную территорию. Словацкие диалекты отражают своеобразие национального языкового, культурного и общественного развития. Диалекты как языковые образования, которые развиваются на данной территории и в данной культурной, хозяйственной и социальной среде спонтанно, без преднамеренного искусственного вмешательства, дают наилучшие возможности для изучения процессов интеграции и дезинтеграции, конвергенции и дивергенции, которые оказали влияние на зарождение и дальнейшее развитие структуры словацкого национального языка. Древняя территория словацкого языка в северной части Карпатской дуги на заре истории являлась местом соприкосновения почти всех славянских и некоторых неславянских языков. Материал словацких диалектов красноречиво свидетельствует об отношении словацкого языка к соседним славянскими и неславянскими языками и, с другой стороны, об отношении соседних языков к словацкому языку. В этом плане изучение словацких диалектов приносит новые исключительно интересные сведения, которые выходят за рамки науки о словацком языке и имеют общеславянское, а в некоторых отношениях и общелингвистическое значение.

В словацких условиях диалектология выступает в составе словацкого языкознания как дисциплина, призванная осветить вопросы генезиса словацкого языка, показать спонтанное развитие словацкого языка в неразрывной связи с развитием словацкого этноса. Диалектологические исследования способны дать в этом отношении значительно больше, чем изучение, ориентированное лишь на памятники письменности. В последнее время начинают появляться исследования о соотношении диалектов и литературного языка. Тем самым изучение диалектов оказывается в контакте с изучением истории словацкого языка, с теоретическими исследованиями, с работами по кодификации и языковой культуре. Столь широкое понимание сферы интересов диалектологии обусловлено тем, что диалекты и литературный язык рассматриваются как две формы национального языка, между которыми существует взаимная диалектическая связь.

Рабочим и организационным центром словацкой диалектологии является диалектологическое отделение Института языкознания им. Л. Штура Словацкой академии наук. При этом отделении действует Словацкая диалектологическая комиссия — совещательный и координирующий орган, объединяющий все учреждения, в которых так или иначе ведутся диалектологические исследования. Организационная структура диалектологического отделения отражает современное состояние словацкой диалектологии. Здесь ведутся лингвогеографические исследования, выполняются

монографии фонетического и грамматического плана, собираются материалы для составления словаря и описания синтаксиса словацких диалектов, а также другие материалы.

В последние годы главным направлением в работе является лингво-географическое исследование словацкого диалектного материала с целью создания полного атласа словацких говоров. Первый шаг в этом направлении предпринял в последнем десятилетии XIX в. Фр. Пастернак, который опубликовал специальную анкету¹. Вторую, более широкую анкету разработал в 1920—1938 гг. В. Важный². Применение метода лингвистической географии особенно важно в условиях пестроты и сложной внутренней дифференциации словацких диалектов. Оно позволяет изучать диалектные явления в тесной связи с развитием общества, с учетом социальных преобразований, языковых и культурных контактов и т. п. Словацкий материал прекрасно иллюстрирует значение метода лингвистической географии для теории языкового развития больших и малых этнических общностей.

Наиболее значительным результатом работы словацких диалектологов является «Атлас словацкого языка». Материал для первых томов атласа собирался в течение 1947—1951 гг. по вопроснику, который составили Э. Паулини и И. Штольц³. Вопросник заполнялся практически во всех населенных пунктах Словакии. Всего было получено более 2500 заполненных анкет.

Первый том атласа создавался в 1964—1966 гг.; в настоящее время он находится в печати. В его первой части на 301 карте представлена дифференциация вокалических и консонантных явлений. Карты делятся на 29 серий; в отдельных сериях на материале конкретных слов представлены определенные явления, например, рефлексy 'a, 'ā, рефлексy ъ, ъ, вставные гласные, рефлексy кратких и долгих e, ě и o, соотносительность консонантов, слоговые r, l и их рефлексy, консонанты t, d : t', d' : c, ž; s, z : ś, ź : š, ž, рефлексy групп dl, dn, št', žd', двойные согласные и т. д. В этом томе атласа картографированы формы 236 слов, а в комментариях к отдельным картам описана дифференциация форм еще 400 слов, так что всего в первом томе охарактеризовано 636 слов.

При разработке первого тома исходным моментом являлся анализ слова. Слово картографировалось не в полном комплексе всех его дифференциаций; на карте изображалось положение только одного дифференциального явления. Остальные возможные дифференциации переносились в комментарий. Аналитический подход к картографированию дал возможность распределить карты по сериям, в которых группируются карты, сходные по своему содержанию. Помимо аналитических карт, в атласе имеются и так называемые синтетические (обзорные) карты, на которых изображается положение одного определенного рефлекса в разных словах; например, a (< ъ) в словах raž, mach, dážd', o (< ъ) в тех же словах, e (< ъ) в тех же словах и т. п.

Органическим составным звеном первой части словаря является комментарий, который, кроме введения, материалов и индексов, содержит сопроводительный текст к картам, дополнения, примечания, а в случае необходимости и такие сведения, которые невозможно картографировать.

Представленный в первом томе подход к картографированию дифференциальных диалектных явлений содержит много новых моментов,

¹ «Slovenské pohľady», XIII, 1893.

² «Dialektologické dotazníky pre Slovensko. Dotazník 1—26», Turč. Sv. Martin, 1921—1930.

³ «Dotazník pre výskum slovenských nářečí (Atlas slovenského jazyka)», Bratislava, 1947.

которые в прежней литературе или недостаточно разработаны, или же вообще отсутствуют.

Второй том атласа посвящен флективной морфологии. В нем также отчетливо проявляется стремление отражать явления таким способом, чтобы представить их взаимосвязи и общее распределение. Это требование осуществляется не только в картах, но еще более последовательно в комментариях к картам.

Третий том атласа будет посвящен дифференциальным явлениям в области словообразования. В четвертом и следующих томах атласа найдет картографическое отражение лексико-семантическая дифференциация словацких диалектов. Материал для этих томов также собирается по вопроснику⁴. Лексическую часть этого вопросника составил А. Габовштяк, словообразовательную — Ф. Буффа. До конца 1968 г. будет собран материал по 328 основным отобранным пунктам. Картографические проблемы этих томов, вопросы концепции, состава и картографического отражения словообразовательных и семантических явлений определятся в процессе работы.

В будущем предполагается картографически обработать также и синтаксические дифференциальные явления, т. е. создать синтаксический атлас словацкого языка. Теоретически это возможно. Однако практически чрезвычайно трудно собрать действительно надежный материал. Здесь нельзя применить метод вопросника, так как любые расспросы и намеки на ситуацию и т. п. будут искусственным вторжением в мыслительный мир информатора, а тем самым и в сферу его способа выражения и представления синтаксической системы. Дифференциальные синтаксические конструкции представлены территориально неравномерно, в узусе всех носителей диалекта они распределены не в одинаковом диапазоне. Поэтому главным средством собирания синтаксического материала должно быть наблюдение за синтаксическими явлениями в живой, совершенно естественной связной речи и ее искусная запись. Конечно, при таком методе исследования к собирателю предъявляются особенно высокие требования — хорошая теоретическая подготовка, ориентированность в синтаксической проблематике не только изучаемого диалекта, но и остальных диалектов, а также родственных и неродственных языков. Стоит отметить и еще одно обстоятельство. Дифференциация синтаксических явлений не столь велика, как дифференциация явлений фонетических и лексических. Нередко речь идет о различиях прежде всего в частотности явлений. Например, дательный possessивный типа *matka mi žije* встречается во всех словацких диалектах. Однако в среднесловацких диалектах он встречается чаще, чем в других; в южной группе среднесловацких диалектов чаще, чем в северной группе; в словацких диалектах в Венгрии и Югославии он употребляется чрезвычайно широко. Эти количественные различия легче наглядно показать не путем картографирования, а каким-либо иным способом. Представление синтаксической дифференциации посредством метода лингвистической географии остается пока открытым вопросом, хотя нет сомнений, что это было бы нужно и полезно.

«Атласу словацкого языка» придается особое значение, потому что он весьма ясно показывает, что словацкий язык в историческом, социальном и культурном отношении выделяется как самобытное целое среди остальных славянских языков.

С чрезвычайным интересом словацкие диалектологи приветствовали идею создания общеславянского лингвистического атласа. С самого начала подготовительной работы (1959 г.) они активно и инициативно сотрудни-

⁴ «Dotazník pre výskum slovenských nárečí», II, Bratislava, 1964.

чали в подготовке материалов для вопросника, в редактировании вопросника, в составлении других организационных и методических директив⁵. В мае 1967 г. Институт языкознания им. Л. Штура провел заседание Международной комиссии по Общеславянскому лингвистическому атласу в Смоленицах. Доклад И. Штольца «О картографировании явлений в Общеславянском лингвистическом атласе» показал, что географическое положение территории словацкого языка в центре славянских языков находит отражение в размещении диалектных явлений. В общеславянском лингвистическом атласе будут представлены основные характеристики, уточняющие положение словацкого языка в кругу славянских языков (более детальную картину даст «Атлас словацкого языка»). Перед словацкими диалектологами стоит задача собрать в 25 отобранных пунктах материал по обширному и для собирателя весьма трудному «Вопроснику Общеславянского лингвистического атласа» (М., 1965), обработать его, картографировать, составить комментарий и подготовить его для окончательной редакции атласа в виде целостной части с продуманной концепцией. В среде словацких диалектологов и вообще лингвистов Общеславянского лингвистического атласу придается большое значение. По своему территориальному диапазону и полноте охвата языкового материала это предприятие в практике лингвистической географии вплоть до настоящего времени является исключительным. Его можно рассматривать как смелый эксперимент. Нет сомнений в том, что его результаты окажут очень действительное влияние на славянское языкознание, помогут глубже изучить и дать новое освещение вопросам развития и взаимных отношений славянских языков.

Лингвогеографической обработкой материалов словацких диалектов не исчерпываются диалектологические исследования. В поле зрения лингвистической географии не попадают такие явления, которые территориально не дифференцируются, однако функционируют в пределах частных систем и даже образуют иногда костяк этих систем.

Изучение таких явлений — задача монографических исследований, целью которых является детальное описание фонетического и грамматического строя диалекта, системы, функций и употребительности его составных элементов в синхроническом или диахроническом аспекте, возможно в сравнительно-сопоставительном плане и т. д. Конечно, в этих монографиях должно быть представлено и все то, что является важным с точки зрения географического членения диалектной системы в целом. В связи с этим монографии, посвященные территориально замкнутым диалектным единицам, как и монографии о некоторых явлениях на всей языковой территории должны быть по своему характеру синтезирующими трудами, которые давали бы цельное представление о системе диалекта или об определенном явлении во всем его диапазоне. Естественно, что в сферу подобного способа обработки диалектного материала входят статьи и мелкие заметки.

В прошлом словацкая языковая территория в административном отношении была разделена на так называемые «стóлицы» (жупы, комитаты). Эти «стóлицы» по большей части представляют собой и географическое целое; в их рамках развивалась хозяйственная и культурная жизнь. Это предопределило формирование и определенных диалектных и этнических единиц. Словацкая диалектология должна обеспечить монографиче-

⁵ См.: И. Штольц, Некоторые вопросы Общеславянского лингвистического атласа и атласа словацкого языка, ВЯ, 1960, 1; см. также ответы на анкету об Общеславянском лингвистическом атласе (ответы на вопросы № 5, 7, 10, 11); ВЯ, 1962, 1, 2, 4, 6 и 1963, 3. См. также: сб. «Славянская филология. Материалы за V Международный конгресс на славистике», I, София, 1963.

ское описание словацких диалектов по «столицам» или же по другим географическим областям, например в юго-западной Словакии (Загорье, окрестности Трнавы и т. п.). Подобных крупных монографий должно быть около восемнадцати — двадцати. Было бы желательнее, чтобы они были полными, исчерпывающе охватывающими все ярусы языкового строя: фонетику, морфологию, синтаксис, словообразование и лексику. В прежних монографиях⁶ внимание сосредоточивалось на системных элементах и почти полностью обходилась лексика. В ближайшие годы будут завершены две крупные монографии, в перспективе к ним прибавятся еще две — три большие монографии и значительное число небольших. Трудно предвидеть дальнейший прогресс в этом направлении. В последние годы в наших вузах лекции по диалектологии не носят систематического характера, и в ближайшем будущем нельзя ожидать значительного прилива научной молодежи в сферу диалектологии как для исследовательской, так и для научно-вспомогательной работы.

Изучение лексики словацких диалектов всегда оказывалось на периферии интересов диалектологов. Отдельные значительные по объему словарные картотеки, созданные старыми работниками (Л. В. Ризнер, В. Важный и др.), остались в рукописи. Из лексикографических работ можно назвать лишь монографию В. Важного⁷ и статью К. Палковича⁸. Ценные идеи заложены в исследовании В. Бланара⁹.

Нельзя сказать, что в этой области совершенно ничего не делалось. В университетах собирался материал для дипломных работ, составлялись словари по народной терминологии. Диалектная лексика была предметом нескольких кандидатских диссертаций. В отделе диалектологии Института языковедения им. Л. Штура составлена картотека, которая насчитывает в настоящее время около 300 000 карточек. Вся эта работа, однако, носила лишь экстенсивный характер.

В настоящее время созданы условия для организации фундаментальных и рассчитанных на длительный срок исследований и в этой области словацкой диалектологии. Изучение лексики словацких диалектов в настоящее время является составной частью производственного плана диалектологического отделения.

Перед лексикологическим центром стоит задача создать словацкий диалектный словарь. С самого начала работа будет идти в двух направлениях: создание алфавитной картотеки и картотеки предметного словаря. При составлении картотеки предметного словаря в большей мере будут использоваться лексикологические критерии; эта картотека будет носить выборочный характер, что будет приближать ее к области терминологии. Алфавитная картотека должна охватить весь словарный фонд и фразеологию словацких диалектов в целом. Картотека будет постоянно пополняться и через некоторое время может стать подлинным тезаурусом лексического богатства словацкого языка. На настоящем этапе актуальной задачей является разработка системы эксцерции и обработки материала. Постепенно материал будет обобщаться по тематическим сферам.

⁶ Их немного: J. Stanislav, *Liptovské nárečia*, Turč. Sv. Martin, 1932; A. H a b o v š t i a k, *Oravské nárečia*, Bratislava, 1965; можно упомянуть и несколько монографий меньшего объема (Э. Паулини, Г. Горак, Ф. Буффа). См. также: J. Stolic, *Nárečia troch slovenských ostrovov v Maďarsku*, Bratislava, 1949; e g o ж е, *Reč Slovákov v Juhoslávii*, Bratislava, 1968; P. O n d r u s, *Stredoslovenské nárečia v Maďarskej ľudovej republike*, Bratislava, 1956. Подготавливаются монографии о диалектах Гемера (Гобик), Спиша (Штоль), Тренчанской (Ришка) и др.

⁷ V. V á ž n ý, *O jménech motýlů v slovenských nárečích*, Bratislava, 1955.

⁸ K. P a l k o v i č, *Z vecného slovníka Slovákov v Maďarsku*, «Jazykovedné štúdie», II, Bratislava, 1957.

⁹ V. B l a n á r, *Zo slovenskej historickej lexikológie*, Bratislava, 1961.

К исследованию лексики примыкает детальное изучение диалектного словообразования параллельно с подготовкой соответствующего тома «Атласа словацкого языка». В этой почти незатронутой области намечаются возможности получить важные для классификации диалектов сведения о явлениях, которым до настоящего времени не придавалось значения.

Трудности в области систематического изучения синтаксиса словацких диалектов связаны прежде всего с тем, что в этой сфере наиболее четко сказывается единство национального языка, органическая взаимосвязанность всех его разновидностей — территориальных диалектов, литературного языка и его стилей, социальных, профессиональных и иных языковых образований. Синтаксическая дифференциация между диалектами и литературным языком больше всего проявляется в плане частотно-количественном. Отчетливых качественных различий наблюдается меньше, и они создаются в связи с отсутствием в диалекте явления, свойственного литературному языку. Наличие этих явлений в литературном языке нередко (или, пожалуй, как правило) обусловлено связями с языковой средой, находящейся за пределами родного национального языка. Это побуждает максимально взаимно координировать изучение диалектного синтаксиса и синтаксиса литературного языка в теоретическом и методологическом плане. Исследование не должно ограничиться лишь проблематикой предложения, оно должно охватить и синтаксис грамматических категорий, поскольку здесь много вопросов, выходящих за пределы морфологии.

Систематическое изучение синтаксиса по своему методу существенно отличается от изучения фонетических, морфологических и лексических явлений. При синтаксическом исследовании собиратель имеет дело не со словом, его значением, звуковой и грамматической формой, а с синтаксическими отношениями между словами и предложениями. Поэтому при изучении синтаксиса вряд ли можно использовать прямой вопрос и каким-либо приемлемым способом (например, указанием на предмет) искусственно вызывать нужную ситуацию, в которой информатор «должен был бы» применить именно тот синтаксический оборот, который интересует собирателя. Надежно и достоверно синтаксическое явление может быть установлено лишь в потоке спонтанной связанной речи в естественной непринужденной атмосфере, которая является для информатора привычной и в которой всякое чуждое диалекту выразительное средство исключается как явное нарушение твердо установленной нормы. При синтаксическом исследовании работа собирателя неизбежно сводится лишь к роли пассивного участника диалога. Его активность проявляется в метком наблюдении и умелой фиксации в соответствующем контексте определенных синтаксических явлений, которые возникают в речи в связи с потребностями выражения говорящего, без какой-либо индукции со стороны собирателя. Такое изучение, естественно, является затяжным и утомительным. Оно предполагает неоднократное и длительное пребывание в обследуемой среде, глубокое проникновение в систему диалектного синтаксиса, а иногда и активное освоение диалекта. Зато результаты в таком случае имели бы ценность настоящей документальности.

Изучение синтаксиса существенно отличается от изучения фонетики, морфологии и лексики также и по своему общему плану. В начале исследования должен быть подготовлен инвентарь подлежащих изучению синтаксических явлений. Этот инвентарь будет дополняться и расширяться. Однако такой инвентарь не может быть программой исследования, потому что вряд ли можно пронаблюдать и зафиксировать во время одного обследования широкую и разнообразную шкалу явлений. Скорее следует изучать группы явлений по их принадлежности к какой-либо грамматической

категории, например, синтаксис падежей, синтаксис глагольных форм, функция союзов, значения предложных конструкций и т. п. Результаты исследования, содержащие достаточный фактический материал, следовало бы обработать в форме статей и заметок. Сам материал, расписанный на карточках, должен накапливаться и пополняться путем дальнейшей экспедиции. Через некоторое время станет возможным описание целых синтаксических разделов на всей территории национального языка.

При подобном изучении выяснилась бы территориальная дифференциация явлений, подлежащих картографированию. Со временем этот материал можно было бы обобщить в синтаксическом томе «Атласа словацкого языка». Возможности исследовать синтаксис словацких падежей только в аспекте лингвистической географии и только ради составления атласа представляются недостаточными. Вряд ли такая работа могла бы отвечать своему назначению, так как при этом фиксировались бы разнородные изолированные и внутренние не связанные явления.

Изучение и описание синтаксиса диалектов имеет свои методические и проблемные особенности. Несмотря на сложность задачи, давно пора решительно взяться за это новаторское дело.

С изучением синтаксиса непосредственно связано получение и систематическое накопление записей связанной диалектной речи (текстов), отражающих различные стороны жизни. В 1949 г. мы основали архив связанных диалектных текстов. В него заносятся отрывки диалектной речи в фонетической транскрипции. В настоящее время мы стремимся в рамках имеющихся возможностей собирать тексты планомерно по определенным тематическим областям, чтобы зафиксировать связанные с ними идиоматические сочетания и соответствующую фразеологию. Широкий охват самых различных сторон жизни диалектной среды сделает доступным богатый материал, который будет источником познания не только синтаксических явлений, но и словарного состава, значений слов и форм в конкретном тексте и стилистических возможностей диалектных выразительных средств.

Связанные диалектные тексты мы обычно фиксируем путем магнитофонной записи. Этот метод имеет много преимуществ по сравнению с методом письменной фиксации, поскольку с его помощью закрепляется звуковая форма речи в ее естественном, искусственно не прерываемом течении, а также просодические свойства речи (ударение, эмпфаза, интонация, мелодия) в их реальном воплощении и функциях. Использование магнитофона имеет значение и с точки зрения экономии времени при диалектологическом обследовании. Учитывая то, что качество магнитофонной записи со временем снижается, мы выдвинули требование переписывать тексты фонетически. Магнитофонная запись вместе с параллельной фонетической копией даст при исследовании несравненно более рельефную картину состояния наблюдаемого явления, чем только письменная фиксация или только магнитофонная запись. Опыт, однако, показывает, что подобное требование может распространяться только на записи, особенно интересные в каком-либо отношении. При помощи магнитофона можно записать огромное количество диалектного материала, в котором неизбежно будет множество банальностей и повторений. При отборе материала они будут ненужным балластом, который затруднит ориентацию и доступ к изучаемым явлениям. Магнитофон имеет и свои недостатки. Оказывается необходимым заниматься методикой организации архива и обращения с огромным количеством материала, получаемого при применении магнитофона.

Все более настойчиво вырисовывается необходимость фонетического изучения диалектов. Фонетическое описание основывается иногда на материалах, записанных на слух, а артикуляция звуков описывается, исходя из деятельности артикуляционных органов и их взаимодействия. Неуди-

вительно, что нередко фонетические описания одних и тех же явлений оказываются диаметрально противоположными. Необходимо исследовать фонетический инвентарь и его функционирование новейшими точными экспериментальными методами. Исследование поможет осветить многие вопросы, которые до сих пор остаются неясными и которые с течением времени оказались основательно запутанными. Достаточно назвать здесь, например, вопросы ударения, его отношения к интонации, мелодии и эмфазе и особенно к количеству. Необходимо исследовать характерные и территориально ограниченные произносительные особенности диалектных групп и отдельных диалектов. Установление фонетических особенностей фонологических единиц и их комбинаций и определение их географической ситуации столь же важно для изучения межъязыковых отношений, как и любого другого дифференциального явления.

Значительное место в словацкой диалектологии отводится изучению социальных диалектов, разговорного языка в городах и новых промышленных центрах, где имеют место непосредственные контакты населения из различных диалектных областей, а иногда и носителей разных языков.

Особое значение имеет у нас изучение отношений между диалектной и литературной формами национального языка в связи с вопросом о языковой культуре и языковой политике. Обе эти формы национального языка все еще тесно связаны и в некоторых звеньях накладываются друг на друга. Словацкие диалекты — это живая действительность. Дифференциация национального языка — явление естественное, она имеет свои истоки в закономерностях развития национальной общности. Живые диалекты позволяют черпать богатый материал для оживления и освежения выразительных средств языка в тех сферах, где используется литературная форма.

В данной статье мы, естественно, не смогли охватить весь комплекс вопросов, касающихся возможных направлений работы; здесь не рассматривались вопросы о диалектном членении, о диалекте и диалектной группе в их отношении к дифференциации диалектных явлений, о влиянии миграции населения на развитие диалектов, о словацких диалектах в иноязычной среде (отдельные островки в Венгрии, Югославии, Румынии, Болгарии и др.). В последнем случае представляются широкие возможности исследовать, с одной стороны, явления интерференции и, с другой стороны, явления сохранения архаических черт в условиях изоляции от диалектов на исконной территории, которые претерпели и претерпевают в своем развитии значительные изменения.

Интересы словацкой диалектологии расширяются. Диалектные факты, как и любые языковые факты, требуют дальнейшей интерпретации как в плане сравнительно-исторических, так и в плане структуральных и типологических исследований.

Перевел со словацкого Л. Н. Смирнов

С. МИХАЛК

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ПО СЕРБО-ЛУЖИЦКОЙ
ДИАЛЕКТОЛОГИИ

(Послевоенный период)

В третьем номере журнала «Вопросы языкознания» за 1961 г. помещено сообщение Г. Фаски о состоянии работы по сербо-лужицкой диалектологии в рассматриваемый период времени¹. В настоящей статье я ограничусь проблемами, задачами и результатами, ставшими актуальными за период с 1961 г. до настоящего времени.

I. Работа над атласом сербо-лужицкого языка (АСЛЯ)

Лингвистическая география уже несколько десятилетий используется при изучении сербо-лужицкого языка. Основателями применения лингво-географической методики при изучении интересующего нас языкового ареала были в 30-х годах польский ученый З. Штибер² и сербо-лужицкий диалектолог П. Вирт³, ученик М. Фасмера. В связи с преждевременной смертью П. Вирта, эта работа могла быть возобновлена лишь через 15 лет после второй мировой войны, ибо только тогда новое поколение сербо-лужицких диалектологов оказалось достаточно подготовленным для выполнения этой задачи. С тех пор работа по созданию АСЛЯ ведется по твердо установленному плану, причем до сих пор не было каких-либо значительных срывов.

Собирание материала на основе вопросника, содержащего около 2800 вопросов, проводилось в 138 пунктах и было окончено весной 1966 г.⁴. Первый том АСЛЯ (7) * появился в 1965 г., а том 2 (а) — в 1968 г., так как на часть вопросов в вопроснике, независимо от хода полевой работы, заранее были собраны ответы.

Всестороннее исследование сербо-лужицких диалектов является важнейшей и неотложной задачей, так как в связи с увеличивающейся мобильностью населения повсеместно происходит языковое нивелирование, что влечет за собой сужение функциональной сферы сербо-лужицкого языка, а также его территориальных границ. В настоящее время, спустя около 30 лет после появления работы Вирта по сербо-лужицкому языковому атласу в некоторых пограничных областях невозможно проверить приводимые для них данные, причем подобное же положение угрожает и дру-

¹ Г. Фаска, Исследовательская работа по серболужицкому языку в Институте серболужицкой этнографии (ГДР), ВЯ, 1961, 3.

² Ср. особенно монографию: Z. Stieber, Stosunki pokrewieństwa języków łужицких, Kraków, 1934.

³ См. особенно работу: P. Wirth, Beiträge zum sorbischen (wendischen) Sprach-atlas, I—II, Leipzig, 1933—1936.

⁴ Картошка атласа в настоящее время содержит около 350 000 карточек, каждая из которых имеет два экземпляра (т. е. в общем 700 000 карточек) — на одном даются ответы на вопросы в порядке их следования в вопроснике, а на другом — отражаются те пункты, где производилась запись диалектного материала.

* Здесь и далее цифры и буквы в круглых скобках указывают на работы, перечисленные в приложенной к статье библиографии. — *Ред.*

гим, более крупным областям в течение ближайших десятилетий [ср. (7), стр. 5]. Принимая это во внимание, коллектив сотрудников АСЛЯ в настоящее время стремится к тому, чтобы в течение ближайшего времени завершить сбор необходимых контрольных данных для всего языкового атласа.

АСЛЯ после завершения, видимо, будет состоять из 15 томов, которые будут опубликованы по одному тому за два года; десять из этих томов будут содержать 1200 карт географического распространения слов; остальные тома посвящены фонетической, фонологической, морфологической, а также синтаксической дифференциации сербо-лужицких диалектов. Окончательное суждение о лексической дифференциации сербо-лужицких диалектов, естественно, можно будет сделать лишь на основе материала томов 1—10. Однако основные выводы довольно четко вырисовываются уже сейчас. На основе сводных карт [86—95 в томе 1 (7) и 122—135 в томе 2(a)], показывающих наиболее типичные пучки лексических изоглосс, можно заключить, что сербо-лужицкая языковая область подразделяется на два основных ареала (верхнелужицкий на юге и нижнелужицкий на севере), между которыми проходит промежуточная зона. Дихотомия сербо-лужицкой языковой области и вытекающая из нее этническая дихотомия сербо-лужицкого населения в том виде, как она дискутировалась начиная с 1959 г. [ср. (43), (13), (49)], не находит подтверждения в АСЛЯ. Промежуточная зона манифестируется: 1) как область пересечения большинства изоглосс, отделяющих северный ареал от южного; 2) как область контаминации и 3) как область, сохраняющая относительную самостоятельность (с).

С исторической точки зрения оба основных ареала в центре совпадают с областью древних поселений, а промежуточная зона, как на севере, так и на юге, заселялась лишь в позднем средневековье [(7), стр. 36]. Выявляется, что верхнелужицкий диалект пересекается тремя пучками изоглосс (ничего подобного нельзя утверждать на основе до сих пор имеющегося материала относительно нижнелужицкого ареала). Один из этих пучков, видимо, по крайней мере частично, возник лишь после Реформации, т. е. после XVI в. Он отделяет оставшуюся католической частью Верхней Лужицы от той ее части, население которой стало протестантским. Причину раннего возникновения этой языковой границы следует (вопреки Вирту) искать в социальной интеграции всего населения католического «островка» и его изоляции по отношению к протестантскому окружению (е). Два других пучка изоглосс, проходящие к северу от Будышина, самого большого и древнего города Верхней Лужицы, обязаны своим существованием нивелирующему воздействию этого культурного и торгового центра. Членение сербо-лужицкого языкового ареала на основе лексического материала, как показывают имеющиеся данные, в общем и целом подтверждаются со стороны фонетики [(32), (33)], морфологии [(f), (1)] и синтаксиса [(41)]. В связи с этим нам представляется неверным недооценивать доказательную силу лексических пучков изоглосс для диалектального членения исследуемого ареала по сравнению с изофонами и морфологическими изоглоссами [(с)].

С помощью собранного в АСЛЯ материала станет возможным более конкретно представить положение сербо-лужицкого языка в виде своего рода моста, связывающего, с одной стороны, чешско-словацкую, а с другой — польско-лехитскую ветвь западнославянского; в указанном атласе приводится значительно большее число изоглосс, чем в существующих до сих пор пособиях, причем в более точной нотации [(46), (47)]. Материал АСЛЯ может быть также привлечен для установления диалектной базы обоих сербо-лужицких литературных языков [(g)].

На основе АСЛЯ значительно обогащаются и уточняются наши знания о немецко-серболужицких межэтнических отношениях. Сопоставления с данными соседних немецких диалектов частично уже входят в содержание комментариев к АСЛЯ, хотя подобные сравнения можно было бы привести в значительно большей мере [(89)]. Что касается подачи материала на картах, то коллектив сотрудников исходил из положения о максимальной его обозримости при одновременной полноте документации [(7), стр. 13 и сл.]. Тем самым продолжается традиция, начатая Виртом и «Немецким языковым атласом»⁵. Зоны распространения того или иного явления ограничиваются линиями и снабжены надписями, а отклонения от разбираемых явлений обозначаются особыми знаками (геометрическими фигурами). Использование дифференцированных линий впервые в АСЛЯ применяется для типологической классификации приводимых диалектных различий.

Сотрудники лингвистического отделения Института сербо-лужицкой этнографии при Немецкой Академии наук считают создание «Сербо-лужицкого языкового атласа» своим важнейшим вкладом в дело исследования сербо-лужицких диалектов. Сравнительно большое число рецензий на I том этого атласа [(76), (77), (79), (81), (83), (84), (85), (89), (g)] укрепляют их в этом мнении.

II. Работа над созданием монографий по языковым особенностям отдельных микрорайонов

Эти монографии, по сравнению с работами с чисто лингвогеографической ориентацией, имеют то преимущество, что в них можно описывать сравнительно единую систему и добиться большой полноты описания. При этом собирание материала менее трудоемко. Последнее обстоятельство привело к тому, что создание указанных монографий относится к более раннему периоду, чем лингвогеографическая работа; первое же обстоятельство обуславливает необходимость появления подобных работ и на современном этапе исследования. До второй мировой войны были созданы четыре монографии, посвященные исключительно описанию языковых особенностей отдельных местностей⁶. После войны снова началась работа над монографией, содержащей одновременно очень важные лингвогеографические элементы [(1)]. Целью этой монографии, наряду с возможным более полным описанием местного диалекта, было определение его места в пределах остальных сербо-лужицких диалектов. Географическое положение селения Нейштадт в центре промежуточной зоны оказало плодотворное влияние на выводы лингвогеографической части монографии. Именно по соседству с этим селением пересекаются большинство изоглоссе сербо-лужицкого языкового ареала. По сравнению с имевшимися раньше сведениями были получены следующие новые важные результаты: 1) развитие **pr* в (*p*)*ć* (например, *pr**časć* ← **presti* и **kf* в *šć* (например, *šćiwu* ← **krivě*), а не в *pš* и *kš*, как в верхнелужицком ареале, стоит в причинной связи с отвердением мягкого шипящего **š* в нижнелужицком ареале и в переходной зоне и представляет собой инновацию, в определенной мере объединяющую обе эти области [(1), стр. 124; (31)]; 2) соответствие **r* и **ř* (перед твердыми дентальными) после лабиальных в Нейштадте предстает как *or*, восходящее к *er* (лабиовеляризация *e* → *o* после ла-

⁵ «Deutsches Sprachatlas», Marburg, 1926 и сл.

⁶ J. E. W j e l a n, Namjezno-Mužakowska wotnožka serbšćiny, «Casopis Maćicy Serbskeje», XXII, 2, 1869, стр. 57—93; Л. В. Щ е р б а, Восточно-лужицкое наречие, Пр., 1915; Z. S t i e b e r, Fonetyka górnołużyckiej wsi Radworja; «Lud Słowiński», IV, 1, 1933, стр. 1—21; A. S c h r ö d e r, Die Laute des wendischen (sorbischen) Dialekts von Schleife in der Oberlausitz (Lautbeschreibung), Tübingen, 1958 (написано в 1934 г.)

бияльных). Этот факт элиминирует «островное положение» (оно оставлено не объясненным у Штибера) соседнего с юга нохтенского диалекта в период до лабиовеляризации *Ve* → *Vo* (например, **smřčati* → **smerčac* → ← *smorčec*), [(1) стр. 94 и 113]; 3) в переходной зоне в некоторых диалектах, расположенных на северной границе верхнелужицкого ареала, неизвестны синтетические формы прошедшего времени, так же, как и во всем нижнелужицком ареале [(1), стр. 208 и 263, а также (15)]. Общий вывод из материала, приводимого в указанной монографии, сводится к тому, что (вопреки Штиберу⁷) диалект Нейштадта нельзя рассматривать только как верхнелужицкий, ибо он скорее представляет собой смешанный диалект с более ярко выраженными верхнелужицкими особенностями в фонетике и нижнелужицкими элементами морфологии и лексики [(1), стр. 286], что в определенной мере намечает ставшее позднее более явственным тройственное деление сербо-лужицкого языкового ареала [(13), (74), (с), (1), (q)].

Автор другой монографии, появившейся после второй мировой войны, был в более благоприятном положении, чем его предшественники в связи с тем, что к моменту написания его работы часть материала АСЛЯ была уже собрана. Поэтому лингвогеографический раздел этой монографии мог основываться на более широком и надежном материале. Кроме того, содержащееся в этой работе синхронное описание функций грамматических категорий проводится здесь методически строже и лучше продумано, чем в предшествующей работе. В обсуждаемой монографии содержались следующие новые, к моменту ее написания, положения:

1. В центре нижнелужицкого ареала окончание 1-го лица единственного числа настоящего времени *o*-спряжения представлено как *-u*, а не *-om*, как это было ранее предложено Э. Мукой⁸ для всей нижнелужицкой территории. Ср. [(5), карты 49, 50, (20)].

2. В противоположность верхнелужицкому в нижнелужицком нет формальных средств выражения категории муж. рода [(5), стр. 301].

3. Формы настоящего времени типа *kurijo/natakažo*, распространенные почти во всех нижнелужицких и части переходных диалектов, всегда выступают в перфективном виде; от глаголов имперфективного вида такие потенцированные формы никогда не образуются. Таким образом вносится существенная поправка в противоположные утверждения Муки⁹ [стр. 140 и сл. и (52)].

Из шести появившихся до сих пор монографий, посвященных рассмотрению диалектных особенностей отдельных микрорайонов, в четырех рассматривается переходный диалект [(1) и примеч. 7, (a), (b), (d)] и только один диалект в нижнелужицком (герс. верхнелужицком) ареале [(5) и примеч. 7, (с)]. Следовательно, система верхнелужицкого диалекта рассмотрена лишь частично (главным образом на материале фонетической системы). Неотложной задачей сербо-лужицкой диалектологии является полное описание несмешанного верхнелужицкого диалекта. Создание каких-либо других всеобъемлющих монографий, посвященных диалектным особенностям тех или иных микрорайонов, по нашему мнению, теперь уже не является необходимым. Существующие пробелы можно восполнить на основе данных АСЛЯ, а также путем кратких дифференциальных описаний.

⁷ Z. Stieber, Stosunki... стр. 22, 78.

⁸ K. E. Mucke, Historische und vergleichende Laut- und Formenlehre der niedersorbischen (niederlausitzisch-wendischen) Sprache, Leipzig, 1891, стр. 541.

⁹ Там же, стр. 577, 589 и сл.

III. Работа над диалектными текстами

Как было указано в цитированном выше сообщении Г. Фаски, напечатанном в журнале «Вопросы языкознания», начиная с 1952 г. ведется работа по созданию и восполнению сербо-лужицкой диалектной фонотеки при Институте сербо-лужицкой этнографии в Будышине. После нескольких безуспешных попыток лишь в 1963 г. удалось наконец выпустить офсетным способом первую тетрадь сербо-лужицких диалектных текстов. Цель этой серии — дать в руки специалистов-славистов выборку из фондов указанной фонотеки [ср. (62)]. В каждой тетради этой серии наряду с текстом, записанным в фонетической транскрипции, приводится тот же текст в обычном написании, снабженный немецким переводом, а также дается описание отклонений диалекта соответствующего текста от литературного языка и комментарии, показывающие место описываемого диалекта в пределах сербо-лужицкой языковой области. Таким образом, выпуски указанной серии восполняют пробелы в описании диалектных особенностей отдельных местностей, содержащиеся в специальных монографиях. Так как подобный род диалектологических монографий в отношении сербо-лужицкого языка имеет традицию в несколько десятилетий [(4) и (5) также содержат диалектные тексты], сетка местностей, в которых производилась запись опубликованных текстов, в настоящее время носит довольно уплотненный характер (обследовано 15 пунктов, большинство из которых находится в переходной зоне). Подобная концентрация внимания диалектологов на переходных диалектах понятна и необходима: именно в этих диалектах можно ожидать наибольших отклонений от норм литературного языка, что неоднократно подтверждалось конкретными исследованиями. Только в томе 1 АСЛЯ из этой языковой области приводится около 15 до сих пор неизвестных лексем или форм лексем [(g)].

Только на основе анализа диалектных текстов сербо-лужицкая диалектология обогатилась следующими выводами:

1. Манифестация энклитической возвратной частицы *so* в позиции Вакернагеля (второе место в предложении) в верхнелужицких диалектах во много превосходит ее встречаемость в этой позиции в литературном языке¹⁰.

2. Нейтрализация оппозиции по звонкости в исходе слова является фонологическим фактом (сандхи оглушения) у ныне живущего старшего поколения только в верхнелужицком ареале. В большей части переходной зоны и в нижнелужицком ареале, однако, такая оппозиция продолжает оставаться в указанной позиции [(33), (35), (36)].

3. Категория числа представлена в сербо-лужицких диалектах трехчленной оппозицией «единственное число — двойственное число — множественное число». Частичная оппозиция «двойственное число — множественное число» на южной окраине верхнелужицкого ареала нейтрализуется во всех релевантных позициях. В южном и северном направлениях число релевантных позиций и частотность встречаемости двойственного числа увеличиваются и достигают своего максимума в переходной зоне и в нижнелужицком ареале [(f), (21)].

4. Область распространения нижнелужицкой частицы *ga* в начале предложения на западе проходит через переходную зону вплоть до верхнелужицкого ареала. Она манифестируется в области с $h \leftarrow *g$ в форме $(h)a$, которая омонимична соединительному предлогу $(h)a$ [(41)].

Важной особенностью опубликованных текстов является тот факт, что в них проявляется беспрепятственная немецко-серболужицкая языковая

¹⁰ F. Michalak, Słowosłęd w serbsčínje, «Létopis ISL», 4, стр. 3—41.

интерференция. Этой проблеме посвящена специальная серия [(10)], в которой приводятся немецкие и сербо-лужицкие диалектные тексты, записанные от одних и тех же информантов, которые затем глубоко анализируются и широко комментируются. Путем числовых подсчетов интерференции¹¹ в сравниваемых диалектах определяется соотношение различных возрастных групп говорящих в процессе изменения языка.

IV. Изучение отдельных проблем

Некоторые отдельные проблемы, поднятые в АСЛЯ (7) и в монографиях, посвященных изучению диалектных особенностей микроместностей [(1) и (5)], были упомянуты в разделах I и II настоящей статьи. В разделе III также приводились такие проблемы, исследуемые с помощью диалектных текстов, записанных на магнитофонную ленту. В настоящем разделе эти проблемы уже не упоминаются.

Круг авторов здесь несколько шире, чем число ученых, создавших упомянутые выше книги: он не ограничивается только сотрудниками Института сербо-лужицкой этнографии и охватывает советских, польских и немецких ученых. Ниже будут рассмотрены некоторые новые результаты.

1. В лингвогеографических работах обычно привлекается только синхронный материал, т. е. в исследуемом ареале проводится опрос информантов, принадлежащих к одной и той же возрастной группе. «Социологические изоглоссы» на карты не наносятся. То, что в сербо-лужицкой языковой области существуют языковые особенности различных поколений, дважды упоминалось в специальных статьях:

а) Среднее и молодое поколение в области распространения верхне-лужицкого диалекта, носители которого являются католиками, используются в качестве усилительной частицы при некоторых указательных местоимениях слог *-ne* вместо *-le* (более старое поколение): *tane* вместо *tale* «этот», род. пад. *tune* вместо *tule*, *tajkine* вместо *tajkile* «такой». Наряду с подобным, весьма редким переходом звуков (*l* → *n*), наблюдается перестройка словообразовательного корня. Молодое поколение склоняет — род. падеж ед. числа *tyneje*, род. падеж мн. числа *tynych*, старшее поколение склоняет еще — род. падеж ед. числа *tejele*, род. падеж мн. числа *tychle*. Интересным является также использование формы *tón* (молодое поколение) вместо *tu* (старшее поколение) в винительном падеже жен. р. формы указательного местоимения без частицы. Она возникла путем метанализа формы *tune*, потенцированной с помощью частицы *-ne* [ср. об этом (25)].

б) В одном из пунктов нижнелужицкого ареала, где производилась магнитофонная запись диалектной пробы, можно было наблюдать различие в системе вокализма старшего и среднего поколений. Старшему поколению известна фонема *ě*, у молодого же поколения эта фонема совпала с *e*. Одновременно с этим происходит звуковой переход *y* («*o после лабиальных и веларных) → *e*. Молодое поколение перенимает систему соседних на востоке диалектов [ср. об этом (с)].

2. Фонологическая интерпретация диалектно различных рефлексов *o после лабиальных и веларных (*ó, e, y*) в нижнелужицком ареале и части переходной зоны в последние годы подверглась всестороннему обсужде-

¹¹ Ср. также: S. Michalk, *Přinošk ke kwantifikaciji řečneje interferency, «Přinošk k serbskému řečespyteju», Budyšin, 1968, стр. 94—105.* Ср. в связи с этим также закон Ципфа, опубликованный в «Psychobiology of language. An introduction to dynamic philology» (Boston, 1935); M. Ivić, *Kierunki w lingwistyce, Wrocław—Warszawa — Kraków, 1966, стр. 213.*

нию [(5), (11), (22), (29), (56), (69), (d)]. Убедительная аргументация содержится в (d). Согласно этой концепции, рефлекс y (y^e , y) и e (e , e^o) во всех диалектах, где они встречаются, совпадают с фонемой y (resp. e). Они не стали самостоятельными фонемами и не остались комбинаторными вариантами o . Рефлекс $ó$, с другой стороны, в диалектах, где сохраняется оппозиция $l' - \acute{l}$, остался комбинаторным вариантом o , а в других диалектах, где \acute{l} перешло в w , манифестируется как самостоятельная фонема, так как * o после нового лабиального ($w \leftarrow *l$) более не переходит в $ó$.

3. Исследование частотности встречаемости фонем в различных сербо-лужицких диалектах привело к следующим выводам:

а) частотность маркированного члена оппозиции никогда не превышает частотности соответствующего немаркированного члена той же оппозиции; б) степень частотности фонологической оппозиции имеет тенденцию быть обратно пропорциональной числу оппозиций в пределах одного корреляционного ряда; в) гласные низкого подъема обладают большей частотностью, чем высокого; г) частотность гласных переднего ряда ниже, чем частотность гласных заднего ряда. Исключения составляют гласные с максимальным подъемом (i и u), частотности которых имеют обратную характеристику [ср. об этом (k)].

4. Позатанное проведение перехода гласных в зависимости от позиции соответствующего звука было продемонстрировано с привлечением синхронного и исторического материала на примере лабиовеляризации * y и * e различного происхождения после лабиальных. Ниже следуют различные возможные позиции:

A. В начале слова (префикс или корневая морфема):

- после $w \leftarrow *v$ (например, * $vy \rightarrow wu$ -)
- после $w \leftarrow *t$ (например, * $slyšati \rightarrow swušač$ o , \acute{a})
- после p , b , m (например, * $myti \rightarrow muč$, o , \acute{a})

B. Флексивное окончание

- глагола (например, $spimy/spime \rightarrow spimu/spimo$)
- имени (например, $skupy/skupe \rightarrow skupu/skupo$).

Было доказано, что лабиовеляризация * $y \rightarrow u$ (o) и * $e \rightarrow o$ в перечисленных позициях произошла не одновременно, а последовательно в порядке Aa и Bб [ср. об этом (32)].

5. Путем использования синхронного и точно локализованного исторического материала было доказано, что в течение прошедших трехсот лет на западной границе верхнелужицкого ареала многие изоглоссы были смещены в северном направлении [ср. об этом (e)].

6. Вопреки Л. В. Щербе было доказано, что категория вида в сербо-лужицких диалектах является живой категорией, которая, хотя и подверглась немецкому влиянию, не была вытеснена (44).

7. С помощью синхронного диалектологического материала делались попытки локализации языковых памятников [(49), (53)].

8. Было исследовано соотношение сербо-лужицких диалектов с соседними чешскими и польскими [(46), (47), (51), (2)].

9. Исключительно на основе исторического материала (топонимика) стали возможны существенные выводы о былом членении древнелужицкой языковой области и части ее восточной границы. Эти выводы подтверждаются и уточняются имеющимися исследованиями [(54), (55)].

Наметившееся с начала 60-х годов обнадеживающее развитие сербо-лужицкой диалектологии, опирающейся на широкое собрание материала, получаемого исключительно путем непосредственного опроса информантов, даст возможность славянскому сравнительному языковедению в будущем ставить перед собой более сложные задачи по исследованию места сербо-лужицкого языка среди других славянских языков.

Книги, посвященные специально сербо-лужицкой диалектологии

- 1962 (1) S. Michalk, Der Dialekt von Neustadt, Bautzen, 1962, 483 стр. + 103-карта;
 1963 (2) «Sorbsche Dialekttexte», I, Spolla, Kreis Hoyerswerda, bearb. von H. Faßke und S. Michalk, Bautzen, 101 стр.;
 (3) «Studije k serbskej dialektologiji», Budyšin, 221 стр.;
 1964 (4) «Sorbsche Dialekttexte» II, Nochten, Kreis Weißwasser, bearb. von H. Jentsch und S. Michalk, Bautzen, 80 стр.;
 (5) H. Faßke, Die Vetschauer Mundart, Bautzen, 473 стр. + 70 карт;
 1965 (6) «Sorbsche Dialekttexte», III, Schmogrow, Kreis Cottbus, bearb. von H. Faßke und H. Jentsch, Bautzen, 97 стр.;
 (7) «Sorbsicher Sprachatlas», 1, Feldwirtschaftliche Terminologie, bearb. von H. Faßke, H. Jentsch und S. Michalk, mit einer kurzgefaßten siedlungskundlich-demographischen Einleitung von F. Mětsk, Bautzen, 241 стр. (VI + 96 карт);
 1966 (8) «Sorbsche Dialekttexte», IV, Sollschwitz, Kreis Hoyerswerda, bearb. von H. Faßke und S. Michalk, Bautzen, 55 стр.;
 1967 (9) «Sorbsche Dialekttexte», V, Klix, Kreis Bautzen, mit Spreewiese, Salga und Göbels, bearb. von H. Faßke und S. Michalk, Bautzen, 65 стр.;
 (10) «Studien zur sprachlichen Interferenz», I, Deutsch-sorbische Dialekttexte aus Nochten, Kreis Weißwasser, bearb. von S. Michalk und H. Protze, Bautzen, 173 стр.;
 (11) Л. Э. Калнынь, Типология звуковых диалектных различий в нижне-лужицком языке, М., 250 стр.

Книги, в которых затрагиваются проблемы сербо-лужицкой диалектологии

- (12) «Серболужицкий лингвистический сборник», М., 1963;
 (13) R. Löttsch, Einheit und Gliederung des Sorbischen, Berlin, 1965, 29 стр. + 2 карты;
 (14) ег о же, Die spezifischen Neuerungen der sorbischen Dualflexion, Bautzen, 1965, 112 стр. + 7 карт.

Статьи, посвященные специально сербо-лужицкой диалектологии

- 1959 (15) F. (=S.) Michalk, Der Verlust der synthetischen Vergangenheitsformen im Norden des obersorbischen Sprachgebiets, «Acta Universitatis Carolinae, Philologica-Suppl. Slavica Pragensia», I, стр. 103—112;
 1960 (16) H. Faßke, Unbekanntes niedersorbisches Wortgut aus Werben, ZfSl, V, стр. 520—523;
 1962 (17) ег о же, Beiträge zum niedersorbischen Wörterbuch, ZfSl, VII, стр. 263—266;
 1963 (18) H. Faßka (= Faßke), K narěčnym rozdžělam a jich kartografowanju, (3), стр. 17—25;
 (19) ег о же, Słowjesa typu schorjeś a typu sejžeś w delnjoserbskich narěčach, (3), стр. 104—114;
 (20) ег о же, K l. wosobje sg. prez. w delnjoserbskich narěčach, (3), стр. 97—103;
 (21) H. Jenč, K někotrym prašenjam duala w Rozwodacach a w druhich narěčach (13), стр. 115—145;
 (22) Л. Э. Калнынь, О нижне-лужицком вокализме (12), стр. 23—46;
 (23) ег же, О фонологической системе одного из нижне-лужицких говоров (3), стр. 27—79;
 (24) R. Löttsch, Zum Gebrauch der Possesivpronomina der 3. Person im Muskauer Dialekt des Sorbischen, (3), стр. 147—158;
 (25) F. (=S.) Michalk, Čehodla tón město tu (acc. sg. f. pron. dem.), (3), стр. 176—182;
 (26) ег о же, Niedersorbisch *serse* /na *serse* statt *serbski*/ *po serbsku* (3), стр. 159—175;
 (27) D. Petrová, J. Petr, Beispiele sorbischer Dialetaufnahmen, ZfSl, VIII, стр. 164—172;
 (28) Z. Topolińska, Stosunki akcentowe w Górnołużyckim dialektie Wochoz i Okolicy, (3), стр. 86—96;
 (29) ег же, Przyczynek do Rozwoja *o w kilku wsiach Dolnołużyckich (3), стр. 81—85;
 (30) ег же, К вопросу об истории сербо-лужицких аффрикат, (12), стр. 47—53;
 (31) E. Jurkowski, Wo němskich požónkach w delnjoserbskich dialektach (3), стр. 197—208;
 1964 (32) F. (=S.) Michalk, Labiowelarizacija wokalow y a e wšelakeho pochada po labialnych konsonantach w serbskich dialektach, «Létopis ISL», rjad A, 11, 2, стр. 129—163;

- (33) ег о же, Zur Frage des sorbischen Sandhi (Satzphonetik), ZfSl, IX, стр. 221—240;
- (34) R. L ö t z s c h, Die Verbreitung des Gen.-Akk. Du. in den sorbischen Dialekten und das Problem seiner Genese, ZfSl, IX, стр. 486—499;
- 1965 (35) F. r. M i c h a ł k, Über des Satzsandhi in den sorbischen Dialekten, «Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace językoznawcze», 15, стр. 311—313;
- (36) ег о же, Über das sorbische Sandhi, «Studia z filologii polskiej i słowiańskiej», 5, стр. 355—360;
- (37) A. Z a r e b a, Gwarowy tekst lużycki (mużakowski), «Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace językoznawcze», 15, стр. 281—294;
- (38) E. E i c h l e r, Zur Einbeziehung ehemaliger slawischer Sprachgebiete in den slawischen Sprachatlas, «Slavia», 1965, 2, стр. 273—276;
- 1966 (39) Z. T o p o l i ŋ s k a, Hipotaktyczne funkcje wyrazów *ga* (ž), *ak* (o) w dolnołużyckim dialekcie okolic Chociebuza, «Lëtöpis ISL», A 13, 2, стр. 149—163;
- (40) В. Ч а г и ш е в а, Семантическое сближение слов разного происхождения. О словах *садыба* и *жае* в лужицких говорах, «Lëtöpis», A, 13, 1, стр. 31—39;
- 1967 (41) F. r. (= S.) M i c h a ł k, Zestajena sada typu *hdyž* + *S*₁ + *da* + *S*₂ w serbskich dialektach, «Lëtöpis ISL», A, 14, 1, стр. 1—22.

Статьи и другие публикации, частично затрагивающие проблемы сербо-лужицкой диалектологии

- 1955 (42) H. S e w c (= H. Schuster-Sewc), Stawizny hornjeje a delnjeje serbsčiny, kap. V. Spisowna reč — narěč, «Serbsčina. Listowy studij za wučerjow», Budyšin, (1955/56), стр. 617—626, с картой;
- 1959 (43) H. S c h u s t e r - S e w c, Sprache und ethnische Formation in der Entwicklung des Sorbischen, ZfSl, IV, стр. 577—595;
- (44) F. (= S.) M i c h a ł k, Über den Aspekt in der obersorbischen Volkssprache, ZfSl, IV, стр. 241—253;
- (45) F. (= S.) M i c h a ł k, Wortgruppen mit schwankender Flexion in der obersorbischen Volkssprache, ZfSl, IV, стр. 569—576;
- 1963 (46) M. G r u c h m a n n o w a, Związki językowe dialektu Kramsk z Łużycami, JP, XXXVII, 4, стр. 241—252;
- (47) е е же, Nawiązania lużyckie v Kresowych gwarach zachodniej Wielkopolski, «Z polskich studiów slawistycznych», Seria druga, Warszawa, стр. 311—318;
- (48) R. L ö t z s c h, Das Problem der obersorbisch-niedersorbischen Sprachgrenze, ZfSl, VIII, стр. 172—183;
- (49) F. (= S.) M i c h a ł k, Gothaski fragment delnjoserbskich rukopisnych spěwarskich, «Lëtöpis ISL», A, 10, 1, стр. 1—19;
- (50) ег о же, Еме раз о *běrný zběranje*, (12) стр. 132—137.
- 1964 (51) Z. Z a g ó r s k i, Związki językowe północnej Wielkopolski i Krajny z Kaszybszczyzną i językiem dolnołużyckim, Poznań;
- 1965 (52) H. F a b k e, K prezensu typu *kupijom* — *namakajom*, «Lëtöpis ISL», rjad A, 12, 2, стр. 154—172;
- (53) H. S c h u s t e r - S e w c, Wo narěčnym stejišču wuchodonodelnjoserbskeho rěčneho pomnika Mikławša Jakubicy z lěta 1548, «Slavia», XXXIV, 4, стр. 560—572;
- (54) P o p o w s k a - T a b o r s k a, Dawne pogranicze językowe polsko-dolnołużyckie (w świetle danych toponomastycznych), Wrocław — Warszawa — Kraków, 185 стр. (7 карт);
- (55) E. E i c h l e r, Studien zur Frühgeschichte slawischer Mundarten zwischen Saale und Neiße, Berlin.
- (56) H. S c h u s t e r - S e w c, Rozwój fonologiczny dolnołużyckiego systemu wokalicznego, «Studia z filologii polskiej i słowiańskiej», 5, Warszawa, стр. 397—405;
- 1966 (57) R. L ö t z s c h, Erscheinungen der Attraktion im Deutschen und Sorbischen, ZfSl, XI, стр. 391—405.

Сообщения о работах в области сербо-лужицкой диалектологии

- 1956 (58) F. (= S.) M i c h a ł k, Zběranje hornjoserbskich dialektnych tekstow, «Lëtöpis ISL», A, 4 (1956/57);
- 1960 (59) ег о же, Zabajeenje džełta na regionalnym serbskim dialektnym atlasu, «Lëtöpis ISL», rjad A, 7, стр. 186—190;
- (60) J. P e t r, Nářečni výskum v Lužici, «Słowanský přehled», 46, стр. 316;
- 1961 (61) F. (= S.) M i c h a ł k, Wažnosť dialektologije za sorabistiku, «Lëtöpis ISL», A, 8, стр. 190—193;
- (62) H. S c h a l l, Zur Mundart- und Namenforschung im Institut für Slawistik der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, «Lëtöpis ISL», A, 8, стр. 168—173;

- (63) F. (= S.) M i c h a ł k, Das sorbische dialektologische Schallarchiv des Instituts für sorbische Volksforschung, «Biuletyn fonograficzny», IV, Poznań;
 1962 (64) М. И. Ермакова, Л. Э. Калнынь, О диалектологической экспедиции в пажнюю Лужуцу, «Славянское языковедение», М., стр. 109;
 (65) E. K a m i ĩ s k a - R z e t e l s k a, Prace nad atlasem gwar łużyckich, JP, XLI, стр. 67—69;
 1963 (66) P. N o w o t n y, Studije k serbskej dialektologiji, Budyšin, стр. 5—15 (предисловие);
 1964 (67) F. (= S.) M i c h a ł k, Stan badań dialektologicznych na Łużyczach, «Zaranie Śląskie», XXVII, 1, стр. 108—112;
 (68) J. C h l o u p e k, Z lužicko-srbské dialektologie, «Slavia», XXXIII, 4, стр. 657—658.

Рецензии

- 1958 (69) F. (= S.) M i c h a ł k, H. Schuster-Sewc, Vergleichende historische Lautlehre der Sprache des Albin-Moller, Berlin, 1958, «Létopis ISL», A, 5;
 (70) H. S c h u s t e r - S e w c, A. Schröder, Die Laute des wendischen (sorbischen) Dialekts von Schleife in der Oberlausitz, Tübingen, 1958, 152 стр., ZfSl, IV, стр. 771—780;
 1964 (71) R. L ö t z s c h, (2), ZfSl, IX, стр. 283—286;
 1965 (72) A. F r i n t a, (2), «Přehled lužickosrbského kulturního života», 8, Praha, стр. 20—21;
 (73) его же, (5), там же, стр. 18—20;
 1966 (74) R. L ö t z s c h, (1), ZfSl, XI, 1965, стр. 150—159;
 (75) М. И. Ермакова, Л. Э. Калнынь, (1), «Советское славяноведение», 5, 1965, стр. 78—81;
 (76) H. R ö s e l, (7), «Erasmus. Speculum Scientiarum», 18, N 21—22, стр. 660—663;
 (77) J. P e t r, (7) «Jazykovědné aktuality», 6, стр. 29—31;
 (78) R. L ö t z s c h, (5), ZfSl, XI, стр. 108—114;
 1967 (79) H. R ö s e l, (14), «Zeitschrift für Ostforschung», XVI, 1, стр. 146—147;
 (80) Л. Э. Калнынь, (7), «Советское славяноведение», 2, стр. 93—97;
 (81) H. R ö s e l, (6), «Zeitschrift für Ostforschung», XVI, 1, стр. 145—146;
 (82) G. S t o n e, (7), «The Slavonic and East European Review», London, 1967, стр. 223—224;
 (83) R. U r b a n, (7), «Zeitschrift für Ostforschung», XVI, 1, стр. 143—145;
 (84) H. R o s e n k r a n z, (7), «Zeitschrift für Volkskunde», II, Stuttgart, стр. 271—272;
 (85) A. F r i n t a, (7), «Přehled lužickosrbského kulturního života za rok 1965/66», 9, Praha, стр. 79—82;
 (86) его же, (6), там же, стр. 77—78;
 (87) его же, (14), там же, стр. 73—74;
 (88) W. F i e d l e r, (7) «Deutsches Jahrbuch für Volkskunde», 13, 2, стр. 511—514;
 (89) S. M u s i a t, B. N a w k a, I. G a r d o š (1), (2), (4), (6), (7), (8), «Létopis ISL», A, 16, стр. 156—157;
 (90) К. К. Трофимович, (3), (2), (4), «Структура и развитие слов'янских мов», Київ, стр. 152—157;
 (91) О. Ф. Рипецкая, (1), там же, стр. 157—162;
 (92) Т. В. Старак, (5), там же, стр. 163—168.

Публикации 1968 года

(в том числе еще не опубликованные)

- a) «Sorbischer Sprachatlas», 2, Viehwirtschaftliche Terminologie, bearb. von H. Faßke, H. Jentsch und S. Michalk, Bautzen, 1968, 312 стр. + 135 карт;
 b) «Sorbische Dialekttexte», VI, Weißig und Lieske, Kreis Kamenz, mit Liebegast, Kreis Hoyerswerda, bearb. von H. Faßke und S. Michalk, Bautzen, около 115 стр.;
 c) H. F a ß k e, Serbski rečny atlas a jeho problematika, Přinoški k serbskemu rečespytu, Budyšin, стр. 193—206;
 d) его же, K fonologiskej interpretaciji *o po labialach a welarach w delnjoserbskich dialektach, «Sorabistiske přinoski k VI. Mjezynarodnemu kongresnej slawistow w Praze 1968», Budyšin;
 e) S. M i c h a ł k, Kulowski dialekt dźensa a před 300 lětami. Přinosk k serbskej historiskej dialektologiji, «Sorabistiske přinoski k VI. Mjezynarodnemu kongresnej slawistow w Praze 1968», Budyšin;
 f) H. F a ß k e, K prašenju duala a k frekwency jeho zastupowanja přez plural, «Létopis ISL», A, 15, 1, 1968;

- g) S. Michalík, Serbski řečny atlas a dotalne serbske słowniki (в печати).
- h) A. Habovštík, Přinoški k serbskemu řečespytej.
- i) H. Fabke, Zur Perception und phonologischen Interpretation des *o* nach Labialen und Velaren im Niedersorbischen, «Protokoll des VI. Internationalen Kongresses für phonetische Wissenschaften», Praha;

Дополнение

- k) H. Fabke, Zum Ausnutzungsgrad phonologischer Gegensätze und zur Phonemfrequenze, dargestellt am Material der sorbischen Dialekte, «Zeitschrift für Mundartforschung», Beihefte, Neue Folge, 3, 4, стр. 201—211, Wiesbaden, 1967;
- l) R. Löttsch, Niektóre właściwości morfologiczne przejściowych dialektów górnołużycko-dolnołużyckich, «Studia z filologii polskiej i słowiańskiej», 7, 1967;
- m) Р. Леч, Некоторые вопросы морфологической дифференциации лужицких диалектов в связи с Общеславянским лингвистическим атласом, «Общеславянский лингвистический атлас (материалы и исследования)», II, М., 1968;
- n) H. Faska, Sorabica, «Studia z filologii polskiej i słowiańskiej», 5, Warszawa, 1965, «Lětopis ISL», A, č. 13, 1, 1966, стр. 123—126;
- o) е г о ж е, рец. на (12), «Lětopis ISL», A, 11, 1, 1964;
- p) R. Löttsch, рец. на (12), ZfSl, IX, 1964, стр. 721—729;
- q) Р. Леч, Особенности развития родительного — винительного падежа множественного числа в собственно нижнелужицких говорах и нижнелужицко-верхнелужицких переходных диалектах, «Сербо-лужицкий лингвистический сборник», 2, М., 1968;
- r) K. J. Schilleg, Рец. на (13), «Rozhled», 9, 1966;
- s) М. А. Михайлов, Рец. на (13), «Советское славяноведение», 1967, 4.

Перевел с немецкого *М. М. Маковский*

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

В. И. ГЕОРГИЕВ

ФОНЕМАТИЧЕСКИЙ И МОРФЕМАТИЧЕСКИЙ ПОДХОД
К ОБЪЯСНЕНИЮ ФЛЕКСИИ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ

I. Фонемы и морфемы

Существуют многочисленные исследования о морфологии славянских языков, и все же ряд вопросов, связанных с особенностями флективных окончаний, их происхождения и развития, остается невыясненным. По нашему мнению, главной причиной этого является господствующая до наших дней традиционная точка зрения объяснения славянских морфем. В настоящей статье предлагается новая концепция их объяснения, в свете которой проблемы морфологии славянских языков предстают совсем в ином свете.

Обычно при объяснении флексии используется фонематический подход. Так, например, для выявления происхождения морфемы *-и* в дательном падеже единственного числа основ на *-о-* обычно пытаются показать, каким путем индоевропейское окончание *-ōu* могло бы измениться в праславянском в *-и*¹, несмотря на очевидную неправдоподобность такого объяснения: согласно фонематическим законам праславянского языка *-и* не может восходить к *-ōu*.

В действительности фонематический подход имеет свое основание. Многие флективные морфемы можно очень хорошо объяснить таким путем, например: и.-е. *-ōd/t* (аблатив ед.) > праслав. *-ā* (род. ед.), и.-е. *-ou* > праслав. *-ě* (местн. ед.), и.-е. *-ouysi* > праслав. *-ěxъ* (местн. мн.) и пр. Фонематические законы, несомненно, действительны и в отношении флективных морфем.

Однако флексия каждого языка распределена в особые системы, имеющие свои специфические морфологические законы, на которых зиждется систематический характер структуры языка. Вот почему развитие флективных морфем обусловлено не только фонематическими, но и морфематическими (морфологическими, морфонологическими) законами. В таком слове, как например, русск. *жене* (дат. ед.), *ж, е, н* — обыкновенные фонемы, строительный материал слова, носители его лексического значения, в то время как конечное *-е*, кроме этой функции, исполняет роль показателя грамматического значения слова.

¹ Ср., например: Н. Рøдeрсeн, KZ, XXXVIII, 1902, стр. 323, 325; A. Vailant, Grammaire comparée des langues slaves, Paris — Lyon, II, 1, 1958, стр. 31; I, 1950, стр. 213.

Фонемы, имеющие грамматическое значение, называются м о р ф о - н е м а м и ². В языковой структуре обыкновенные фонемы распределены в фонематические системы и подчиняются фонематическим законам. Они принадлежат к самому низкому уровню языковой структуры: сами по себе они не связаны с определенным значением. Морфемы же, с одной стороны, подчиняются фонематическим законам, поскольку они являются фонемами по своей сущности, но, с другой стороны, функционально они играют ту же роль, что и другие грамматические морфемы, которые в языковой структуре распределяются в особые морфологические системы. В отличие от обыкновенных фонем морфемы несут определенную смысловую нагрузку, ввиду чего вместе со всеми другими морфемами принадлежат к более высокому с м ы с л о в о м у у р о в н ю в и е р а р х и и языковой структуры.

Следовательно, морфемы относятся как к фонематической, так и к морфологической системе языковой структуры, в силу чего и подчиняются одновременно фонематическим и морфематическим законам. В связи с этим морфемы часто являются объектом противоречивого скрепления упомянутых двух видов закономерностей, причем в таких случаях решающее значение принадлежит обычно морфематическому закону, т. е. тому фактору, который младшеграмматики в далеком предчувствии современного структурализма обозначали термином «давление системы» (Systemzwang).

Конкретный пример действия морфематических законов в развитии языка, в противовес фонематическим, дает нам сравнение падежных окончаний множественного числа основ на *-o-* в древнерусском (древнеболгарском) и современном русском языках (табл. 1).

Ни одна из указанных здесь морфем современного русского языка не может быть выведена сообразно с фонематическими законами из соответствующих древнерусских (и древнеболгарских) падежных окончаний, идентичных тем же формам позднего праславянского языка: *-ы* не может восходить к старому *-и*, *-ов* нельзя вывести из *-ы* или *-ъ*, а в *-ам* не соответствует старому *o* в *-омъ*, а в *ax* не может быть прямым наследником старого *ъ* в *-ъхъ*. Рассмотренные морфемы современного русского языка вообще не могут быть объяснены фонематическим путем.

В данном случае объяснение может быть только морфологическим: *-ы* заимствовано из винительного падежа множественного числа основ на *-o-* и из именительного-винительного падежа множественного числа основ на *-а*; *-ов* перенесено из основ на *-и-*; *-ам*, *-ами*, *-ax* перешли сюда из основ на *-а*.

Другой пример. Др.-болг. *мати* восходит к и.-е. **mātē* (*r*), на основании чего можно было бы сформулировать следующее предположение: и.-е. *ē* сохраняется в праславянском как *ě*, но в конце слова перед *r*, которое исчезает, изменяется в *i*. Однако такой «фонематический закон» был бы выведен на основании одного единственного случая, т. е. такое предполо-

Таблица 1

Падеж	Древнерусский (древнеболгарский)	Русский
Им., зват.	<i>раби</i>	<i>рабы</i>
Вин.	<i>рабъ, рабъ</i>	<i>рабов</i>
Род.	<i>рабъ</i>	<i>рабов</i>
Дат.	<i>рабомъ</i>	<i>рабам</i>
Твор.	<i>рабы</i>	<i>рабами</i>
Местн.	<i>рабѣхъ</i>	<i>рабах</i>

² Морфология — термин, выдвинутый Н. С. Трубецким (ср. TCLP, 4, 1931, стр. 160 и сл.). Под морфологией Трубецкой подразумевается учение о морфологическом употреблении фонологических средств языка. По этому вопросу см. также: J. K u r ſ o w i c z, Phonologie und Morphonologie, сб. «Phonologie der Gegenwart, Wiener slavistisches Jahrbuch», VI, 1967, стр. 158 и сл.

жение было бы сделано *ad hoc*. Фонематический закон не может быть установлен на основе единичного примера, поскольку отсутствует одна из существенных предпосылок закономерности — частотность. Окончание *-и* не может восходить к и.-е. *-ē*: и.-е. *ē* сохраняется в праславянском как *ĕ* (= *ē*) и не изменяется в *-i*. Следовательно, *-и* в рассмотренном древнеболгарском слове не может быть объяснено при помощи фонематических законов: в данном случае также следует искать морфологическое объяснение.

Подобные примеры можно было бы во много раз увеличить. Все эти факты приводят нас к следующему заключению. Достоверные фонематические законы могут быть установлены лишь на основании корней и основ. Анализ же одних флективных морфем не может привести к формулировке достоверных фонематических законов, поскольку в этом случае действуют особые морфематические законы. Ниже даются два примера, которые могут иллюстрировать наше заключение.

В связи с тем, что индоевропейские краткие гласные *a*, (*ə*), *o* представлены в славянских языках как *o* в корнях и основах слов (существование достаточное число примеров, подтверждающих это положение и в флективных морфемах), морфема *-ъ* в именительном-винительном падеже единственного числа основ на *-o-*, засвидетельствованная в древнеболгарском (и в других старых славянских языках), не может восходить к и.-е. *-os*, *-ot*.

Так как индоевропейское долгое *ō* последовательно представлено в славянских языках как *ā* в корнях и основах слов (например, и.-е. **dōro-* > др.-болг. *даръ*), а немало примеров говорят о подобной трактовке и в флективных морфемах (например, и.-е. *-ōd/t* аблатив > слав. *-a* род. ед.; и.-е. *-ō* > др.-болг. *-a* им.-вин., зв. дв.; греч. *ἔ-ῥωο* = др.-болг. *зна* из и.-е. *-ō(s)-s* и *-ō(s)-t*), то выдвинутое на основе особенностей гласных в некоторых флективных морфемах предположение о том, что и.-е. *ō* сохраняется в славянских языках, неправдоподобно.

Такие изменения, как например, древнеболгарское окончание *-ѣ* в местном падеже единственного числа основ на *-o-*, восходящее к и.-е. *-ou*, обычно означаются термином «закономерное развитие» (*regelmässige Entwicklung*). И обратно, такие особенности, как например, др.-болг. *мати* из и.-е. **mātē(r)* с *-и* вместо *-ѣ* считаются «незакономерным развитием» (*unregelmässige Entwicklung*)³. Эта младограмматическая терминология в корне ошибочна. В сущности, это особенности закономерного развития флективных морфем, поскольку последние подчиняются как фонематическим, так и в особенности морфематическим законам, вытекающим из системного характера языковой структуры.

II. Морфематические законы

В структуре языка морфемы, как и все флективные морфемы, распределены в особые системы, которые подвергаются воздействию особых морфематических законов. Здесь приводятся несколько примеров морфематических законов.

Флективные морфемы данной системы склонения могут совпадать в разных падежах и различных склонениях, но не могут совпадать в единственном, множественном и двойственном чис-

³ См., например: V. K i p a r s k y, *Russische historische Grammatik*, II, Heidelberg, 1967, стр. 122 и сл.

ле одного и того же падежа в одной системе склонения, т. е. в горизонтальном ряду. Ср., например, следующие флективные системы:

<i>Древнеболгарский: основы на -о-</i>				<i>Древнеболгарский: основы на -а-</i>			
	Ед.	Мн.	Дв.		Ед.	Мн.	Дв.
Им.	-ъ	-и	-а	Им.	-а	-ы	-ѣ
Вин.	-ъ	-ы	-а	Вин.	-ѣ	-ы	-ѣ
Зв.	-е	-и	-а	Зв.	-о	-ы	-ѣ
Род.	-а	-ъ	-оу	Род.	-ы	-ъ	-оу
Дат.	-оу	-омъ	-ома	Дат.	-ѣ	-амъ	-ама
Твор.	-ома	-ы	ома	Твор.	-оѣ	-амн	-ама
Мест.	-ѣ	-ѣхъ	-оу	Местн.	-ѣ	-ахъ	-оу

Здесь нет ни одного случая совпадения морфем в единственном, множественном и двойственном числе одного и того же падежа. То же самое показывает сравнение современных русских склонений:

Ед.	Мн.
<i>стол</i>	<i>стола</i>
<i>учитель</i>	<i>учители, учителя</i>
<i>герой</i>	<i>герои</i>
<i>муж</i>	<i>мужи, мужья</i>
<i>гость</i>	<i>гости</i>
<i>село</i>	<i>села</i>
<i>поле</i>	<i>поля</i>
<i>жена</i>	<i>жены</i>
<i>доля</i>	<i>доли</i>
<i>ночь</i>	<i>ночи</i>
<i>мать</i>	<i>матери</i>
<i>знамя</i>	<i>знамена</i>

Строгое разграничение морфем в парадигмах трех или двух чисел каждого отдельного падежа, т. е. их оппозиция, обуславливается необходимостью четкого выделения категорий единственности, множественности и двойственности, присущих праславянскому языку и унаследованных им из индоевропейского, в котором также не происходит совпадения таких падежных окончаний. Так, например, в предложениях *Он купил книгу* и *Он купил книги* морфемы *-у* и *-и* размежевывают логические категории единственности и множественности: если бы эти морфемы совпали, они бы не смогли выполнить своей функции. Это положение обуславливает следующий морфематический закон:

Если в развитии данного языка в силу фонематических законов какие-либо морфемы единственного, множественного и двойственного числа в одном и том же падеже должны совпасть, то одна из совпадающих морфем устраняется, ее заменяет другая подходящая морфема.

Следовательно, система «саморегулируется» под воздействием собственных морфематических законов (Systemzwang). Вот пример этому: др.-болг. им. ед. жена, мн. жены, дв. женѣ.

Индоевропейское окончание им. мн. *-ās*, ср. литов. *-os*, др.-инд. *-āḥ* и пр. от и.-е. *-ās*. По фонематическим законам праславянского оно должно

было бы измениться в \bar{a} . В таком случае окончания единственного и множественного чисел совпали бы. Согласно сформулированному выше морфематическому закону, такое совпадение недопустимо, оно устраняется. Это же касается и другого окончания им. мн. и.-е. $-au$ (ср. греч. $-ai$, лат. $-ae$ и др.), поскольку в (праславянском и) древнеболгарском оно дало бы $-t$, которое совпало бы с окончанием двойственного числа $-t$. Поэтому еще в праславянский период сюда было перенесено окончание $-y$ из винительного падежа множественного числа, заимствованное из основ на u (и основ на $-u$): и.-е. $-\bar{u}s >$ праслав. $-y$ (ср. др.-инд. $\bar{u}h$ вин. мн.).

В праславянском окончания именительного-винительного падежа единственного, множественного и двойственного числа существительных мужского рода находятся в оппозиции к соответствующим морфемам среднего рода. Это соотношение унаследовано из общиндоевропейского, причем в праславянском оно распространилось и на винительный падеж. Такое положение обуславливает следующий морфологический закон:

Если при развитии языка в силу фонематических законов какие-либо морфемы именительного-винительного падежа мужского и среднего рода данной системы склонения должны совпасть, то одна из совпадающих морфем устраняется и заменяется другой подходящей морфемой. Вот пример этому, взятый из древнеболгарского языка:

Основы на $-o$

Муж. род: им. ед.	рабъ,	мн.	раби,	дв.	раба
вин. ед.	рабъ,	мн.	рабы,	дв.	раба
Ср. род: им.-вин. ед.	село,	мн.	села,	дв.	села

Индоевропейские окончания именительного-винительного падежа единственного числа основ на $-o$ мужского рода были $-o-s$, $-o-m$. Эти и.-е. морфемы сохранились в балто-славянском, как это видно из литовского языка, ср. литов. *vŕgas* «муж» им. ед. и *vŕga* вин. ед. При развитии праславянского в силу соответствующих фонематических законов морфемы мужского и среднего рода должны были совпасть в именительном-винительном падеже единственного числа. Вот почему, сообразно с сформулированным выше морфологическим законом, в мужской род основ на $-o$ перенесена морфема $-t$ из основ на $-i$, восходящая к и.-е. $-u-s$, $-u-m$ (ср. др.-болг. *сынъ*). С другой стороны, в силу фонематических законов окончание винительного падежа множественного числа мужского рода должно было быть \bar{a} из и.-е. $-\bar{o}s$ ($< -o-ns$, см. выше). Однако такое окончание совпало бы отчасти с именительным-винительным падежом двойственного числа мужского рода, в связи с чем сюда перенесено окончание $-y$ основ на $-i$, ср. др.-болг. *сынъ* из и.-е. $-\bar{u}s$ ($< u-ns$).

Итак, до сих пор обычно объясняли, какие изменения претерпело данное флективное окончание согласно фонематическим законам или же откуда оно перенесено; теперь же ставится вопрос о том, по каким причинам данная флективная морфема заменяется другой.

III. Падежи и синтаксические категории

Любая система склонения представляет собой сложное целое, в отношении которого действует и скрепляется ряд законов. Например, в позднем праславянском, древнеболгарском и древнерусском действовали фонематические законы, морфосемантический закон разграничения единствен-

ности, множественности и двойственности в горизонтальном ряде, морфосемантический закон отграничения мужского от среднего рода в именительном-винительном падеже, морфосемантический закон разграничения категории одушевленности — неодушевленности в винительном падеже имен мужского рода. При этом к указанному времени упомянутые законы стояли на различных хронологических этапах действия: категория двойственности начинала отмирать, а категория одушевленности — неодушевленности находилась в начальной стадии своего становления⁴.

Каждая система склонения в праславянском, в древних славянских языках и в современном словенском языке состоит из трех п о д с и с т е м: единственное, множественное и двойственное число.

Фонематические законы, действовавшие в период праславянского языка, вызвали устранение различий между некоторыми флексивными морфемами, что привело к совпадению известных падежных форм в одной и той же подсистеме, как, например, др.-болг. *ношть* дает в родительном, дательном и местном падежах двойственного числа одну форму *ношти* с морфемой *-и*, в которой совпали различные первоначальные морфемы: род: *-eys*, дат. *-(eu)-eu*, местн. *-ēu*.

Для нашего исследования изменений в морфологическом строе славянских систем склонения важно установить, в какой мере эта с о в п а д а е м о с т ь п а д е ж н ы х ф о р м допустима в рамках одной подсистемы, а также и всей системы вообще.

Анализ именного склонения показывает, что некоторые падежи могут совпадать, тогда как другие остаются строго разграниченными. Особенно характерными в этом отношении являются ограниченные по числу падежные формы подсистемы двойственного числа, известные совпадения в которых унаследованы из индоевропейского праязыка. Ниже приводятся окончания двойственного числа различных основ древнеболгарского языка (см. табл. 2).

Таблица 2

Древнеболгарский язык

Основа \ Падежи	-о-	-jo-	-а-	-ja-	-i-	-и-	Конс.
Им. (зв.), вин.	-а/-к	-а/-и	-к	-и	-и	-ѣ	-и/-к
Род., местн.	-оу	-оу/-ю	-оу	-оу/-ю	-ию	-ооу	-оу/-ию (-ью)
Дат., твор.	-ома	-ема	-ама	-ама/-ѣма	-ѣма	-ѣма	-ѣма/-има

Подобное положение наблюдается в древнеиндийском, где, однако, сохраняется и индоевропейский аблатив (см. табл. 3).

Таблица 3

Древнеиндийский язык

Основа \ Падежи	-а-	-ā-	-i-	-и-	-ī-	-ū-	Конс.
Им. (зв.), вин.	-ау/-е	-е	-ī/-ṅī	-ū	-yū	-vū	-аи
Род., местн.	-ауоḥ	-ауоḥ	योḥ/-inoḥ	-воḥ	-yūḥ	-vūḥ	-оḥ
Дат., твор., абл.	-ābhyaāt	-ābhyaāt	-ibhyaāt	-ubhyaāt	-ibhyaāt	-ūbhyaāt	-bhyaāt

⁴ Ср.: A. V a i l l a n t, Manuel du vieux slave, 2-me éd., Paris, 1967, стр. 178.

Следовательно, в праславянском окончании именительного, звательного и винительного падежей, родительного и местного⁵, дательного и творительного совпадают, однако винительный и дательный, как и творительный и местный четко разграничены. Это положение унаследовано из индоевропейского праязыка.

Такое положение хорошо подтверждается примерами из склонения основ на *-i-*, где в силу фонематических изменений совпало довольно значительное число падежных форм, ср. *кость* им.-вин. ед.; *кости* зв., род., дат., местн. ед., им., зв., вин. дв., им., зв., вин. мн.; однако формы винительного и дательного, творительного и местного не совпадают.

Вообще из всей системы склонения в древнеболгарском языке хорошо видно строгое разграничение окончаний винительного и дательного падежей, с одной стороны, творительного и местного — с другой (см. табл. 4, 5).

Таблица 4

Единственное число

Основы	Вин.	Дат.	Твор.	Местн.
-o-	-ъ /-а/ -o	-оу	-омь	-ѣ
-jo-	-ь /(-а)/ -e	-оу (-ю)	-емь	-и
-a	-ж	-ѣ	-омж	-ѣ
-ja	-ж	-и	-емж	-и
-i-	-ь	-и	-ь /-емь/ -иѣ	-и
-и-	-ъ/-а	-оу/-оу	-омь	-оу
Конс.	-ь/-а/-ѣ/-о/-e	-и	-ь/-емь/-и/-ѣж	-и/-e

Таблица 5

Множественное число

Основы	Вин.	Дат.	Твор.	Местн.
-o	-ѣ/-ъ/-а	-омь	-ѣ	-ѣхъ
-jo-	-ѣ/-ь/-ѣ	-емь	-и	-ихъ
-a	-ѣ	-амь	-ами	-ахъ
-ja	-ѣ (-ѣѣ)	амь (-ѣмь)	-ами (-ѣми)	-ахъ (-ѣхъ)
-i-	-ѣ	-е/ь/ьмь	-ьми	-е/-ѣхъ
-и-	-ѣ/-оѣ/-ѣ	-омь	-ьми/-ѣ	-охъ
Конс.	-и/-ѣ/-е/-а	-ь/-емь	-ьми/-ѣ/-и	-ь/е/ихъ

Итак, в рамках данной подсистемы склонения, формы именительного и винительного падежей (ср. *градь*), именительного, звательного и винительного (ср. *жены*), винительного и творительного (ср. *грады*), звательного, родительного, дательного и местного (ср. *кости*, *сыноу*), дательного и местного (ср. *женъ*) и пр. могут совпадать, однако, как это показывают склонения в древнеболгарском языке, винительный и дательный, с одной стороны, творительный и местный, с другой, никогда не совпадают в одной подсистеме склонения. Такое же положение засвидетельствовано и в древ-

⁵ Вероятно, это касается также винительного (= именительного) и родительного (= местного) одушевленных имен, т. е. в случаях так называемого родительного-винительного, на что в древнеболгарском существуют немногочисленные примеры при местоимениях, ср.: A. Vaillant, Manuel..., стр. 180.

нерусском. Упомянутые падежные формы не совпадают и в склонении местоимений.

В рамках всего склонения, т. е. в трех подсистемах данного склонения, совпадение наблюдается только в основах на *-jo-*: местн. ед. = твор. мн. *-и*. Это совпадение произошло в самый поздний период праславянского, когда после VI—VII вв. н. э.⁶ *ju* и *jъ* перешли в *ji* и *jь*. Совпадение упомянутых падежных форм могло произойти потому, что в это время, как видно из древнеболгарского⁷ (и древнерусского), местный падеж без предлога употреблялся уже крайне редко: в сущности, предлог перед местным падежом принял на себя функцию разграничителя этой формы от (беспредложного) творительного падежа.

Впрочем это совпадение, вызванное фонематическим изменением, начинает устраняться уже в древнеболгарском и древнерусском, а в современном русском языке оно полностью ликвидировано, ср. др.-русск. местн. ед. = твор. мн. *кони*, однако русск. местн. (= предл.) ед. *(о) коне*, твор. мн. *конями*.

Разграничение упомянутых падежных форм ни в коем случае нельзя считать случайным. Здесь встает вопрос о причине, вызвавшей такое разграничение. Вот какие результаты дает исследование подсистем различных склонений в древнеболгарском и древнерусском⁸.

В и н и т е л ь н ы й падеж может совпадать со всеми другими падежами (именительным, родительным, творительным, местным), кроме дательного.

Р о д и т е л ь н ы й падеж может совпадать с винительным, дательным и местным, но никогда с (именительным и) творительным.

Д а т е л ь н ы й падеж может совпадать с родительным, местным и творительным, но никогда с винительным (и именительным).

Т в о р и т е л ь н ы й падеж может совпадать с именительным, винительным и дательным, но никогда с (родительным и) местным.

М е с т н ы й падеж может совпадать с винительным, родительным и дательным, но никогда с (именительным и) творительным.

Подобное положение наблюдается в системе склонения современного русского языка, в котором творительный падеж не совпадает ни с одним другим падежом. Это же положение мы находим в словенском и польском языках. В сербскохорватском языке творительный и предложный падежи совпадают во множественном числе, поскольку здесь уже предложный (= местный) падеж не может употребляться без предлога, и сам предлог берет на себя функцию разграничителя упомянутых падежных форм. В современном чешском языке предложный (= местный) единственного числа и творительный множественного зачастую совпадают, так как предложный падеж без предлога не употребляется.

Только в чешском языке в склонении типа *duše* винительный, дательный и предложный (= местный) совпадают (ср. *duši*), а в типе *znamení* совпадают именительный (звательный), винительный, родительный, дательный, предложный (= местный) единственного числа, а также именительный (звательный), винительный, родительный множественного числа. Это почти повсеместное совпадение падежей, по-видимому, представляет собой зачатки аналитического строя, т. е. состояния, когда морфематические законы перестают действовать и выражение взаимного отношения слов в пред-

⁶ О времени, когда произошло это изменение, см.: В. И. Георгиев, Вокальная система в развоју на славянските езици, София, 1964, стр. 80.

⁷ См.: A. Vaillant, Manuel..., стр. 185.

⁸ В последующем изложении звательный падеж не рассматривается, так как по своей функции в предложении он коренным образом отличается от других падежей, а, кроме того, он обычно представлен формой именительного падежа.

ложении переходит из морфологического в синтаксический план. Подобные смещения падежных форм известны из истории болгарского языка при переходе от синтетизма к аналитизму (см. ниже).

Итак, хотя различные падежи могут совпадать, для праславянского, древнеболгарского и древнерусского характерно то, что в пределах одной подсистемы склонения винительный и дательный, с одной стороны, творительный и местный — с другой, не совпадают. Эти факты не случайны: они являются результатом действия морфосинтаксических законов, обусловленных функцией данного падежа и его местом в строе предложения. Нормальное простое предложение состоит из глагольного ядра — сказуемого, около которого группируются три номинальных синтаксических категории: подлежащее, тесно связывающееся со сказуемым, дополнения, обычно следующие за сказуемым и тоже тесно связанные с ним (управление), и обстоятельства, которые менее тесно связаны со сказуемым (примыкание). Одни лишь определения не связаны с глагольным ядром: они представляют собой адноминальную синтаксическую категорию.

Обычный порядок в субъектно-объектном предложении следующий: П — С — Д, реже С — П — Д; другие способы расположения членов встречаются редко. Примеры: *Старик снял шляпу; Он сказал жене; Ведет мужик быка.*

В предложениях типа *Отец построил дом; Мать любит дочь* подлежащее и дополнение имеют нулевое окончание, но смысл ясен: он определяется местом соответствующей синтаксической категории в предложении, т. е. порядком слов. Следовательно, именительный и винительный падежи (в вертикальном ряду) могут совпадать, потому что имена, стоящие в этих падежах, гетерокатегориальны и гетеротопичны в предложении.

Однако винительный и дательный падежи, т. е. прямое и косвенное дополнение, не могут совпадать ввиду их принадлежности к одной синтаксической категории и их одинаковому месту в предложении, т. е. они тавтокатегориальны и гомотопичны: *Он принес ребенка — Он принес ребенку (игрушки); Он послал жену — Он послал (подарок) жене; Он предал отца врагу — Он предал отцу врага.* По этой же причине и в немецком (в котором падежные отношения выражаются, главным образом, членной формой) родительный и дательный падежи могут совпадать, например, *der Frau* род. и дат., однако дательный и винительный всегда разграничены, ср. *dem Held — den Held, der Frau — die Frau, dem Kind — das Kind.*

В творительном и местном падежах обычно стоят обстоятельства; их связь с глаголом менее тесная (примыкание), и их нормальное место в простом предложении — вне конструкции управления: обычно П — С — Д — О, О — П — С — Д или П — О — С — Д. Обстоятельства принадлежат к одной синтаксической категории и имеют одинаковое место в предложении. Следовательно, творительный и (беспредложный) местный падежи (т. е. обстоятельства) не могут совпадать в силу своей принадлежности к одной синтаксической категории: в случае их совпадения смысл предложения был бы неясен, например: *Дома⁹ он убил жену топором — Он гвастался домою — Он гвастался дома — Да видими бждхть чловьки («людьми») — Приобрѣте власть Цѣсари градѣ («в Царьграде») — Приобрѣте власть Цѣсаремь градомь («через Царьград»).*

Теперь становится возможным объяснить, почему дательный падеж не совпадает с именительным: это обуславливается тем обстоятельством, что именительный падеж часто идентичен винительному, а последний

⁹ Дома первоначальный местный падеж, сохранившийся в русском языке как адвербиализованная падежная форма.

не может совпадать с дательным. По той же причине и творительный падеж не совпадает с родительным, поскольку последний нередко имеет одинаковую форму с местным падежом, а творительный падеж не может совпадать с местным падежом. Таким же образом местный падеж не совпадает с именительным: последний хотя и редко, может быть идентичен творительному падежу, а местный и творительный падежи не могут совпадать.

Когда данный язык переходит от синтетизма к аналитизму (как это имеет место в болгарском языке), то бывшие падежные категории разграничиваются при помощи порядка слов или синтаксически-словарных средств (служебных слов, предлогов). Например, в болгарском языке разграничение прямого и косвенного дополнения осуществляется отсутствием или наличием служебной частицы *на*, а обстоятельства — при помощи различных предлогов, как например, *с(ъс)*, *в(ъв)* и т. д.

Все эти положения обуславливают следующие морфематические или морфосинтаксические законы в праславянском, древнеболгарском и древнерусском языках:

1. Если при развитии языка в силу фонематических законов какие-либо морфемы, означающие винительный и дательный падежи, в определенной системе склонения должны совпасть, то одна из совпадающих морфем устраняется и заменяется другой подходящей морфемой.

2. Если при развитии языка в силу фонематических законов морфемы, означающие творительный и местный падежи, в данной системе склонения должны совпасть, то одна из совпадающих морфем устраняется и заменяется другой подходящей морфемой.

Итак, флективные (грамматические) морфемы подчиняются двум видам закономерностей: фонематическим и морфематическим. Когда в развитии языка в силу каких-либо обстоятельств эти два вида закономерностей скрещиваются, то приоритетом пользуется морфематический закон. Такие морфематические законы, которые обуславливаются синтаксисом предложения, могут быть названы морфосинтаксическими законами. Разумеется, эти закономерности касаются языков с хорошо развитой морфологической системой. Они не относятся, например, к китайскому языку, в котором отсутствует морфология и который пользуется иными языковыми средствами — словарными или синтаксическими — для выражения связи слов в предложении или отдельных грамматических значений. С другой стороны, известные отклонения от этих закономерностей появляются либо в силу распада и отмирания данной системы, т. е. из-за прекращения действия некоторых морфематических законов, либо в связи со скрещиванием действий двух или более морфематических законов. Примеры: двойственное число уже в эпоху (позднего) праславянского представляет собой категорию отмирающую. Употребление таких форм еще тогда обнаруживает колебания: некоторые морфемы двойственного числа начинают вытесняться формами множественного числа. Поэтому здесь уже могут появиться совпадения, как например, др.-болг. *пѣти* вин. мн. и дв., *ношти* им., вин. мн. и дв. Эти примеры показывают, что система склонения двойственного числа начала отмирать и заменяться системой множественного числа. Однако в сущности и такие внешне совпадающие формы, по всей вероятности, разграничивались, по крайней мере в позднем праславянском, при помощи ударения, как это явствует из литовского: *nāktys* им. мн., но *naktī* им., вин. дв. Следовательно, и в отношении древнеболгарского (по крайней мере первоначально) можно предположить формы **nōšti* им., вин. мн., но **noštī* им., вин. дв.

В самом конце праславянской эпохи начинается создаваться новая категория соотношения одушевленность — неодушевленность (личное —

безличное) в винительном падеже мужского рода основ на *-o-* (и лишь частично при других основах), когда формы родительного падежа начинают употребляться для обозначения и винительного падежа, т. е. появляется так называемый родительный-винительный. В древнеболгарском и древнерусском это употребление все еще колеблющееся: в древнеболгарском, например, встречаются в винительном падеже как *сына* (род., чаще), так и *сынъ* (вин., реже)¹⁰. Это показывает, что система этих соотношений все еще находится в процессе становления. В современном русском языке, однако, это является уже строгой закономерностью, охватившей даже формы женского рода множественного числа. В процессе своего возникновения эта создающаяся закономерность приводит к смешению падежных морфем винительного падежа единственного числа и двойственного числа, ср. др.-болг. *раба* (род.-) вин. ед. и вин. дв. Здесь происходит скрещивание двух морфематических законов: закона о разграничении падежных морфем в горизонтальном ряде (см. выше) и закона о разграничении категорий одушевленности и неодушевленности. Такое смешение допустимо в древнеболгарском, в котором двойственное число — категория отмирающая: она начала уже заменяться множественным числом, т. е. морфологический закон перестал уже действовать в отношении категории двойственного числа, и новый закон начинает утверждаться. Однако совпадения морфем (род.-) вин. мн. и вин. ед. (ср. *столъ* вин. ед. и род. мн.) не происходит (не допускается), поскольку форма *рабъ* род.-вин. мн. противопоставляется форме *раба* род.-вин. ед.

На более поздних фазах развития некоторых славянских языков, в которых системы склонения пришли в упадок и начали частично или полностью исчезать, совпадения морфем в разных падежных формах становятся возможными в силу того, что рассмотренные выше морфематические законы уже прекратили свое действие. В таких случаях система склонения, являющаяся категорией морфологической, частично или полностью перестраивается в синтаксическую категорию, в которой действуют иные закономерности. Так, выражение связи слов в предложении переходит из морфологического плана в план синтаксический.

¹⁰ Ср.: A. Vaillant, Manuel, стр. 90.

С. Б. БЕРНШТЕЙН

ВВЕДЕНИЕ В СЛАВЯНСКУЮ МОРФОНОЛОГИЮ¹

Памяти П. С. Кузнецова

Фонетические изменения и чередования. В славянских языках очень часто можно наблюдать мену гласных и согласных в одних и тех же морфемах (чаще в корневых). Однако эта мена обычно не разрушает тождества морфем: в русских словах *вода* и *водный* представлена одна и та же корневая морфема *vod-*, несмотря на то, что в первом случае произносится *vad-* [vadá], во втором — *vod-* [vódnəj]. Каждая пара имеет тождественную корневую морфему и в случаях типа *нести* — *носить*, *знать* — *гонять*, *лезть* — *лазить* или типа *река* — *речка*, *нога* — *ножка*, *муха* — *мушка*. Однако легко заметить, что мена гласных и согласных в этих примерах имеет различный характер. В первом случае [vadá — vódnəj] представлена мена русского гласного [o] в безударной позиции. Здесь корневая морфема *vod-* представляет вариант на фонетическом уровне. Это фонетическое явление известно в науке под названием *аканья*. В северных околицях русских говорах в этом случае мены гласных не будет. Аналогичную картину найдем, например, в польском, где морфема *vod-* будет представлять гласный [o] в ударной и безударной позициях: *woda* [vóda], *wodnica* [vod-níca], *wodny* [vódnɨ], *wodospad* [vodóspat]. Напротив, во многих болгарских говорах в данной корневой морфеме в безударной позиции обнаруживаем гласный [u]: *vuđa*, *vuđenica*, но *vóden*. Все эти изменения носят фонетический характер.

В примерах типа *знать* — *гонять* (ср. польск. *znać* — *gonić*, чеш. *hnáti* — *honiti*, серб.-хорв. *znáti* — *gdniti*), *нести* — *носить* (ср. польск. *nieść* — *nosić*, чеш. *něsti* — *nositi*, серб.-хорв. *nešti* — *nositi*), *лезть* — *лазить* (ср. польск. *leźć* — *łazić*, чеш. *lézti* — *ležati*, серб.-хорв. *lešti* — *lažiti*) варианты корневых морфем (или алломорфы) находятся в иных взаимоотношениях. Здесь эти варианты определяются уже не фонетическими, а грамматическими (или лексико-грамматическими) условиями. Так, в русском языке глаголы движения *нести*, *лезть*, *идти*, *плыть*, *ползти* и под. принадлежат к глаголам линейного движения, а глаголы *носить*, *лазить*, *гобить*, *плавать*, *ползать* и под. к моторно-кратным глаголам, которые выражают действие без отношения к данному моменту, действие, совершаемое не в одном направлении и в разное время. Аналогично дифференцируются данные пары глаголов движения, например,

¹ В 1961 г. был опубликован первый выпуск моего «Очерка сравнительной грамматики славянских языков», содержащий общее введение и фонетику. Настоящая статья отражает мою дальнейшую работу над праславянскими морфонологическими чередованиями и именными основами. Она содержит ряд новых положений и фактов, которые излагаются наряду с уже утвердившимися и известными. Исключение последних привело бы к нарушению целостности и системности изложения. Все примеры из славянских литературных языков даются в современной орфографии. Для всех славянских языков используется латинская транскрипция. Транскрипция примеров из литературных языков дается в квадратных скобках.

в словацком: *niest'* — *nosit'*, *viezt'* — *vozt'*, *liezt'* — *lozit'*, хотя возможны различия в отдельных случаях. Так, отдельные глаголы не имеют бесприставочной моторно-кратной пары. Употребление указанных пар глаголов движения не во всех славянских языках тождественно, но нигде оно не вызывается фонетическими причинами. В сербохорватском варианте *gnāti* — *gdniti* грамматически не различаются. Обычно употребляется *gdniti*, а вариант *gnāti* является устаревшим и употребляется только в инфинитиве. Глагол *lezti* известен в этом языке только с приставками (ср. *nālesti* — *nālezem* «миновать»). В чешском языке глагол *lězati* встречается редко и носит диалектный характер.

Мена согласных в случаях типа *река — речка, нога — ножка, муха — мушка* обусловлена словообразованием: перед уменьшительным суффиксом *-ка* заднеязычные согласные изменяются в переднеязычные (шипящие). Это явление последовательно, но с разной степенью интенсивности представлено во всех славянских языках (ср., например, польск. *rzeka* — *rzeczka*, *noga* — *nóżka*, *tucha* — *muszka*; словацк. *rieka* — *riečka*, *noha* — *nôžka*, *tucha* — *muška*; в.-луж. *rěka* — *rěčka*, *noha* — *nôžka*, *tucha* — *tuška* и др.).

В ряде случаев фонетическое варьирование морфем может иметь грамматические последствия, а на грамматические варианты (на алломорфы) могут накладываться фонетические варианты. Так, в русском языке позиционное оглушение конечных звонких шумных согласных (явление фонетическое) имеет определенные грамматические последствия: в именительном падеже единственного числа все слова мужского рода на согласный могут оканчиваться только на шумные глухие согласные и на сонанты. Указанные выше русские глаголы *нести* — *носить* на грамматическом уровне представляют мену гласных фонем [e] и [o], а на фонетическом — мену гласных звуков [i] и [a]: [n'is't'i] — [nas't'it].

Итак, необходимо различать фонетические изменения и чередования. Первые определяются фонетической позицией, вторые морфологическими, словообразовательными и лексическими условиями.

Во многих лингвистических трудах, однако, термин «чередование» употребляют как синоним слов «мена, изменение, преобразование». Даже Н. Ван-Вейк, один из основоположников славянской фонологии, не связывал проблемы чередования с позиционными или непозиционными изменениями в языке, полагая, что «если в группе этимологически родственных форм гласные подвергаются изменению, то это изменение называют чередованием»². Как можно было видеть, не всякие изменения этимологически родственных форм следует относить к чередованиям.

Некоторые исследователи, желая сохранить термин «чередование» для всех случаев преобразования морфем, вносят уточнение: следует различать живые чередования и исторические чередования. Под живыми чередованиями они понимают позиционно обусловленные изменения: например, в русском [druk — drúga], [sv'ét — sv'ét'e], т. е. фонетические изменения, а под историческими чередованиями — позиционно не обусловленные: например, в русском *друг* — *другья* — *дружески*. Данное разграничение является тем более неудачным, что и среди подлинных чередований приходится различать живые чередования и только исторические (традиционные) чередования.

Конечно, не всегда просто разграничить позиционные фонетические изменения и чередования. Это объясняется прежде всего тем, что последние возникают из первых. Процесс перехода позиционных изменений в чередования очень сложный. На его пути встречается много препятствий,

² Н. Ван-Вейк, История старославянского языка, М., 1957, стр. 226.

которые преодолеваются по-разному в каждом конкретном случае. Часто трудно ответить на прямо поставленный вопрос — что это за явление в языке, фонетическое или чередование? В ряде случаев приходится отмечать две стороны явления. Объясняется это сложностью структуры славянских языков, наличием в ней многих ярусов. Одним и тем же явлением языка можно дать разные толкования. Так, в русских примерах [dup — dubý], [vos — vozý], [zup — zúbja] можно отметить ф о н е т и ч е с к о е явление оглушения конечных звонких шумных согласных. Этому же явлению можно дать толкование в терминах фонологии: в конце слова различия между звонкими и глухими шумными согласными фонемами нейтрализуются. Наконец, это явление можно переформулировать в терминах грамматики (см. выше). Вот почему многие фонетические явления с определенными ограничениями могут быть переформулированы как чередования. Опыт, однако, говорит, что это следует делать при условии ясного и четкого разграничения языковых уровней.

В польском *dąb — dęby*, *ząb — zęby* представлено чередование [o : e], которое в данном случае служит дополнительным средством для разграничения именительного падежа единственного числа и именительного падежа множественного числа. Однако это различие самым тесным образом связано с фонетическими условиями. Указанное чередование находим в морфемах, которые в единственном числе оканчиваются на глухой, а во множественном числе на звонкий: [domp — demby], [zomp — zemby]. Чередование гласных в корневой морфеме будет отсутствовать, если конечному глухому в единственном числе будет корреспондировать глухой согласный и во множественном числе: [semp — sempy]; орфогр. *sep — sepny* «ястреб». В положении перед [š : ž] чередование будет осложнено назальной артикуляцией: [voš — veže], орфогр. *wąz — węże* «змея». «Система чередований любого языка, — пишет П. С. Кузнецов, — представляет ряд последовательных напластований, хронологические отношения между разными чередованиями могут быть очень сложными, весьма различна может быть степень морфологизации отдельных чередований, т. е. та роль, какую эти чередования играют в морфологическом строе языка»³.

Чередования (прежде всего чередования гласных) изучаются лингвистами уже давно. Еще на заре сравнительного языкознания детально исследовались условия и характер чередования гласных в древних индоевропейских языках. Особое внимание чередованию гласных уделяли германисты, так как эти чередования играют весьма важную роль в морфологии германских языков.

Еще не так давно все чередования гласных в индоевропейских языках (Ablaut) рассматривались только как фонетические явления. Такой подход к чередованиям был особенно характерным для младограмматиков (К. Бругман, Г. Гюбшман, Г. Хирт и др.). Нельзя сказать, что этот взгляд на чередования в современном языкознании преодолен полностью, что он теперь не имеет своих защитников. Их особенно много среди славистов. Во многих еще недавно опубликованных сводных трудах по славянскому языкознанию, в ряде исторических очерков отдельных славянских языков, в диалектологических исследованиях, в описаниях литературных языков чередования рассматриваются обычно в аспекте фонетики. Резко, но совершенно справедливо такой подход к данной проблеме осуждает А. А. Реформатский⁴.

³ П. С. Кузнецов, О возникновении и развитии звуковых чередований в русском языке, ИАН ОЛЯ, 1952, 1, стр. 64.

⁴ А. А. Реформатский, О соотношении фонетики и грамматики (морфологии), сб. «Вопросы грамматического строя», М., 1955, стр. 100.

В современном сравнительном языкознании наблюдается стремление соединить традиционный взгляд на чередования (в частности, на аблаут) с новым подходом к этой проблеме. Эту тенденцию легко обнаружить, например, в «Сравнительной грамматике германских языков», которая во многих отношениях является трудом ценным и новаторским. В обширной главе «Аблаут в германских языках» при описании структуры аблаута и его грамматической функции автор главы М. М. Гухман постоянно вторгается в область фонетики, в связи с чем вынуждена оставлять германскую почву и заниматься решением вопросов, которые подлежат компетенции только специалистов по сравнительной грамматике индоевропейских языков. М. М. Гухман отдает себе отчет в том, что «в синхронно-функциональном плане германский аблаут выходит за пределы фонологической системы и является средством реализации морфологических противопоставлений»⁵. Однако генетически германский аблаут восходит к позиционным фонетическим явлениям, на основании чего автор утверждает, что «те х и к а его реализации, его внутренняя структура раскрываются и должны исследоваться на фонологическом уровне»⁶. С этим положением согласиться невозможно. Фонетические законы, обусловившие в конечном счете аблаут в любом индоевропейском языке, действовали еще в период существования индоевропейского праязыка (возможно, даже ранних эпох его истории). Нет сомнения, что аблаут сформировался уже на индоевропейской почве. Это, конечно, не исключает того, что в отдельных грамматических категориях чередование гласных могло сформироваться на фонетической основе не в праиндоевропейском, а позже. Так, парадигматическое чередование [e : ē] в праславянском сигматическом аористе *gěъъ — gēe* возникло в результате праславянского фонетического процесса. Тем не менее, ни в одном из индоевропейских языков (ни в германском, ни в славянском и т. д.) аблаут уже не был подчинен фонетическим закономерностям. В германском аблаут всегда был лишь «средством реализации морфологических противопоставлений». Это было недавно хорошо показано В. М. Жирмунским⁷. Полезно вспомнить Ф. де Соссюра, который еще в начале нашего столетия учил: «Многие лингвисты до сих пор делают ошибку, полагая, что чередование есть явление фонетическое, основываясь на том, что материал для него служат звуки, и что в его генезисе участвуют их изменения. В действительности же, брать ли чередование в его исходной точке или в его окончательном виде, оно всегда является нам как нечто, относящееся к грамматике и синхронии»⁸. Здесь нельзя согласиться только с заключительной частью утверждения Соссюра. В своей исходной точке большинство чередований восходит к позиционным фонетическим изменениям.

Велики заслуги в разработке теории чередований И. А. Бодуэна де Куртене и Н. В. Крушевского. Впервые в истории языкознания они разграничили изучение звуковой стороны языка и чередований. Труды Бодуэна де Куртене (главным образом его «*Versuch einer Theorie phonetischer Alternation*», 1895) заложили основы того раздела языкознания, который позже был удачно назван Н. С. Трубецким морфонологией. Конечно, роль Трубецкого не ограничилась лишь созданием термина: «ни Бодуэн де Куртене, ни Крушевский не обобщили результатов своих наблюдений

⁵ «Сравнительная грамматика германских языков», II — Фонология, М., 1962, стр. 244.

⁶ Там же.

⁷ V. Žirmunski, Der grammatische Ablaut im Germanischen, сб. «*Symbolae linguisticae in honorem Georgii Kuryłowicz*», Wrocław — Warszawa — Kraków, 1965.

⁸ Ф. де Соссюр, Курс общей лингвистики, М., 1933, стр. 148.

в данной области в рамках единой теории, и подлинным создателем новой дисциплины — морфонологии — явился Н. С. Трубецкой»⁹. Это, конечно, не значит, что морфонологическая теория Трубецкого является в настоящее время общепризнанной. Высказывалось много справедливых критических замечаний как по основным принципиальным положениям, так и по ряду частных вопросов. Среди своих предшественников Трубецкой имел не только Бодуэна де Куртена и Крушевского. Немало интересных и важных наблюдений над природой чередований содержится в работах А. Мейе, В. Матезиуса, С. Шобера, Е. Д. Поливанова. После Трубецкого много сделали для разработки теории морфонологии В. Скаличка, П. С. Кузнецов, Э. Станкевич и др.

Формирование и распад чередований. Чередование — явление историческое, оно «есть результат омертвления звуковых законов давней поры»¹⁰. Фонетическое явление одного периода в другую эпоху может стать уже чередованием.

В определенных фонетических условиях устанавливается строгая мена гласных и согласных. В дальнейшем в результате фонетической эволюции условия данной мены могут преобразоваться коренным образом. В связи с этим вариант фонемы может стать самостоятельной фонемой. Этот процесс носит название фонологизации.

В древнерусском языке до определенного периода его истории гласный [o] после мягкого согласного являлся вариантом фонемы [e]. В дальнейшем в результате изменения [ě] в [e], отвердения некоторых мягких согласных, ряда аналогичских процессов, заимствований из родственных и неродственных языков произошел процесс фонологизации [ʰo]. В связи с этим отношения между [e] и [o] в одних и тех же морфемах после мягких и отвердевших согласных стали характеризовать варианты морфем (алломорфы). Таким образом, в результате фонологизации наступила морфологизация. Таков путь перехода звуковых изменений в чередования.

В праславянском языке согласный [g] перед [ě] изменился по условиям первой палатализации заднебных в [ž], а затем в [ʒ]: *gēr- > žēr-*. В дальнейшем в этой позиции [ě] изменился в [a]: *žēr- > žar-*. В результате [ž] оказался перед гласным заднего ряда [a], т. е. теперь [ž] уже мог употребляться в тех же самых позициях, что и [g]: *žar-, но ugarь*. Таким путем возникла новая фонема [ʒ]. Конечно, процесс превращения [ž] в самостоятельную фонему был длительным. На стыке морфем [ž] в течение продолжительного времени представлял собой двухфонемное сочетание, в положении перед гласными переднего ряда являлся вариантом фонемы [g] (об этом подробнее ниже).

Чередование может возникнуть на фонетической основе, и не проходя подобного сложного пути преобразования. В современном польском языке находим чередование твердого и мягкого конечного согласного в корневых морфемах в творительном и местном падежах единственного числа: *dworem — dworze* «двор», *kramem — kramie* «лавка», *grobem — grobie* «могила», *stawem — stawie* «пруд», *chłopem — chłopie* «мужик», *trafem — trafie* «случай». Здесь представлено чередование твердых и мягких фонем в положении перед гласным [e]. В древнепольском указанные выше различия

⁹ Э. А. Макаев, Е. С. Кубрякова, О предмете и задачах морфонологии и ее месте среди других лингвистических дисциплин, в кн. «Единицы разных уровней грамматического строя языка и их взаимодействия», М., 1967, стр. 4—5. См. также: E. Stanekiewicz, Trubetzkoy and Slavic morphophonemics, «Wiener slavistisches Jahrbuch», 11, 1964.

¹⁰ Г. Винокур, Чередование звуков и смежные явления в современном русском языке, «Доклады и сообщения филологического факультета [МГУ им. Ломоносова]», 2, 1947, стр. 17.

были позиционными и не являлись поэтому чередованиями. В творительном падеже единственного числа согласный корня находился перед [ʎ]: *dvortьbь*, в местном падеже единственного числа перед [ǣ]: *dvortě*.

Не всегда каждое чередование в языке непременно возникает на фонетической основе. В ряде случаев оно появляется по аналогии с другими чередованиями¹¹. Именно такого происхождения многие чередования гласных в глагольных основах. Аналогического происхождения русские чередования [r' : ŋ'] : *графлю* — *графлишь*. Даже поздние заимствования подчиняются существующим в языке рядам чередований и закономерно преобразовывают свою структуру (ср. русск. *флаг* — *флажок*, укр. *універмаг* — в *універмазі*, словацк. *fyzik* — *fyzici* и под.).

Чередование предполагает синхроническое тождество морфем. Поэтому для каждого периода язык будет представлять различные чередования, так как синхроническое тождество морфем в эволюционном развитии языка постоянно нарушается. В русских глаголах *чистить* и *ценить*, *ценить* и *каяться* теперь, конечно, нет никакого чередования [č : c] или [c : k], так как в результате длительного исторического развития было нарушено тождество данных пар морфем. Трудно теперь в глаголе *шалить* и в имени *нажал* обнаружить общую корневую морфему *xěl-, xǫl-* или в названиях насекомых *комар* и *шмель* выявить одну морфему с чередующимися гласными: *кот-, кьт-*. Это способен сделать лишь этимолог, который с помощью сравнительно-исторического метода устанавливает диахроническое тождество данных морфем. Таким образом, возникнув на основе позиционных (фонетических) процессов, сами чередования, пройдя сложный путь развития, в дальнейшем могут распастись в связи с разрушением синхронического тождества морфем.

В суффиксальных элементах слова чередование может утратиться в связи с изменениями границ между суффиксами, в связи с созданием новых суффиксов (подробнее см. ниже).

Чередования могут исчезнуть в связи с утратой ряда вариантов морфем. Часто сходные случаи могут представлять существенные различия. Так, в русском находим чередование [g : ž] в словах *нога* — *ножка*. В *ложка* теперь чередований нет, так как отсутствует в языке позиция, которая дала бы возможность в морфеме *lož* восстановить более древний вид. Иными словами, для данной морфемы в языке отсутствуют условия дополнительной дистрибуции. Таким образом, чередования в языке могут проявляться только при условии дополнительной дистрибуции. Поэтому полное описание чередований в том или ином языке предполагает детальный учет всех условий дополнительной дистрибуции морфем.

Дополнительная дистрибуция может проявляться в различных морфологических и словообразовательных условиях. Глагол *мочь* в русском представляет чередование в парадигме настоящего времени (*могу* — *можешь* — *может* — *можем* — *можете* — *могут*), тогда как глагол *плакать* обнаруживает чередование только при сопоставлении настоящего времени с прошедшим или инфинитивом (*плакал*, *плакать* — *плачу*).

Не всегда просто установить древнее чередование (т. е. чередования на основе диахронического тождества), так как для этого мы должны быть уверены, что имеем дело с тождественными морфемами. Здесь мы вступаем в область этимологии. Этимология, однако, не всегда дает надежные ответы, часто предлагая на выбор несколько решений. От выбора этимологии зависит установление тех или иных чередований. Возьмем два примера.

В русском языке слово *голова* является общеславянским: болг. *главня*, серб.-хорв. *главња*, слов. *glávňja*, чеш., словацк. *hlaveň*, польск. *głównia*,

¹¹ См. об этом: П. С. Кузнецов, указ соч., стр. 63—64.

н.-луж. *głownja* и др. Все эти примеры дают возможность уверенно реконструировать праславянское *golvъnja* (*golvъnjь*). Теперь, чтобы установить родственные отношения данного слова, нужно знать его этимологию. Без этого все сопоставления будут лишены твердой почвы.

Многие исследователи праслав. *golvъnja* связывают с *golva* (А. Брюкнер, Э. Бернекер, М. Фасмер). Согласно этому взгляду, *golvъnja* первоначально имело значение «голова пылающего поленца». При данном решении *golvъnja* вместе с *golva* должны сопоставляться с одним кругом слов (например, с *желвь* «черепашка», *желвак* «шипика»). Но возможен и другой путь, который дает возможность сопоставить *golvъnja* с широким кругом слов, объединенных семантически значительно теснее. Этот путь был открыт Г. А. Ильинским. Он обратил внимание на русское *галка* в значении «горящая головня, носимая ветром во время пожара». Для сравнения он привлек др.-польск. *żal* «горение», кашуб. *żaleć* «тлеть» и, наконец, польск. *zgliścić* «пепелище». Эти примеры дают возможность восстановить чередование *gol- : gōl- : gēl- : gьl-*. Данные алломорфы восходят к одной морфеме со значением «гореть, пылать, тлеть»¹².

В русском языке известно слово *губа* в значении «небольшой морской залив на севере» (ср. *Кольская губа*, *Онежская губа*). Многие этимологи видят здесь тот же корень, что и в словах *гьbnoti* (ср. русск. *гнуть*, чеш. *hnouti*, в.-луж. *hnuć*), *гьbežь* (ср. ст.-слав. *гьбежь* «изгиб»), *gybati*, *sgybitь* и др. Если принять эту этимологию, то в слове *губа* следует видеть оглаговку *oу* (*goубa*) и связывать данное слово с указанными выше. Однако возможна и иная этимология, которая представляется более надежной и которая связывает это слово со словом *grba* (ср. русск. *губа*, польск. *geba*, чеш. *huba*). Фасмер с полным основанием отдает предпочтение именно этой этимологии (ср. этимологию русск. *устье*; аналогичным образом в турецком *boğaz* имеет значение «горло, глотка, устье реки, узкий горный проход, пролив, канал»). Если мы отдадим предпочтение этой этимологии, то указанные выше сопоставления будут ошибочными, так как в таком случае *губа* будет восходить к праслав. *grba*.

Типы и виды чередований. В языке следует различать типы и виды чередований. Чередоваться могут фонемы, чередоваться могут варианты морфем (алломорфы), наконец, определяющим фактором в чередовании могут быть фонетические признаки (ударение, интонация и под.), которые как бы накладываются на морфемы в определенных грамматических позициях.

Первый из указанных типов чередования (т. е. чередование фонем в определенной морфеме) называется морфонологическим чередованием. Именно к таким чередованиям относятся все случаи аблаута, чередования согласных, вызванные палатализирующими процессами праславянского периода, чередования гласных в связи с судьбой сверхкратных, веларицидией гласных переднего ряда и мн. др. Второй тип чередования (т. е. чередования алломорф) относится к словообразовательным чередованиям и является, таким образом, разделом словообразования, а не морфонологии. В данном случае выступает уже не чередование, скажем, фонем [e : o] или [k : č], а чередование алломорф *ber- : bor-* или *ruk- : ruč-*. Конечно, словообразовательные чередования опираются на морфонологические чередования, но они представляют в системе языка более высокий ярус. Практически во многих словообразовательных чередованиях мы сталкиваемся с морфонологическим чередованием, так как первые подчиняются морфонологическим рядам чередований. В русски х глаголах *мокнуть*,

¹² Г. Ильинский, *Славянские этимологии*, РФВ, LXXIII, 2, Варшава, 1915, стр. 291—292.

макать, мочить, намачивать на уровне морфонологии представлены чередования гласных [o : a], согласных [k : č], на уровне словообразования — чередования алломорф *tok-* : *tak-* : *toč-* : *tač-*. Единая морфема в различных условиях представляет четыре алломорфы, которые чередуются между собою.

Существует еще третий тип чередований, который можно назвать суперсегментным¹³. В данном случае речь идет о чередовании ударных и безударных гласных, о чередовании морфем с различной интонацией.

Границы между различными типами чередований изменчивы и непостоянны. Один тип чередования в иных системных отношениях может перейти уже в другой тип. Так, суперсегментные чередования морфем с разной интонацией в прошлом (в ранние эпохи праславянского языка) относились к морфонологическим чередованиям, так как в то время восходящий или нисходящий тон монофтонга или дифтонгического сочетания являлся не суперсегментным элементом, а важнейшим конститутивным признаком гласного или гласного сонанта. До морфологизации рядов чередований словообразовательных чередований в языке не существовало; они появились значительно позже.

Не всегда легко разграничить морфонологические и словообразовательные чередования. Однако это разграничение необходимо, так как здесь выступают различные типы чередований, которые имеют различную природу и формировались в разное время. П. С. Кузнецов неоднократно утверждал, что чередование [e : o] в случаях типа *tekъ* — *potokъ* было продуктивным не только в праславянском языке, но и в ранние эпохи самостоятельных славянских языков. Однако доказывал это он примерами словообразовательных чередований, извлеченными из древних русских памятников и из диалектов¹⁴.

Еще И. А. Бодуэн де Куртене сводил все живые чередования в языке только к чередованиям морфем. Хорошо известно его положение, что «...альтернирующими единицами могут считаться не фонемы, а целые морфемы, так как только морфемы являются семасиологически неделимыми языковыми единицами. Итак, с точки зрения свойственной языку психической жизни альтернируют между собой целые морфемы и их соединения: польск. *mog-* : *mōż-*, *mrus* : *mroz-*, *plac-i* : *plac-...*»¹⁵. Это положение тесно связано с общей психологической концепцией автора, которая давно уже преодолена в современном языкознании. Однако в данном пункте влияние концепции Бодуэна де Куртене можно обнаружить в работах многих современных лингвистов. Это проявляется в том, что все морфонологические чередования рассматриваются только в словообразовании на уровне алломорф, а не фонем¹⁶. Если бы был прав Бодуэн де Куртене, то совершенно необоснованным было бы утверждение Н. С. Трубецкого, что «морфонология как связующее звено между морфологией и фонологией должна занять принадлежащее ей по праву достойное место в грамматике»¹⁷.

¹³ Подробнее об этом см.: С. Б. Бернштейн, О некоторых вопросах теории чередований, «Советское славяноведение», 1965, 5, стр. 52.

¹⁴ Там же, стр. 50—51.

¹⁵ И. А. Бодуэн де Куртене, Избранные труды по общему языкознанию, I, М., 1963, стр. 273.

¹⁶ См., например: В. Letz, Kmeňoslovné úvahy, v Turčianskom Svätom Martine, 1943; Y. Millet, Les postverbaux en tchèque, Paris, 1958, и др.

¹⁷ Н. С. Трубецкой, Некоторые соображения относительно морфонологии, в кн. «Пражский лингвистический кружок», М., 1967, стр. 116. Это положение Н. С. Трубецкой стремится детально раскрыть в монографии «Das morphologische System der russischen Sprache» (опубликована в серии TCLP, 5₂, 1934).

Не менее сложные и трудные вопросы стоят перед исследователями при определении природы и состава суперсегментных чередований. Типичным примером суперсегментного чередования является динамическое ударение. Однако при расчленении слова на морфемы этот фонетический признак элиминируется. Нет ударных и безударных морфем, есть ударные и безударные слоги в слове. Это же относится и к чередованию морфем с разной интонацией (например, серб.-хорв. именительный падеж единственного числа *dask-a*, но винительный падеж единственного числа *dask-u*, родительный падеж множественного числа *dasak-ā* и под.). Корневая морфема *dask-* (*dasak-*) вне слова интонации не имеет. Это относится даже к таким случаям, как серб.-хорв. *мир*, *добр*, *еук* и под., которые в именительном падеже единственного числа имеют долгую нисходящую интонацию. Морфемы *mir-*, *dvor-*, *vik-* интонационных признаков иметь не могут¹⁸.

Итак, типы чередований не однородны. Каждый из них может иметь несколько видов. Так, среди морфонологических чередований следует различать грамматические и традиционные чередования, продуктивные и непродуктивные, парадигматические и деривационные. В словообразовательных чередованиях важно разграничивать чередования сильных и слабых алломорф; в собственно суперсегментных чередованиях — чередования ударных и безударных гласных, интонационные чередования.

Какие из типов чередований входят в морфонологию? По этому вопросу среди специалистов существуют серьезные разногласия. Полагаю, что в морфонологии нужно рассматривать только так называемые морфонологические чередования. Чередования алломорф — предмет словообразования. Суперсегментные чередования целесообразно анализировать в морфологии.

Виды морфонологических чередований. Существуют два основных вида морфонологических чередований: грамматические чередования и традиционные чередования. Грамматические чередования — активно действующий элемент языковой системы, они выполняют в языке различные грамматические функции. Они всегда действуют на основе синхронического тождества морфем. Для традиционных чередований разграничение синхронического и диахронического тождества морфем не актуально (ср., с одной стороны, чередования типа русск. *беру* — *сборы*, *несу* — *заносы*, с другой, — *вечер* — *вчера*, *земля* — *змея* и под.).

Традиционные чередования — определенный этап в развитии грамматических чередований (например, аблаут). В прошлом все они выполняли грамматические функции. В результате языковой эволюции традиционные чередования вновь могут быть использованы грамматикой. В этом отношении очень показательны те старые чередования гласных, которые уже в поздний период истории праславянского языка стали вновь играть существенную роль в системе глагольного видового противопоставления (ср. русск. *положить* — *полагать*, *умереть* — *умирать*, серб.-хорв. *skāčiti* — *skācati*, *gdnuti* — *gānati*, чеш. *krājeti* — *krojiti*, *māčeti* — *močiti* и под.).

Следует различать продуктивные и непродуктивные морфонологические чередования. Это различие не совпадает с указанным выше, так как грамматические чередования могут быть продуктивными и непродуктивными. Конечно, традиционные чередования бывают только непродуктивными.

Вопрос о продуктивности и непродуктивности чередований нельзя решать статистическим методом. Чередования, отраженные во многих

¹⁸ Совсем с других позиций проблема просодических чередований рассматривается в статье: E. Stankiewicz, *Slavic morphophonemics in its typological and diachronic aspects*, «Current trends in linguistics», III — *Theoretical foundations*, The Hague — Paris, 1966, стр. 505—509.

морфемах, могут оказаться непродуктивными. Продуктивными являются только те чередования, которые используются для образования актуальных грамматических категорий, которые представлены в продуктивных классах системы языка. С. Шобер считал чередования [o : a] в польских глаголах *chodzić — chadzać, prosić — upraszać, uspokoić — uspokajać* продуктивными¹⁹. Чередования в данном случае отражают важную грамматическую особенность современного польского языка (я не только польского), которая активно действует и подчиняет себе новообразования. В украинском языке аналогичное чередование представляется мне теперь уже непродуктивным.

Одни и те же чередования фоном в различных грамматических условиях могут быть продуктивными и непродуктивными. Так, чередование [ā : ā] в чешском в склонении является непродуктивным (ср. им. ед. *kráva*, тв. ед. *kravou*), в словообразовании — продуктивным (ср. *dar — dárek, rak — rátek, vrata — vrátka*)²⁰.

Морфонологические чередования обнаруживаются как в парадигме одного слова (ср. серб.-хорв. им. ед. *májka*, ндга, род. ед. *májkē, ндгē*, дат. ед. *máјци, ндзи*; вин. ед. *máјку, ндгу*, твор. ед. *máјкџм, нџџџм*, местн. ед. *máјци, ндзи*; чеш. 1-е лицо ед. *reku*, 2-е лицо ед. *rebeš*, 3-е лицо ед. *řebe*, 1-е лицо мн. *řečete*, 2-е лицо мн. *řečete*, 3-е лицо мн. *pekou*), так и в различных деривационных образованиях (ср. русск. *нога — ножка — ножной*, болг. *белег «знак» — бележка — бележник*). Первый тип морфонологического чередования представлен в одном слове. Он является дополнительным, но весьма существенным признаком морфологии. Второй — характеризует чередования общей морфемы в разных словах и таким образом вторгается в области словообразования. Итак, среди морфонологических чередований нужно различать парадигматические и деривационные чередования.

Имеется и третий переходный тип, представленный в глаголе. Здесь, кроме парадигматического и деривационного чередований, находим особый вид парадигматического чередования, когда морфонологический ряд представлен в одном слове, но в разных грамматических категориях: ср. русск. *могу — можешь*, но *могу — мочь*, чеш. *česati — česám — češ!*, *hnáti — ženu — žeň!* и др.

Парадигматические чередования тесно объединяют морфонологию с морфологией. Эти чередования утрачиваются или преобразовываются под активным воздействием морфологической аналогии. Деривационные чередования сближают морфонологию со словообразованием, хотя между той и другой есть и весьма существенное различие. В словообразовании необходимо строго учитывать словообразовательный деривационный ряд, закономерности которого не действуют в морфологии. Так, например, в случаях типа русск. *дружба, служба* и под. нельзя говорить о чередовании алломорф *druž- : drug-, služ- : slug-*, так как именные образования на *-ba* являются отглагольными, т. е. *дружба* и *служба* образованы от глаголов *дружить* и *служить*, а не от имен *друг* и *слуга*. В морфологии словообразовательный деривационный ряд не имеет значения: деривационные чередования в морфологии не подчиняются словообразовательному закону деривации. В морфологии деривационный ряд чередования свободно отражается в общей морфеме, независимо от словообразовательной цепочки.

Судьба деривационных морфонологических чередований зависит от процессов, которые происходят в структуре суффиксов. Наиболее устой-

¹⁹ S. Szober, Gramatyka języka polskiego, II, Warszawa, 1931, стр. 102.

²⁰ M. Dokulil, Tvoření slov v češtině, I, Praha, 1962, стр. 170.

чивы эти чередования в исходе корневой морфемы. Переразложение в суффиксах приводит к утрате деривационного чередования. Уже давно утрачено деривационное чередование [k : c] в праслав. *starikъ — starica*, так как уже много столетий тому назад сформировался суффикс *-ica* (ср. русск. *лев — лвица*, болг. *бивола — биволица* и под.). Имеется ли чередование [k : č] в русских примерах *бедняк — беднячка*, *моряк — морячка* и под.? Ответ зависит от результатов словообразовательного анализа. Он будет положительным, если слова женского рода образованы от основы *bedn'ák-*, *mor'ák-*, и отрицательным, если слова женского рода имеют суффикс *-ačka* (ср. русск. *гордец — гордячка*).

Ряды чередований. Морфонологические чередования осуществляются в языке в виде соотносительных и несоотносительных рядов. Соотносительный ряд представлен в том случае, когда в определенных грамматических условиях в чередовании последовательно выступают чередующиеся пары фонем (две и больше): например, в русском в 1-м лице ед. числа настоящего времени [k : č], [g : ž], [t : t'], [d : d'] и т. д. (*пеку — печешь, могу — можешь, мету — метешь, иду — идешь* и др.).

Соотносительные ряды морфонологических чередований действуют в языке последовательно и автоматически. Поэтому, зная место данной морфемы в структуре языка, можно точно предсказать, как она будет подчиняться действию соотносительного ряда в различных грамматических позициях. Так, от имени *чебуреки* безошибочно и автоматически в русском образуется *чебуречная*. По действующим в языке живым соотносительным рядам чередований от заимствованного слова *док* «тик» болгарин автоматически образует прилагательное *дочен* «тиковый, сделанный из тика». Конечно, соотносительные ряды подвержены в каждом языке многим ограничениям, что объясняется конкретной историей определенных слов. С этими ограничениями часто не хотят считаться дети, в языке которых автоматизация морфонологических рядов принимает иногда универсальный характер.

В отличие от соотносительного ряда, несоотносительный ряд (т. е. единичную пару чередования) предсказать во многих случаях невозможно, так как он может определяться в своей основе уже не грамматическими условиями, а языковой традицией. Так, чередование гласных с нулем звука в корневых морфемах (так называемые «беглые» гласные) предсказать нельзя, так как морфемы аналогичной структуры могут и не иметь чередований: русск. *сон — сна, день — дня, но дом — дома, нос — носа*, польск. *sen — sni, dzień — dnia, но ser — seru* «сыр» и под. Это, однако, не распространяется на все случаи «беглых» гласных. Чередование гласных с нулем звука, например, в уменьшительном суффиксе *-ъкъ* (ср. русск. *бережок — бережка*, польск. *dworek — dworku* и аналогичные) представляют собой также несоотносительный ряд морфонологического чередования, который между тем характеризует чередование в определенных грамматических условиях. Это чередование действует в славянских языках последовательно.

Соотносительные ряды существуют в фонологии и в морфонологии. Однако эти ряды имеют различную природу и подчиняются разным закономерностям. В морфонологии одни и те же фонемы могут входить в различные соотносительные ряды и выполнять различную функцию. Так, чередование [k : č] в глагольной парадигме настоящего времени в русском языке входит в соотносительный ряд чередований твердых и мягких фонем (*пеку — печешь, несу — несешь* и т. д.), тогда как при образовании уменьшительных существительных мужского рода (*сук — сучок*) данная пара не характеризует чередование твердых и мягких фонем (ср. *воз — возок, дуб — дубок*). В отличие от русского языка в чешском чередование [k : č]

в парадигме настоящего времени не характеризует чередования твердых и мягких фонем (*peku* — *pečeš*, *nesu* — *neseš*, *beru* — *bereš* и др.). Именно этим объясняется неустойчивость здесь данных чередований: ср. *peču* — *pečeš* — *peču*, *teču* — *tečeš* — *teču*, *seču* — *sečeš* — *seču*.

В морфологии одна и та же фонема может входить не только в различные соотносительные ряды, но может иметь и различный коррелят: ср. в русск. *рука* — *ручка*, *штука* — *штучка*, *река* — *речка*, но *птица* — *птичка*, *овца* — *овечка*. Специфика поведения фонем в морфонологической структуре удачно вскрыта Макаевым и Кубряковой: «В морфонологии поэтов занимаются не столько фонологическим составом морфемы как таковой, но рамками его подвижности. Основная функция фонемы — диакритическая, но в морфологии важен не столько факт противопоставления одной фонемы другой, сколько возможность отождествления разных фонологических последовательностей как членов одного морфемного ряда»²¹.

Характеризуя фонологический соотносительный ряд по твердости — мягкости в русском языке, Р. И. Аванесов исключает из этого ряда чередования [k : č], [g : ž], [x : š]. Данный ряд в русском представлен 12 парами: [p : pʲ], [b : bʲ], [f : fʲ], [v : vʲ], [m : mʲ], [t : tʲ], [d : dʲ], [s : sʲ], [z : zʲ], [l : lʲ], [n : nʲ], [r : rʲ]. «Остальные десять согласных фонем пар по твердости — мягкости не образуют. Одни из них являются внепарными твердыми, так как отсутствуют соответствующие мягкие фонемы. Таковы [š], [ž], [č], а также [k], [g], [x]. Другие — [šʲ], [žʲ], [čʲ], [j] — являются внепарными мягкими, так как отсутствуют соответствующие твердые»²². Однако для морфонологического уровня такая характеристика уже недействительна. В одном соотносительном морфонологическом ряду фонемы [č], [ž], [š] могут быть мягкими, в другом — нейтральными по данному признаку. Строго говоря, в славянской морфологии твердыми фонемы [č], [ž], [š] не бывают.

При характеристике морфонологического соотносительного ряда многие фонетические признаки фонем не имеют значения. В случаях типа *нога* — *ножка* налицо чередование [g : ž], несмотря на то, что во втором примере представлено оглушение звонкого [ž]: *ношка*. Один из существенных недостатков теории чередований И. А. Бодуэна де Куртене как раз в том, что он пытался отразить в чередовании все фонетические изменения звуков.

Одни и те же чередования фонем могут формироваться в различное время в зависимости от того соотносительного ряда, в который они входят. В период формирования новой структуры 1-го лица ед. числа глаголов настоящего времени под воздействием нетематических глаголов в сербохорватском языке еще не установился соотносительный ряд чередований, согласно которому в 1-м лице ед. числа и 3-м лице мн. числа корневая морфема должна оканчиваться на заднеязычный, а в остальных позициях на шипящий. Поэтому здесь в 1-м лице ед. числа могла сформироваться структура типа *rečēt*. В польском переход носового гласного заднего ряда в кратких слогах в носовой гласный переднего ряда произошел уже после формирования данного соотносительного ряда. Вот почему в 1-м лице ед. числа находим здесь *tożę* и под., а не *tożę*. В русском переход [e] в [o] в определенных фонетических условиях происходил также позже. Этим объясняется, почему здесь находим шипящий во 2, 3-м лицах ед. числа и в 1, 2-м лицах мн. числа перед гласными заднего ряда: *печешь* [rečōš], *печет* [rečōt], *печем* [rečōm], *печете* [rečōt'e].

²¹ Э. А. Макаев, Е. С. Кубрякова, указ. соч., стр. 11.

²² Р. И. Аванесов, Фонетика современного русского литературного языка, [М.], 1956, стр. 170.

Итак, в 1-м лице ед. числа в сербохорватском [k] перед [e] не сохранился: *peku* < *пѣчѣм*. Иначе обстояло дело в склонении. В результате воздействия мягкого варианта основ на твердый в сербохорватском в родительном падеже единственного числа [k] оказался перед [e]: *pykѣ*. Здесь сохранился корень на задненебный, так как в склонении во время воздействия мягкого варианта соотносительный ряд чередования уже сформировался.

Соотносительные ряды морфологических чередований не только формируются, но и разрушаются. Под воздействием аналогии часто преобразуется или совсем разрушается соотносительный ряд в парадигматических чередованиях. Примеры в избытке представляют все славянские языки: ср. словацк. *matka* — *o matke*, *noha* — *na nohe* и под. Аналогия может произвести выравнивание и до установления соотносительного ряда, еще на уровне фонетики. Вероятно, так было с результатами второй палатализации в русском склонении. Надо думать, что русские говоры в склонении не знали соотносительного ряда морфологического чередования [k : c], [g : z], [x : s]. Иначе в словацком, где действие аналогии привело к разрушению именно этого соотносительного ряда. Данный соотносительный ряд интенсивно разрушается на наших глазах в северных чакавских говорах сербохорватского языка²³.

Один соотносительный ряд морфологического чередования может изменить характер отдельных звеньев ряда, не преобразуя по существу всей структуры. Так, в русских диалектных примерах типа *peku* — *pek'ót*... наблюдаем преобразование звена [k : ě] в [k : k']. Это, однако, не приводит к разрушению самого соотносительного ряда. Лишь звено [k : ě] преобразуется в [k : k'], а звено [g : ž] в [g : g']. Известна русским говорам и полная утрата чередований в звеньях [k : ě] и [g : ž]: *pekú* — *pekóš* — *pekót*, *mogú* — *mogóš* — *mogót*. Произошла утрата чередований в этих звеньях ряда в украинском: *печу* — *печеш* — *пече* — *печемо* — *печете* — *печуть*; *біжу* — *біжиш* — *біжить* — *біжимо* — *біжите* — *біжать*. Однако здесь в отличие от русских говоров произошло не только преобразование или утрата отдельного или отдельных звеньев ряда. Здесь вообще утрачен данный соотносительный ряд чередований [*nesú* — *neséš*..., *vezú* — *vezéš*...].

Соотносительный ряд чередований не зависит ни в какой степени от фонетической позиции, хотя часто в определенных его звеньях обнаруживаются следы прежних фонетических закономерностей. Это обстоятельство может породить неверное представление об отдельных звеньях чередований.

Рассматривая чередование мягких и твердых согласных в глаголе, авторы коллективной «Русской диалектологии» полагают, что во 2, 3-м лицах ед. числа и 1, 2-м лицах мн. числа перед гласным [e] смягчение «является фонетически обусловленным и не играет грамматической роли. В говорах, где все эти окончания или часть из них имеют фонему [o], чередование С/С' — морфологическое, причем член чередования С представлен в формах 1-го лица ед. числа и 3-го лица мн. числа, а член С' — в тех формах, где в окончании представлена фонема [o]. Мягкость согласного в окончаниях с фонемой [e], обусловленная позицией, не несет грамматической функции»²⁴. Таким образом, согласно данной точке зрения, в случае *pekú* — *pečóš* — *pečót*... выступает грамматически обусловленное чередование, а в случае *mogú* — *móžeš* — *mžet*... — изменение фонети-

²³ См.: К. Е. Наулов, A comparison of the nominal declension of the Čakavian dialects, literary Serbo-Croatian, and Russian, «Зборник за филологију и лингвистику», IX, Нови Сад, 1966, стр. 68.

²⁴ «Русская диалектология», М., 1964, стр. 154.

ческого характера. Данное толкование принять невозможно. В том и другом случае представлен один и тот же соотносительный ряд чередования. Этот соотносительный ряд обнаруживается в положении перед гласными заднего ряда (ср. русск. *берег* — *бережёт*), перед гласными переднего ряда (ср. польск. *może* — *możesz*), перед гласными и согласными (ср. чеш. *roh* — *rožní* «угловой»). Уже давно во всех славянских языках варианты с шипящими перед гласными переднего ряда порвали связь с фонетикой. Это убедительно подтверждают многочисленные примеры с заднеязычными [k], [g], [x] перед гласными переднего ряда: русск. *кишке, волки, ноге, герой, тилый, мухи*; польск. *bokiem, wilki, kierunek* «направление», *kiszka, giętki* «гибкий», *gips* и под.

Ко времени действия второй и третьей палатализации заднеязычных согласные [č], [ž], [š] уже стали самостоятельными фонемами и начали играть существенную роль в праславянской морфологии. П. С. Кузнецов отмечает, что «поскольку фонетически перед любым гласным переднего ряда на месте заднеязычного согласного теперь может явиться свистящий, отношения *k — č, g — ž, x — š* фонетически не обусловлены даже в тех случаях, когда шипящие находятся перед гласными переднего ряда, и выступают, таким образом, как чередования морфологического порядка»²⁵. Это справедливо уже для праславянского периода. Тем более это относится к современному славянским языкам.

Основная проблематика морфологии — изучение соотносительных и несоотносительных (единичных) рядов чередований, их структуры, функционирования и истории. Именно наличие в языке этих рядов чередований и дает право на существование самостоятельной области грамматики — морфологии. Не во всех языках существуют морфологические ряды чередований. Для этих языков выделение самостоятельного раздела морфологии лишено основания. Нельзя согласиться с положением, сформулированным Н. С. Трубецким: «морфология... должна занять принадлежащее ей по праву достойное место в грамматике, подчеркиваю — в любой грамматике, а не только в грамматиках семитских и индоевропейских языков»²⁶. Правда, дальше Н. С. Трубецкой внес некоторое ограничение: «Только такие языки, которые не имеют морфологии в собственном смысле этого слова, могут обойтись также и без морфологии»²⁷. Опыт морфологических описаний последних десятилетий убедительно опровергает это положение. Не случайно, что морфология сравнительно интенсивно развивается именно в славянском языкознании. Примечательно, что в теоретическом обзорном труде «Current trends in linguistics» (III — Theoretical foundations) раздел морфологии представлен конкретным описанием славянской морфологии. Именно на описании чередований в славянских языках можно было наиболее полно охарактеризовать теоретические основы морфологии.

Прав В. Скаличка, не усматривая в структуре турецкого языка фактов, которые давали бы основания говорить о турецкой морфологии. Турецкий язык не имеет морфологических рядов чередований, не имеет традиционных чередований типа аблаута. Все преобразования слов и морфем в этом языке успешно могут изучаться в фонетике и в грамматике.

Не следует переоценивать роль морфологии и в славянских языках. Всюду морфологические чередования используются как дополнительное средство грамматической характеристики. Кроме того, не всегда используются все имеющиеся в славянских языках возможности представленных

²⁵ П. С. Кузнецов, указ. соч., стр. 66.

²⁶ Н. С. Трубецкой, указ. соч., стр. 116.

²⁷ Там же.

чередований. Основную роль играют, конечно, аффиксы. Так было уже в праславянском языке. И тем не менее А. Вайан с полным правом мог написать, что «...чередования устойчивы и играют в языке очень важную роль. В старославянском языке они образуют богатую и разнообразную систему с ясной функцией больших групп чередующихся звуков...»²⁸.

Функционирование морфонологических чередований в славянских языках изучено еще очень поверхностно. Даже в подробных грамматических очерках современных литературных языков морфонология отсутствует. Лучше изучена польская морфонология — начало ей положил И. А. Бодуэн де Куртенэ; значителен вклад С. Шобера, который еще в 1931 г. охарактеризовал структуру основных морфонологических чередований в польском языке. В 1934 г. Н. С. Трубецкой опубликовал небольшую монографию «Das morphonologische System der russischen Sprache». Слабо изучена морфонология чешского и словацкого языков. Почти нет работ по морфонологии южнославянских языков. Совсем мало исследований по исторической морфонологии славянских языков²⁹. В последние годы ряд ценных работ в этой области опубликован П. С. Кузнецовым и Э. Станкевичем.

Морфонологические чередования гласных и согласных фонем. Чередования могут быть вокалическими (чередования гласных) и консонантными (чередования согласных). Между ними существуют четкие границы. Однако при изучении истории чередований следует учитывать изменчивость границ между системами вокализма и консонантизма. Прежде сонанты могли быть гласными и согласными — и в настоящее время, например, в чешском языке [r] и [l] в определенных условиях могут выполнять функции гласных звуков (ср. *srdce*, *krk* «горло, шея», *vlk*, *vlhky* «влажный», *slza*). В праславянском сонанты могли вступать в чередования с гласными. Отдельные случаи чередования гласных с сонантами можно привести и из современного сербохорватского языка: *brāo* — *brāla* — *brali*; *m̄o* — *m̄ra* — *m̄ri*; им. ед. *d̄eo* «часть», но род. ед. *d̄ela*; им. ед. *drao* «орел», но род. ед. *brla*. Чередования гласных могли переходить в чередования согласных. Так, чередование дифтонгических согласных [eɥ : oɥ] после их монофтонгизации было отражено в праславянском уже в виде чередований твердых и мягких согласных.

Чередования гласных в славянских языках формировались в различные периоды истории. Как уже было указано, праславянские чередования гласных (аблаут) сформировались на почве индоевропейского праязыка. Некоторые праславянские чередования, используя древние индоевропейские, по существу начали функционировать только в праславянском (ср. чередования гласных в случаях типа *roditi* — *radjati*, *močiti* — *makati*, *goniti* — *ganjati*, *lomiti* — *lamati*, *skočiti* — *skakati*, *plesti* — *zaplětati*, *mesti* — *zamětati*, *lečiti* — *lětati* и под.). Многие чередования гласных установились уже после распада праславянского языка в отдельных славянских языках. Именно такими чередованиями являются чередования гласных с нулем звука на месте старых сверхкратких: русск. *сон* — *сна*, *песок* — *песка*, *день* — *дня*, польск. *sen* — *snu*, *piesek* — *piasku*, *dzień* — *dnia*, словацк. *sen* — *sna*, *piesok* — *piesku*, *deň* — *dňa*.

Отдельные изолированные случаи чередований согласных можно отнести еще к древнейшему периоду: *pryskati* — *bryzgati*, *kokotati* — *gogotati*, *komolъ* — *gomolъ* (ср. в чеш. *komolý* «усеченный» — *homole* «конус»), *kruša* — *gruša*, *dal-* — *tal-* (ср. чеш. *dálný*, но *otáleti* «медлить, замедлять», см. литов. *tolì* «далеко»), *sold-* — *solt-*; ср. болг. *sladъk* — *slatъk*, русский

²⁸ А. В а й а н, Руководство по старославянскому языку, М., 1952, стр. 94.

²⁹ См. об этом: П. С. К у з н е ц о в, указ. соч., стр. 62.

старославянизм *слаже* (<oldje) — *слаце* (<oltje), *ногъть* — *нокъть*. Вариант *ногъть*, более древний, представлен во всех восточнославянских языках, господствует в западнославянских, представлен в словенском; второй вариант *нокъть* характеризует почти все южнославянские языки: болг. *нокът*, макед. *нокот*, серб.-хорв. *ндкат*; из западнославянских языков вариант с [k] знают польский и нижнелужицкий: польск. *razno-kieć*, н.-луж. *nokš*.

Однако основные типы и виды чередований согласных, даже в наиболее их архаической части, начали формироваться в праславянском. В большинстве случаев чередования согласных возникли из позиционных фонетических изменений (главным образом в связи с изменением согласных перед [j]). Многие чередования согласных возникли уже на почве отдельных славянских языков в связи с различными локальными процессами. В грамматической системе всех славянских языков чередования согласных выполняют важные функции, особенно в тех языках, которые имеют богатую систему мягких согласных фонем (в русском и польском языках). В современном русском языке морфонологические чередования согласных играют более важную роль, нежели чередования гласных. Богаче система чередований гласных в украинском, польском и чешском языках, но и здесь чередования согласных доминируют.

Широко представлены в славянских языках чередования гласных с согласными (ср. русск. *жать* — *жму*, *мять* — *мну*, диалектн. *dut'* — *dmu*, польск. *żąć* — *żnę* «жать», *ciąć* — *tnę* «резать», *dać* — *dmę*, *kląć* — *klnę* «ругаться»; серб.-хорв. *жѣти* — *жмѣм*, *кѣти* — *кѣнем* и под.). Все эти случаи возникли на основе праславянских чередований гласных.

Обычно в каждом звене чередования наблюдаем взаимозамещаемость одной фонемы. Однако хорошо известны случаи, когда чередуется фонема с нулем, когда одна фонема чередуется с сочетанием фонем. Последний случай обычно наблюдается в парадигматических чередованиях на стыке морфем: ср. русск. *люблю* — *любишь*, *хрущу* — *хрустишь*. Богат такими чередованиями сербохорватский язык, в котором палатализационные процессы перед [j] действовали поздно (после утраты сверхкратких в «слабой» позиции): им. ед. *крѣ* — твор. ед. *крѣљу*.

Чередования в разных позициях слова, в различных частях речи. Не одинаковы возможности морфонологических чередований в различных позициях слова. В славянских языках основная проблематика чередований связана главным образом с к о р н е в о й частью слова. Это в равной степени касается как чередования гласных, так и чередования согласных. Во всяком случае соотносительные ряды морфонологических чередований вне корневой части слова обнаруживаются реже.

В праславянском чередования гласных были известны в корнях (ср. *berǫ* — *byrati*), в префиксах (ср. *potokъ* — *paмѣтъ*), в суффиксах (ср. *starikъ* — *starьcbъ*), в тематических элементах основ (ср. основу *-orbo-* — *orbe-*). Современные славянские языки знают чередования только в корнях и суффиксах.

Различна судьба морфонологических чередований в различных позициях морфем. Если говорить о чередовании согласных, то здесь для корневых морфем необходимо различать начальную и конечную позиции. Чередование начальных согласных корневой морфемы оказывается неустойчивым, так как в этом случае рано утрачивается тождество вариантов морфем; ср., например, чередование в морфеме *ken-* — *kon-* — *кѣп-*, отраженное в *паѣѣи*, *копьсь*, *паььно*, или чередование в морфеме *kel-* — *kol-* — *кѣл-* — *кѣл-*, представленное в русск. *челюсть*, *колоть*, *кѣлк*, *чѣлн*, или чередования в морфеме *skom-* — *skem-* — *скѣм-*, отраженные в русск. *оскомина*, *щемить* (< *skemiti*), в др.-польск. *szczmіć* (< *skęmiti*).

Наиболее устойчивой позицией чередования для корневых согласных является исход морфемы, так как в этом случае чередование не приводит к утрате тождества морфем (ср. русск. *грех* — *грешник*, *мох* — *миштый*, чеш. *noc* — *počnĭ*, *hrách* — *hrášek* и под.). Большинство соотносительных рядов морфонологических чередований согласных связаны именно с исходом морфемы. Для чередующихся рядов гласных позицию различать не нужно, так как она не вызывает нарушения тождества морфем. Конечно, здесь речь идет только о современных славянских языках. Аблаут постоянно нарушал синхроническое тождество.

По-разному распределяются чередования в различных частях речи. Так, соотносительный ряд [k : ě], [g : ž], [x : š] в имени представлен обычно в деривационных чередованиях (ср. русск. *рука* — *ручка*, *ручонка*, *рученька*), тогда как в глаголе он известен и в парадигматических чередованиях (ср. русск. *теку* — *течет* — *текут*)³⁰. «Изучение морфонологии русского языка показывает, например, что в этом языке ряды звуковых чередований в именных и глагольных формах не одинаковы», — писал Н. С. Трубецкой³¹. Это положение можно уточнить: во всех славянских языках система морфонологических чередований устойчивее и богаче в глаголе, нежели в имени. Это в первую очередь относится к парадигматическим чередованиям.

В тезисах «Пражского лингвистического кружка», опубликованных к I съезду славистов, сказано: «Фонологическое и морфонологическое описание всех славянских языков и их диалектов — насущная проблема славистики»³². С тех пор прошло почти сорок лет. За этот период славянская фонология далеко шагнула вперед. Имеются ценные фонологические описания литературных языков, диалектов, интенсивно развивается диахроническая фонология (в частности, праславянская фонология). Иной была судьба морфонологии. В начале 30-х годов появились первые опыты в этой области (полабская и русская морфонология Н. С. Трубецкого, польская морфонология С. Шобера). Однако это направление в науке не получило широкого развития. Лишь время от времени появлялись небольшие статьи и заметки, в которых рассматривались мимоходом отдельные частные вопросы. Русская морфонология Трубецкого оказалась одним из наименее известных произведений великого лингвиста. Во всяком случае, она не оказала влияния на русскую грамматическую науку. Главная причина — в том, что морфонологическая проблематика трактовалась Трубецким слишком широко. Не было установлено четких границ между морфонологией и словообразованием, между морфонологией и фонологией, между морфонологией и фонетикой. Отрицательную роль в истории морфонологии сыграло и выделение фактически несуществующей единицы — морфемы³³.

³⁰ Э. Станкевич приводит три примера с парадигматическими чередованиями [k : ě] и [x : š] для имен из восточнославянских языков: *oko* — *очи*, *узо* — *уши*, *клок* — *клячъ*. См.: E. S t a n k i e w i c z, The consonantal alternations in the Slavic declension, «Words», 16/2, 1960, стр. 193. Число примеров можно существенно пополнить.

³¹ Н. С. Т р у б е ц к о й, указ. соч., стр. 118.

³² «Тезисы Пражского лингвистического кружка», в кн. «Пражский лингвистический кружок», М., 1967, стр. 22; см. также в кн. «A Prague school reader in linguistics», Bloomington, 1964, стр. 38. В книге В. А. Звегинцева «История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях», ч. II (М., 1960, стр. 73) это место тезисов дано неточно.

³³ Подробнее об этом см.: А. А. Р е ф о р м а т с к и й, указ. соч., стр. 96—99.

Я. ВУЙТОВИЧ

К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ МАЗУРЕНИЯ

В споре о времени возникновения мазурения важным аргументом в пользу его древности является совпадение его изоглосс с племенными границами. К. Нич, говоря о древнем характере мазурения, писал: «Сведения о мазурении не встречаются раньше XV в.; однако нет никаких оснований допускать, что оно появилось лишь к этому времени; напротив — нет никаких доказательств того, что праслав. *sj/zj* и на этой территории дали *š/ž*... возможно, что это праславянская диалектная черта, что тут всегда были только *s/z*, к которым присоединились праславянские *š/ž*»¹. Говоря о племенных границах, Нич ссылался на совпадение границ мазурения с первичными границами Малой Польши: «...граница мазурения почти идентична с западной и восточной границами Малой Польши, включая Серадз и Ленчицу, — так, как мы знаем их для XIII в.; однако эти границы сложились не в XIII в., они восходят к более раннему и, может быть, весьма давнему времени»².

Иследуя проблему совпадения границы мазурения с юго-западной границей Малой Польши, В. Ташицкий опирался на работы К. Потканского³, из которых, как пишет В. Ташицкий, можно заключить, «что в исторических источниках мы не находим буквально никаких указаний, касающихся племенной силезско-малопольской (вислянской) границы, ... что границы краковской епархии (в которых ищут отражение старых племенных границ. — Я. В.) известны нам лишь в их состоянии применительно к XIV и XV вв. Как они выглядели ранее, мы сказать не можем, и это недвусмысленно подчеркивается К. Потканским»⁴.

Подвергая сомнению утверждение о совпадении мазурения с границей Малой Польши, В. Ташицкий противопоставляет ему взгляд о появлении приношения *syja, zyto, cysty* в конце средневековья. Мазурение, по Ташицкому, охватило сперва Мазовию (в XV в.), позднее — Малую Польшу (XVI в.). По К. Ничу теория о мазовецком происхождении мазурения, его позднее распространении из Мазовии в Малую Польшу не выдерживает сопоставления с фактами истории заселения этих земель. Достаточным аргументом против такой концепции, по мнению Нича, является то, что границы мазурения совпадают с племенными границами, которые сложились, как известно, значительно раньше XV и XVI вв. С. Урбанчик формулирует эту мысль в виде категорического утверждения: «Поскольку изоглосса мазурения совпадает с племенной границей, то она произошла в то время, когда еще существовало деление на племена»⁵. С этим пыгается спорить Т. Милевский, высказывая свое убеждение в следующих словах:

¹ K. N i t s c h, *Dialekty języka polskiego*, «Wybór pism polonistycznych», IV, Wrocław, 1958, стр. 87.

² K. N i t s c h, *Co wiemy naprawdę o dialektach ludowych XVI wieku*, «Wybór pism...», IV, стр. 399.

³ K. P o t k a ń s k i, *Kraków przed Piastami*, «Rozprawy Wydziału historyczno-filozoficznego Akademii Umiejętności», XXV, 1898; его же, *Granice biskupstwa Krakowskiego*, «Rocznik Krakowski», IV, Kraków, 1900.

⁴ W. T a s z y c k i, *Rozprawy i studia polonistyczne*, II, Wrocław, 1961, стр. 190.

⁵ S. U r b a ń c z y k, *Kilka spraw dotyczących pochodzenia polskiego języka literackiego*, BPTJ, VIII, 1948, стр. 124.

«Нет... никаких фактов, которые исключали бы возможность такого совпадения (между очень старыми историческими границами и границами языковых явлений, появившихся позднее. — Я. В.) в XV или XVI вв.»⁶.

В данной статье мы попытаемся выяснить отношение границы мазурения и восточной границы Малой Польши, а также проанализируем распространение тех диалектных черт, которые пришли в Малую Польшу из Мазовии и мазовецкий характер которых окончательно признан в лингвистике.

«Восточная граница мазурения на польской этнографической территории, — писал К. Нич, — была одновременно и племенной границей, так как она соответствует восточной границе первичной Малой Польши, т. е. границе между прежними Сандомирским и Любельским воеводствами и воеводствами Русским и Бэлзским; отсюда следует вывод, что этнографический польский пояс, появившийся позднее, не ранее XIV в., за Вислоком и Саном и по верхнему Вешпу, обязан отсутствием мазурения восточно-славянской основе или примеси»⁷. И в другом месте: «Общность этих границ поразительна; во многих местах она доходит до мельчайших совпадений, в других же их различия столь незначительны, что приходится удивляться, как мало отразились на них те 700 лет, которые прошли хотя бы между XIII и XX вв.»⁸.

Различные фрагменты из трудов К. Нича позволяют сформулировать следующие тезисы, которые автор отстаивает:

1. Мазурение — явление древнее; восточная граница мазурения совпадает с племенной границей, проходящей в восточной части Малой Польши.

2. Существование немазурекающих говоров в восточной части (по верхнему Вешпу и между Вислоком и Саном) объясняется восточно-славянской основой или примесью; отсутствие мазурения на этой территории не является периферийным архаизмом.

3. Если бы мазурение было поздним явлением, охватившим Малую Польшу лишь в XVI в., оно бы не остановилось на племенной границе, поскольку тогда это уже не была живая граница, которая могла бы играть роль барьера для распространяющихся языковых явлений.

Эти тезисы вызвали острую полемику; разные дискуссионные отклики собраны В. Ташицким⁹. Среди других ученых высказывались на эту тему Я. Лось и С. Шобер.

Я. Лось полемизирует со взглядами К. Нича, согласно которым отсутствие мазурения на востоке было вызвано восточно-славянской примесью или основой. Он указывает на отсутствие других системных черт украинского языка в этих говорах: «...в восточно-славянских диалектах, правда, *s* и *š*, *z* и *ž* различаются так же, как и в польском языке, но между *s* и *š*, *z* и *ž* с точки зрения их происхождения отношения совершенно иные; так, по-польски звучит *owca*, *świeca*, *owieczka*, в русских же диалектах: *овца*, *свѣча*, *овѣчка*, так что если бы на восточно-славянской границе действовали те же факторы, что и на чешской границе, там ожидалось бы польские формы: *owca*, *świeca*, *owieczka*»¹⁰.

С. Шобер (как и В. Ташицкий) допускает, что отсутствие мазурения на востоке вызвано тем, что окрестности эти были колонизированы раньше,

⁶ T. Milewski, Recenzja pracy W. Taszyckiego «Dawność tzw. mazurzenia w języku polskim», «Slavia occidentalis», XIX, 1948, стр. 489.

⁷ K. Nitsch, Granice mazurzenia w świetle Polski plemiennej, «Wybór pism...», IV, стр. 270.

⁸ K. Nitsch, Co wiemy..., стр. 399.

⁹ W. Tażycki, Dawność tzw. mazurzenia w języku polskim, «Rozprawy i studia polonistyczne», II, стр. 166—188.

¹⁰ J. Łoś, Pochodzenie polskiego języka literackiego, JP, III, 1916, стр. 118.

чем появилось мазурение; это весьма правдоподобно. Против концепции К. Нича о восточно-славянской основе немазурающих говоров С. Шобер выдвигает следующий аргумент: «... при смешении каких-либо двух грамматических систем большие возможности победить обычно имеет более легкая и простая система, так что если на упомянутой территории поляки, смешанные с восточными славянами, мазурекали бы, то вероятнее всего, что в образующемся на такой этническо-языковой основе типе польского языка развилась бы звуковая система, основанная на мазурении»¹¹. Это тем более вероятно, продолжает С. Шобер, что, как указывает К. Нич, не вся данная территория, видимо, была некогда чужой, о чем должно свидетельствовать широкое распространение *ă* (суженного), особенно в южной части.

Проблемой восточной границы сейчас деятельно занимаются историки.

В работе Ф. Персовского¹² собраны воедино теории о польско-русской границе, дана подробная карта заселения этих мест в X—XVI вв. Суммировать высказывания историков по поводу споров о политической границе Польши с Русью, о племенных делениях Польши и разграничении польских и восточно-славянских элементов можно было бы следующим образом: «Граница старой территории с Русью... проходила когда-то (разрядка наша.— Я. В.) от среднего течения Танава до устья Вислока, далее же шла лесами к водоразделу Вислока и Сана. Однако в неизвестное время и при невыясненных обстоятельствах она передвинулась на запад»¹³. «Определяется граница между Польшей и Киевской Русью (речь идет о XI в.— Я. В.)... господство Руси распространяется на юг, в бассейне Сана... Ранее это могла быть племенная территория, связанная с Польшей, однако границы здесь были всегда весьма неопределенны»¹⁴. Итак, точный процесс изменения этой племенной границы «тонет во мгле веков», и это происходит как по объективным причинам, так и по субъективным: «...сколько раз перо польских, русских, украинских и даже чешских историков принималось за описание ранней средневековой истории земель пограничной полосы между Польшей и Русью, столько же раз почти всегда объективное спокойствие этих ученых перерождалось в... желание закрепления за своей народностью границ, наиболее отодвинутых в восточном или западном направлении. При этом игнорировалось и то обстоятельство, что нельзя смешивать государственную, политическую границу с границей этнической»¹⁵.

Наименее туманный контур имеет интересующая нас граница в трудах С. Арнольда¹⁶, на которого ссылается К. Нич. Известно, однако, что принятый С. Арнольдом способ определения племенных границ ретроспективным методом, при котором за исходную точку берутся позднейшие административные, политические, светские или церковные границы, вызывал возражения историков¹⁷.

¹¹ S. Szober, *Pochodzenie i rozwój polskiego języka literackiego*, сб. «Wybór Pism», Warszawa, 1959, стр. 94.

¹² F. Persowski, *Studia nad pograniczem polsko-ruskim w X—XI wieku*, Wrocław, 1962.

¹³ J. Natanson-Leski, *Zarys granic i podziałów Polski najstarszej*, Wrocław, 1953, стр. 88.

¹⁴ F. Persowski, указ. соч., стр. 110.

¹⁵ S. M. Kuczynski, *Wschodnia granica państwa polskiego w X w.*, сб. «Początki państwa polskiego», 1, Poznań, 1962, стр. 232.

¹⁶ S. Agnold, *Terytoria plemienne w ustroju administracyjnym Polski Piastowskiej. Wiek XII—XIII*, «Prace Komisji dla Atlasu historycznego Polski», II, PAU, 1927, а также: его же, *Podziały administracyjne województwa sandomierskiego*, «Pamiętnik Świętokrzyski», Kielce, 1930, (стр. 58).

¹⁷ Z. Wojciechowski, *O ustroju szczepowym ziem polskich. Uwagi krytyczne*, «Slavia occidentalis», 1928, VII.

Присущий С. Арнольду способ рассуждения хорошо иллюстрируется его соображениями о Сандомирской земле: «С этого времени (конец XI в. — Я. В.) мы не располагаем... более определенными сведениями о территории, которую занимала эта область»¹⁸. Однако далее неожиданно читаем: «Как я уже говорил, территория сандомирской области в XI в. соответствовала той, которая установилась позднее, после государственного раздела 1138 г.»¹⁹. Допущения о XIII и XIV вв. таковы: «Можно думать, ...что сандомирская территория занимала, кроме Сандомира, всю площадь позднейшей сандомирской области XII в. (т. е. с Люблином, Вислицей)...» и далее: «Политические происшествия в XIII в. уже не влияли сильно на изменение границ области, которые сохранялись с 1240 г. до начала XIV в., когда она стала воеводством». Восточная граница Сандомирского воеводства определяется так: «На востоке сандомирская область граничила с Русью; здесь в средние века политическая граница не подверглась сильным изменениям, так что она в общих чертах соответствовала восточной границе позднейшего Люблинского воеводства (с XV в.)»²⁰.

Для целей нашей работы интересны не столько изменения политической границы, ее колебания и передвижения (о чем история дает немало сведений), сколько изменения этнической границы: как предостерегает историк, «...нельзя смешивать границу политическую с этнической, национальней»²¹. В другом месте это сформулировано еще острее: «...убеждение, что в X в. этническая и политическая границы Польши с Русью не могли быть разными, стало общепринятым»²².

Высказывания историков об этническом характере границы не дают особых результатов. «Несомненно, но трудно определимо, — жалуется историк, — движение народонаселения на востоке Польши. Известно, что на протяжении всего средневековья состояние пограничной полосы между Польшей и Русью колебалось на всем пространстве... вплоть до Червоной Руси. Незначительное передвижение политической границы Руси к западу... не отразилось, однако, на характере народонаселения»²³. По этому вопросу есть и еще одно замечание: «...между густым и вполне определившимся восточно- или западнославянским заселением, несомненно, существовала широкая полоса смешанного заселения»²⁴. Однако конкретные границы различных типов заселения не определяют.

Суммируем эти взгляды на проблему отношения границы Польши с Русью к восточной границе сандомирского воеводства следующим высказыванием: «На позднейшую границу сандомирской области с восточнославянскими землями нельзя смотреть как на границу племенную»²⁵.

Такими, в основном, сведениями мы располагаем по интересующему нас вопросу о границах Польши в эпоху племенных отношений и в более позднее время. Констатируя передвижения восточной границы Польши, изменчивость ее и неизученность для разных веков, следует признать, что восточная граница мазурения на многих своих участках приближается к восточной границе старого Сандомирского и позднейшего Любельского воеводства.

По изложенным причинам мы не считаем возможным относить эту языковую границу непосредственно к племенной эпохе (до X в.); какие же

¹⁸ S. Arnold, *Podziały administracyjne...*, стр. 59.

¹⁹ Там же, стр. 59—60.

²⁰ Там же, стр. 59.

²¹ S. M. Kuczyński, указ. соч., стр. 232.

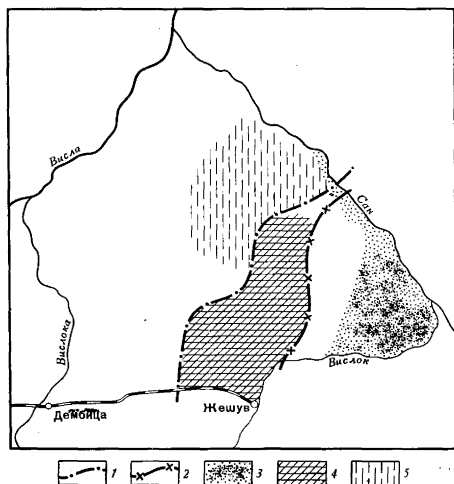
²² Там же.

²³ J. Natanson-Leski, указ. соч., стр. 147.

²⁴ S. M. Kuczyński, указ. соч., стр. 234.

²⁵ J. Natanson-Leski, указ. соч., стр. 207.

факторы могли вызвать относительное совпадение названной административной границы с восточной границей мазурения? Необходимо осветить и причины несовпадения обеих границ на некоторых участках. Нужно также рассмотреть отношение границы мазурения к границам других языковых явлений, пришедших с Мазовии в Малую Польшу, что поможет отчасти разобраться в концепции мазовецкого пачала мазурения. Названные вопросы будут рассмотрены на диалектном материале территории между Саном и Вислоком (см. карту 1).



Карта 1

1) восточная граница Сандомирского воеводства; 2) восточная граница мазурения; 3) территория наиболее раннего заселения (до XIV—XV вв.); 4) территория заселения в XVI в.; 5) центр Сандомирской Пущи, колонизированный в XVII в.

Расхождение между названной выше границей административной и языковой границей на рассматриваемом участке невелико; можно было бы (как это обычно делается) предположить, что распространение мазурения далее на восток является следствием позднейшей экспансии языкового явления за пределы первоначальной границы; однако возможна другая интерпретация, более согласующаяся с историей заселения этих земель

Карта 1 основана на материале исторических и лингвистических трудов. Из приведенных выше исторических работ, и прежде всего из работы Ф. Персовского, почерпнуты данные, позволяющие определить (с некоторым упрощением) территории, колонизируемые в разные периоды. По понятным причинам ранее всего был колонизирован треугольник между Саном и Вислоком. На карте Персовского мы найдем много деревень, считающихся заложенными до XIV в. и в XV в. В том, что на запад от этого рано заселенного пространства в XV в. не было густого заселения, убеждают карта Персовского, работа Т. Ладенбергера²⁶, частично труды

²⁶ T. L adenberger, *Zaludnienie Polski na początku panowania Kazimierza Wielkiego* (z mapą), Lwów, 1930.

М. Добровольской²⁷. Заселение территории, расположенной на восток от земель, колонизированных ранее других, происходит в XVI в.²⁸ (на карте 1 эта площадь заштрихована). Ее население в языковом отношении во многом отличается от говора немазуракающих деревень в районе Сан — Вислок. Это население, появившееся в XVI в., мазурекает, прежние *ō* и *u* здесь совпали (у соседей на востоке до сих пор сохраняется *ū*), до сегодняшнего дня наблюдаются остатки перехода $x > k$ ²⁹; в некоторых деревнях нет носовых гласных³⁰. Эти явления, также как и сведения о заселении, недвусмысленно свидетельствуют о происхождении этого населения, которое в XVI в. вторглось в полосу между старым поселением и восточной границей Сандомирского воеводства. Оно не могло прийти из центра Сандомирской Пуци, так как там в XVI в. было пустынное место, по той же причине не могло оно прийти из-за Сана. Не могло оно появиться и из слишком удаленных южных областей; языковые черты (прежде всего отсутствие носовых гласных) связывают его с территорией поселений на линии Дембица — Жешув.

Остается еще ответить на вопрос: почему поселенцы, вклинившиеся в XVI в. между немазуракающими деревнями и Сандомирской Пуцей, не нарушили эту административную границу (которая, видимо, проходила тогда по краю пустынных земель) и только дошли до нее. На этот вопрос придется ответить гипотезой: возможно, эта граница, пролегающая через леса и болота, шла приблизительно по тем местам, которые оказались наиболее легко доступными для поселенцев: на запад от нее находились более трудный для заселения, безлюдный до XVII в., центр Сандомирской Пуци, что естественным образом определило область второй волны заселения, идущей с юго-востока, и еще раз подчеркнуло важность этой границы.

Колонизация самого центра Сандомирской Пуци происходила, в основном, в XVII в. и даже позднее. Большинство языковых черт, выступающих у поселенцев, занимающих в XVII и XVIII вв. центр Сандомирской Пуци, достигает восточной границы Сандомирского воеводства.

Карта 2 показывает, что до этой границы простираются следующие явления: более широкое произношение переднего носового гласного *ą*: *tądy* («tędy»); произношение *tygo*, *tanigo* («tego, taniego»); произношение *e* перед носовым согласным как *a*: *tan* («ten»). В тех же деревнях центральной части Сандомирской Пуци выступает твердое произношение *śf*, *ćf*, (*śfat*, *ćferć*, *ńeźveć*), считающееся также типично мазовецкой чертой.

Заселенный в XVII в. и даже в XVIII в. центр Сандомирской Пуци отличается от соседних говоров большим количеством специфических языковых черт. Несколько этих черт, считающихся мазовецкими, представлены на карте, которая показывает несомненную связь географии этих явлений с восточной границей мазурения.

Кроме названных черт, которые попали в глубь Сандомирской Пуци вместе с колонистами, в Малую Польшу (и в ее составе на территорию между Вислой и Саном) пришла волна мазовецких черт, охвативших теперь большие пространства Малой Польши и Любелящины. Среди них имеются черты, занимающие важное место в характеристике польских диалектов. Таковыми являются: оглушение на границе слова; твердое

²⁷ M. Dobrowolska, Osadnictwo Puszczy Sandomierskiej między Wisłą i Sanem, Kraków, 1931; ее же, Przemiany środowiska geograficznego Polski, Warszawa, 1964.

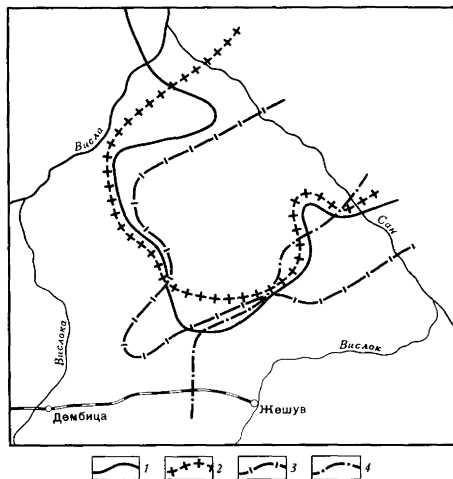
²⁸ Ср.: F. Persowski, указ. соч., карта; M. Dobrowolska, Przemiany..., стр. 122.

²⁹ Ср.: J. Wójtowicz, Jeszcze o przejściu -xw-k, JP, XLIII, 1—2, 1963, стр. 83.

³⁰ Ср.: J. Wójtowicz, Charakterystyka fonetyczna gwar między Wisłą, Sanem, Wisłokiem i Wiśłoką, Wrocław, 1966, стр. 105—106.

произношение типа *lypa*, *lyść*; твердое произношение группы *śf* в слове *śfyła*; твердое произношение окончания творительного падежа множественного числа *rekaty*, *pagaty*; окончание *-ta* в глаголах, например: *rōbta*, *chodźta* (см. карту 3).

Видимо, следует допустить, что эти черты, занимающие в настоящее время большую территорию, пришли из Мазовии не путем колонизации (историки не дают нам сведений о столь широкой волне заселения, идущей из Мазовии в Малую Польшу), а путем влияния одних говоров на другие.



Карта 2

1) широкое произношение переднего носового гласного; 2) переход *e* в *a* перед носовыми согласными; 3) произношение *tygo*, *tanigo*; 4) восточная граница Сандомирского воеводства

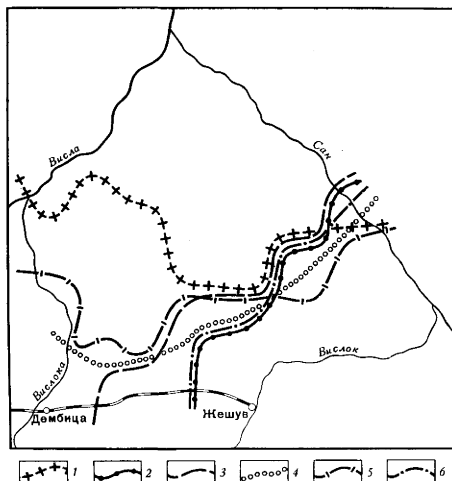
К. Нич в своей работе «Что мы в действительности знаем о народных диалектах XVI в.» говорит о существовании мазовецкой экспансии, которая, по его мнению, имела место тогда, «...когда началась экспансия многолюдной Мазовии, на этот раз вверх по Висле. Поскольку это произошло до первой половины XV в., то время упомянутых здесь мазовизмов можно определить приблизительно как 1450—1470 гг.»³¹. Впрочем пути проникновения мазовецких черт в Малую Польшу не являются предметом этой статьи.

Говоря о постепенном заселении территории между Вислой и Саном, мы подчеркнули, что все мазовецкие черты, в том числе и те, которые проникли туда в XVII в. (карта 2), как и другие мазовецкие черты с большой территорией распространения (карта 3), явно задержались на восточной границе Сандомирского воеводства. К. Нич сомневался в том, что граница, которую он считал племенной, могла в XVI в. явиться преградой для распространяющегося (по Ташицкому — только начиная с этого времени) мазурия: «...если бы это было даже так, — пишет Нич, — то мой вопрос

³¹ K. Nitsch, Co wiemy..., стр. 391.

остаётся в силе, а именно: почему охватившее в XVI в. Малую Польшу мазурение остановилось точно на этой границе? Ведь в данное время она уже не была живой границей; по обе ее стороны находилось одно и то же население, с одинаковой традицией, одинаково организованное в общественном и административном отношении»³².

Обращаясь к географии мазовецких черт, следует расширить этот вопрос: почему на этой границе остановились и другие черты, мазовецкий характер и позднее распространение которых в Сандомирской Пуще



Карта 3

- 1) южная граница оглушения на стыке слов; 2) восточная граница твердого произношения *lyra, lyst*; 3) южная граница твердого произношения окончания творительного падежа множественного числа *-tu*; 4) южная граница произношения *šyina*; 5) южная граница окончания множественного числа *-ta: chodźta, rōbta*; 6) восточная граница Сандомирского воеводства

не оспаривается, а именно: оглушение на стыке слов, твердое произношение окончания творительного падежа множественного числа и др. (см. карты 2 и 3)? Почему на этой границе остановились черты, наблюдаемые теперь в центре Сандомирской Пущи, колонизированном только в XVII в.? Оказывается, что эта граница все же играла некоторую роль даже в такой поздний период.

Несогласным с историей упрощением было бы утверждение, что она тогда еще играла свою роль в качестве административной границы. Она играла эту роль на упомянутом нами отрезке, ибо по обе ее стороны осаживалось население из различных потоков колонизации; в период, когда по ее левую сторону тянулась непроходимая чаща и безлюдные болота, на ее восточной стороне укрепилась столь самобытная диалектная система, что позднейшие поселенцы, идущие из Любельщины или Мазовии, не смогли нарушить эту систему, и черты этих говоров дошли до тех мест, до кото-

³² Там же.

рых дошли и эти поселенцы, т. е. до тех мест, где в XVII в. были незаселенные территории. Не исключено также, что население по обе стороны этой границы не охватывалось идентичным общественным и административным строем, так как здесь были представлены различные типы собственности: королевская и частная.

География мазовецких диалектных черт, проникающих, очевидно, в различные периоды на упомянутую территорию, проясняет следующие связи фактов истории колонизации и фактов языка на пространстве между Вислой и Саном:

I. Район наиболее древнего заселения с XIV, XV вв. в треугольнике Сан — Вислок не мазурекает и не имеет никаких черт, которые можно было бы отнести к мазовецкой экспансии. Отсутствие мазурения можно здесь считать периферийным архаизмом.

II. Район, колонизированный в XVI в. с юга и запада, мазурекает, но других мазовецких черт в основном не имеет. Для сторонников мазовецкого происхождения мазурения этот район, мазурекающий и не обладающий другими мазовецкими чертами, может служить убедительным доказательством большой активности мазурения как явления, упрощающего языковую систему.

III. Центр Сандомирской Пуци, колонизированный в XVII в. и позднее, мазурекает и имеет больше всего мазовецких черт. После выхода «Атласа Люблинских говоров» можно будет установить связи колонизации центра Сандомирской Пуци с Любельщиной или Мазовией. Эта колонизация, несомненно, играла тут двойную роль: она внесла много мазовецких черт (см. карту 2) и укрепила на рассматриваемой территории другие мазовизмы (как это показано на карте 3), которые дошли сюда от Вислы, от северной части Малой Польши, видимо, перед колонизацией центра Пуци. Среди этих черт, распространившихся в Малой Польше из Мазовии, могло быть также мазурение. Во всяком случае, этой концепции не противоречит география мазовецких черт между Вислой и Саном, а также совпадение распространения этих черт с восточной границей Сандомирского воеводства. Перефразировав приведенные ранее слова Т. Милевского, можно сказать, что существуют факты, подтверждающие возможность возникновения совпадений между старой исторической границей и границами появившихся позднее языковых явлений. Эти факты мы старались показать в данной статье.

Перевела с польского А. А. Дзалева

Ю. С. МАСЛОВ

ОБ ОСНОВНЫХ И ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ЯРУСАХ
В СТРУКТУРЕ ЯЗЫКА

Проблема стратификации языковой структуры является одной из важнейших теоретических проблем языкознания. Разумеется, установление «вертикальной» иерархии языковых единиц есть лишь одно из направлений в исследовании многомерной структуры языка. Оно не исключает, а, напротив, предполагает и другие направления структурного исследования, в частности в плане соотношения языковых инвариантов, языковых вариантов и речевых реализаций рассматриваемых единиц¹; в плане соотношения выражения и содержания, значения и «значимости» (*valeur*); в плане структуры семантических оппозиций и т. д. При установлении вертикальной иерархии нельзя игнорировать и переходные, смешанные и периферийные явления. Если иногда, рассуждая об уровнях, или ярусах языковой структуры (в дальнейшем мы предпочитаем термин «ярус» как менее многозначный), или о соответствующих уровнях лингвистического исследования, некоторые авторы слишком настаивали на их «сепарации», это вытекало из тех или иных особенностей подхода этих авторов², а не из специфики самой проблемы, существо которой как раз и состоит в изучении живого систематического взаимодействия ярусов. Наконец, если теория ярусов до сих пор разрабатывается применительно главным образом к линейным, сегментным единицам языка, то это не значит, что она органически связана с недооценкой значений (не выстраивающихся, как известно, в линейную последовательность), или с недооценкой супrasegmentных явлений плана выражения.

Выделение по крайней мере таких классов элементов языковой структуры, как предложение (вернее, его структурная и интонационная модель), слово, морфема (и ее супrasegmentные эквиваленты), фонема (и ее супrasegmentные аналоги), дифференциальный признак фонемы («меризм») является сейчас более или менее общепризнанным, хотя, конечно, о каждой из этих единиц существуют разноречивые мнения. Некоторыми языковедами выделяется еще семема (семантический минимум, семантический множитель и т. д.) как субморфемная единица плана содержания³.

¹ Языковые варианты («аллолексемы», «алломорфемы», «аллофонемы» и т. п.) следует четко отграничивать от экземпляров речевой реализации («лексов», «морфов», «фонов»). В связи с применяемой здесь терминологией см.: E. Pulgram, *A proposal: allophoneme, allomorpheme*, «General linguistics», V, 2, 1961, стр. 72—74. В нашем понимании понятие языкового варианта («аллоэмы») охватывает, применительно к значащим единицам, как случаи «экспонентного», так и случаи семантического варьирования (т. е. варьирования как «означающего», так и «означаемого»).

² Сепарация ярусов типична для классического дескриптивизма, но сейчас она успешно преодолевается. См., в частности: S. Lamb, *Outline of stratificational grammar*, Washington, 1966.

³ Впервые семеме (под названием «сема») выделил, как известно, Вл. Скаличка (см.: V. Skalická, *Zur ungarischen Grammatik*, Praha, 1935, стр. 13). Из более поздних работ см., в частности: C. L. Ebeling, *Linguistic units*, 's-Gravenhage, 1960, стр. 83—101.

Мы назовем ярусы, соответствующие перечисленным классам единиц, основными ярусами (причем ярус семем мыслится как иерархически равноценный ярусу фонем и ярусу «меризмов», как бы расположенный рядом, но не соприкасающийся с ними). Однако один из основных ярусов, ярус слов, представляется правильным разделить на два отдельных яруса, соответственно двум важнейшим концепциям слова. Терминологически эти ярусы можно было бы обозначить как «ярус лексем» (верхний) и «ярус глоссем» (нижний).

Ярус лексем охватил бы, во-первых, все «знаменательные слова», включая их аналитические формы и формы с отделенными, дистантно расположенными компонентами, вроде нем. *steh... auf* «встань», а, во-вторых, фразеологические сочетания, функционально эквивалентные слову, составные термины и т. д. Критерием лексемы следовало бы считать ее синтаксическую монолитность во всех формах (во всех аллолексемах)⁴: *буду писать, в дождь, более крепкий*. столь же неделимы на члены предложения, как и *пишу, дом, крепкий*, а в *железная дорога, белая ночь*, хотя формально и выделяются определение и определяемое, подчиненный компонент либо совсем неспособен к самостоятельному распространению посредством другого слова, либо такое распространение (*мутно белые ночи*) ведет к распаду фразеологизма. Вероятно, к ярусу лексем следовало бы отнести и те служебные слова, которые затруднительно включить в состав аналитических форм какого-либо знаменательного слова, например, в русском языке союзы, вопросительную частицу *ли* и т. п. Критерием отнесения этих элементов к лексемам была бы их «остаточная вычленимость»: они образуют в предложении некий остаток, когда из него выделены все члены предложения и все аналогичные им единицы (вводные слова, обращения и т. п.).

Ярус глоссем охватил бы только синтетические формы знаменательных и служебных слов, т. е. только формы, неделимые на дистантно располагаемые и «раздельнооформленные» части. Глоссема или, если речь идет об изменяемой глоссеме, ее формы (грамматические аллоглоссем) обладают подвижностью в предложении, неограниченной линейной отделимостью от соседних глоссем, переставимостью относительно других глоссем, но сама глоссема ни в одной из своих форм не может быть разорвана вставкой другой глоссем. Глоссемами являются, в частности, и сложные слова, компоненты которых нераздвигаемы и непереставляемы (*железнодорожный* и т. п.), но, например, *aufstehen* есть сочетание двух глоссем. Будучи последовательными, мы должны признать отдельными глоссемами не только служебные слова в обычном смысле (предлоги, артикли, вспомогательные глаголы и т. д.), но и такие элементы, как формант *s* в possessive case английского и некоторых других германских языков (*the man's son — the man I saw yesterday's son*), причем, разумеется, и в тех случаях, когда он находится в контактной позиции. Таким образом, *the man's son* есть сочетание четырех глоссем, объединяемых в две лексемы: *the man's* (аллолексема, т. е. словоформа лексемы *man*) и *son*.

Иной характер носят случаи типа *право- и левобережный, до- и послевоенный*: здесь элементы *право-, до-* выступают как сокращенные репрезентанты лексемы (и глоссем) в контексте, благоприятствующем эллипсу, как речевые, контекстно обусловленные сокращения полной лексемы (и глоссем), и это не свидетельствует о распаде данной полной единицы на две глоссем (*право* и *бережный*). Сходным образом должны трактоваться и типичные для агглютинативных языков случаи «вынесе-

⁴ См. выше, примеч. 1. В данном случае имеются в виду грамматические аллолексем (т. е. словоформы).

ния за скобку» грамматического показателя однородных членов предложения вроде турецк. *Herşey kimildiıyor, sendeliyor ve güliüyordu* «Все двигалось, кишело и смеялось». Здесь *-du*, хотя и относится ко всем трем глаголам, не превращается в отдельную глоссема, как не получает статуса отдельной глоссеммы и предшествующая часть глагольной словоформы.

Предлагаемое разделение яруса слов на лексемный и глоссемный ярусы в общем соответствует требованиям некоторых авторов не объединять в одном понятии разные концепции слова⁵. Конечно, во всех тех случаях, когда имеется в виду как лексема, так и глоссема, старый термин «слово» вполне применим.

Лексема и глоссема как единицам, выделяемым в «лексическом измерении», в другом, «грамматическом измерении», соответствует грамматическая (морфологическая) категория, объединяющая грамматические аллолексеммы (и аллоглоссеммы) не по тождеству лексических, а по тождеству и противопоставленности их грамматических значений. Можно было бы, следовательно, говорить, если угодно, о ярусе или двух ярусах грамматических категорий слова. Но для таких ярусов нельзя было бы найти места в общей иерархии: грамматические категории, очевидно, мыслятся, не как лежащие над или под лексемами и глоссемами, или между ними, а как лежащие в другой плоскости, как бы перпендикулярно к основной иерархической оси. Разумеется, в пределах грамматического измерения есть своя иерархия, и в частности, «ярус синтетически выраженных грамматических категорий» (соответствующий глоссемам) лежит ниже «яруса любых грамматических категорий слова» (соответствующего лексемам)⁶. В дальнейшем мы не будем возвращаться снова к этим грамматическим ярусам.

Основные ярусы можно определить как ярусы м и н и м а л ь н ы х, т. е. с той или иной точки зрения д а л е е н е д е л и м ы х е д и н и ц з ы к а⁷: предложение — наименьшая коммуникативная единица, минимум «законченной мысли», минимум целостного сообщения; лексема — единица, способная выступать как минимальный синтаксически неделимый компонент предложения; глоссема — наименьшая единица, обладающая подвижностью в предложении; морфема — наименьшая значащая (двусторонняя) единица, минимальный «знак-информатор», далее неделимый, «поскольку мы не будем отвлекаться от значения»⁸. Ниже морфемы мы уже имеем дело с односторонними единицами: в плане содержания с семемой — минимальной единицей смысла, а в плане выражения с фонемой — наименьшей линейной единицей, выполняющей в рамках экспонента знаков-информаторов конститутивную и дистинктивную функцию, и с

⁵ См., в частности, в советском языкознании: И. М. Т р о н с к и й, Несколько замечаний о границах слова и его структуре, сб. «Морфологическая структура слова в языках различных типов», М.—Л., 1963, стр. 222 и сл.; С. Е. Я х о н т о в, О значении термина «слово», там же, стр. 165 и сл.; А. А. Л е о н т ь е в, О понятии формально-грамматического слова (на материале немецкого языка), сб. «Проблемы морфологического строя германских языков», М., 1963, стр. 48 и сл.

⁶ Например, в русском языке категория падежа состояла бы в рамках нижнего грамматического яруса из шести граммем, а в рамках верхнего включала бы еще и множество аналитических падежных граммем, которые можно было бы, если угодно, назвать «инассивом» (*в столе*), «аблативом» (*из стола*), «аллативом» (*к столу*) и т. д. В английском языке категория времени в рамках нижнего яруса состояла бы из двух граммем — Present и Past Indefinite, — а в рамках верхнего яруса — из значительно большего числа граммем, и т. д.

⁷ См.: Л. В. Щ е р б а, О дальне неделимых единицах языка, ВЯ, 1962, 2, стр. 99—101. Эта статья, относящаяся к раннему периоду творчества Л. В. Щербы и оставшаяся незаконченной, имеет тем не менее очень важное значение для разработки теории ярусов языковой структуры.

⁸ Л. В. Щ е р б а, указ. соч., стр. 100.

«меризмом» — минимальным лингвистически релевантным артикуляторно-акустическим признаком фонемы.

Не подлежит сомнению, что различия между единицами разных ярусов носят качественные, функциональный характер и что эти различия полностью сохраняются и в тех нередких случаях, когда единица высшего яруса линейно совпадает с единицей низшего яруса, т. е. вмещает только одну единицу низшего яруса. Вместе с тем в соотношениях ярусов есть и определенная количественная, «габаритная» сторона: сегментная единица высшего яруса (если только это не единица с нулевым экспонентом) не может быть линейно меньше (короче в речевой цепи) сегментной единицы любого низшего яруса и не может вмещать не целое число таких единиц. Иными словами, она всегда линейно содержит в себе целое число сегментных единиц каждого низшего яруса⁹.

Выдвинув этот тезис, мы должны рассмотреть некоторые специальные случаи, которые могут представляться исключениями. Во-первых, это недосказанные, оборванные на полуслове предложения. Они часто встречаются в речи, но их недосказанность, конечно, не может считаться принадлежащей системе языка. Во-вторых, это случаи гаплогогии и фузии, т. е. случаи «поглощения» и «слияния» частей морфем на морфемных стыках. Но эти случаи полностью укладываются в рамки чередований тех или иных фонем с нулем или с другими фонемами, и по существу не требуют ни проведения морфемной границы («внутри фонемы» (в середине фонемного сегмента), ни оперирования дробными долями морфем в системе словоформы. Так, члена на морфеме русский инфинитив *печь*, не стоит «делить» /ѣ/ между двумя морфемами, а следует или целиком отнести его к корню (признав, что показателем инфинитива является здесь нуль), или, если угодно, считать его — опять-таки целиком — морфемой (вариантом морфемы) инфинитива (а для корня принимать чередование последнего согласного с нулем). Единственное подлинное исключение — это аббревиатуры, которые состояются из условных кусков слов, не обязательно вмещающих целое число морфем (и даже из названий букв, графически репрезентирующих компоненты сложносокращенного наименования). Но это — совершенно особый случай, требующий специальной оговорки.

Практически при описании языка лингвисты широко пользуются, помимо единиц основных ярусов, и многими другими единицами. Некоторые из этих единиц, по существу, являются односторонними и относятся только к плану выражения. Они могут составить свою обособленную иерархию, продолжающую вверх линию «меризм» — фонема. Таковы слог и такт (или, у Ч. Хоккета, слог — микросегмент — макросегмент)¹⁰. Конечно, эти «чисто-фонетические» единицы в какой-то степени соотносятся с ярусами единиц двусторонних, но только в самом общем и приближительном смысле и к тому же — очень по-разному в разных языках¹¹.

⁹ Сформулированный сейчас принцип несколько отличается от принципа «безотаточной членности высказывания» (total accountability), выдвинутого дескриптивистами — фактически уже Л. Блумфилдом (см.: L. Bloomfield, *Language*, New York, 1933, стр. 162), а в более прямой форме Ч. Хоккетом (см.: Ch. F. Hockett, *Problems of morphemic analysis*, «Language», 23, 1947, стр. 332).

¹⁰ См.: Ch. F. Hockett, *Linguistic elements and their relations*, «Language», 37, 1961, стр. 36 и сл.

¹¹ Ср.: А. А. Реформатский, К вопросу о фоно-морфологической делиматации слова, сб. «Морфологическая структура слова в языках различных типов», М.—Л., 1963, стр. 65—66. Интересную попытку включить слог в общую иерархию языковых единиц предпринимает И. Ф. Вардуль (см.: И. Ф. Вардуль, Ярусы языковой системы и универсалии, «Конференция по проблемам изучения универсальных и ареальных свойств языков. Тезисы докладов», М., 1966, стр. 18—21).

Мы не будем касаться их в дальнейшем изложении. Другие единицы, выделяемые, помимо основных, в ходе лингвистического анализа, являются двусторонними и многие из них хорошо включаются в общую иерархию ярусов языковой структуры, отчасти в качестве единиц, более высоких, чем предложение («период», «сложное синтаксическое целое» и т. д.)¹², а главным образом в качестве единиц промежуточных ярусов. На рассмотрении этих последних мы сосредоточим свое внимание.

Представляется целесообразным выделить следующие промежуточные ярусы: а) по меньшей мере два промежуточных синтаксических яруса — между предложением и лексемой; б) несколько промежуточных морфологических ярусов, или ярусов основ и формантов — между словом (лексемой и глоссемой) и морфемой; в) морфологический ярус — между морфемой и фонемой. Единицы промежуточных ярусов не имеют пока какого-либо общего обозначения. Мы назовем их т е м а м и (др.-греч. τμήμα «часть»; здесь имеется в виду «часть, компонент единицы вышестоящего основного яруса»). Обоснование вводимого термина будет дано ниже. Поскольку мы подробнее говорили о слове, обзор тем удобнее начать с того, что стоит ближе к слову, т. е. с его компонентов — основы и форманта.

Основу некоторые авторы запросто зачисляют в разряд морфем. Но такая практика явно противоречит самому определению морфемы как минимальной, далее неразложимой значащей единицы языка. Ведь в понятие основы, как известно, не входит признак минимальности, неразложимости. Очевидно, понятие основы, если оно сохраняется как единое понятие, лежит в иной плоскости, чем понятие морфемы, относится к другому, надморфемному ярусу языковой структуры. То же самое следует сказать и о форманте, часто, но не обязательно вмещающем одну морфему. Отметим, что основа и формант могут быть выделены либо в качестве компонентов лексемы, либо в качестве компонентов глоссы. Соответственно мы говорим о лексотемах и глоссотемах. Так, в английской аналитической форме *had worked* мы имеем следующие глоссотемы: две основы, в орфографической записи *ha-* и *work-* (основы, соответственно, вспомогательного и «знаменательного» глагола), и два форманта — *-d* и *-ed*. Но при анализе по лексотемам получаем иное: одну основу *work-* (общую всем синтетическим и аналитическим формам глагола *to work*) и один сложный формант *ha-d...-ed*, в составе которого *ha-*...*-ed* выражает перфектность (ср. *has worked, to have worked* и т. п.), а *-d* — прошедшее время. Далее основа и форманты могут быть выделены либо с учетом словоизменительного варьирования лексемы или глоссы, либо по отношению к их словообразовательной структуре. В первом случае мы получаем формообразующую основу¹³ и форманты отдельных форм, во втором — производящую словообразовательную основу и словообразовательный формант, в совокупности составляющие основу данной лексемы или глоссы.

Переходим к синтаксическим промежуточным ярусам. Если такие рассмотренные выше единицы, как лексема, глоссема, основа, формант обладают устойчивым или относительно устойчивым (варьирующимся лишь в строго определенных пределах) фонемным составом, то все синтаксиче-

¹² Впрочем некоторые лингвисты отрицают возможность выделения языковых ярусов, лежащих выше предложения. Так, по мнению Э. Бенвениста, все, что выше предложения, относится уже только к области речи. См.: Э. Бенвенист, Уровни лингвистического анализа, «Новое в лингвистике», IV, М., 1965, стр. 442 и 445—448.

¹³ Иногда — несколько формообразующих основ для отдельных групп форм (например, в славянском и индоевропейском спряжении), из которых лишь в результате дальнейшего анализа может быть выделена (кроме случаев супплетивности) общая формообразующая основа данной лексемы или глоссы.

ские единицы выступают в плане языка лишь как модели (структурные, структурно-интонационные, структурно-позиционные), т. е. несут, так сказать, алгебраический характер. Это в равной мере относится и к предложению, и к единицам промежуточных синтаксических уровней, компонентам предложений — ф р а з о т м е м а м.

Фразотемами нижнего яруса являются классические члены предложения с их подразделениями (такими, например, как глагольное и именное сказуемое, прямое и косвенное дополнение, согласуемое и несогласуемое определение, обстоятельство места, времени, образа действия и т. д.) и вставные элементы предложения, включаемые в него позиционно и интонационно — обращения, вводные слова и т. д. Фразотемы верхнего яруса — это шахматовские «составы» — господствующий и зависимый, это «непосредственно составляющие предложения» в концепциях дескриптивистов, наконец, при ином подходе, это «данное» и «новое» (тема и рема) в концепциях актуального членения предложения. Здесь важно указать еще на одно противопоставление, логически не зависящее от только что перечисленных (как и они не зависят от него и друг от друга) — на противопоставление «ядра» и «неядра» предложения. Грубо говоря, ядро — это главные, а неядро — второстепенные члены предложения, а точнее — ядро, или, если угодно, «конфигурация» охватывает структурно необходимые, обязательные компоненты модели, неядро — ее факультативные, потенциальные компоненты, ее возможные «распространения», наконец, то, что в структурных формулах предложения заключают в скобки и что создает частные варианты модели. Как основы и форманты могут вешать по одной морфеме или по несколько морфем, так и фразотемы (нижнего и верхнего яруса) могут реализоваться в одной словоформе (форме одной лексемы или глоссемы) или в некотором сочетании словоформ, в частности и в виде целого предложения — придаточного того или иного типа или вводного, в свою очередь членящегося на фразотемы.

К промежуточным единицам, стоящим между предложением и словом, очевидно, нужно отнести и свободное словосочетание. Но как ни толковать словосочетание, мы вынуждены будем признать, что это единица особая, не находящая себе вполне определенного места в иерархической последовательности выделенных фразотем.

По существу характер синтаксических единиц, стоящих (хотя и в несколько другом смысле) между словом и предложением, имеют также инкорпоративные комплексы «полисинтетических» языков и аналогичные им в некоторой мере окказиональные композиты вроде нем. *Faustbeispiel*, *Hamletzitat* или русск. *двадцатидвухметровый* (явление «синтаксического основосложения»). Промежуточность подобных образований заключается в том, что внешне, по своему построению («цельнооформленности» и т. п.) они или совпадают, или сближаются с лексемами (и даже глоссемами), а функционально соответствуют свободным словосочетаниям (*Beispiel aus Faust*, *длиной в 22 метра* и т. д.) и даже — в языках с развитой инкорпорацией — целым предложениям. Думается, однако, что такого рода образования не составляют отдельного промежуточного яруса языковой структуры, а скорее должны рассматриваться как смешанный, переходный тип, в котором своеобразно совмещены черты двух различных ярусов.

Перейдем из области синтаксиса в сферу морфонологии. Между ярусом морфем и ярусом фоном пролегает наиболее глубокий рубеж в структуре языка, более глубокий, чем между любыми двумя другими ярусами. И все-таки даже здесь, на границе значащих, двусторонних единиц языка, включающих семантический компонент — семему и единиц односторонних, только конститутивных и дистинктивных, на границе, разделяющей знаки-информаторы, или собственно знаки, и «знаки-дистинкторы», или.

по Л. Ельмслеву, «фигуры», также лежат промежуточные, переходные явления.

Так, во многих случаях фонемных чередований мы встречаемся в рамках экспонента морфемы с более короткими сегментами, не чисто дистриктивными, а обнаруживающими некоторую степень семантизации, однако настолько слабую, близкую к нулю, что их невозможно признать экспонентами отдельных морфем. Например, при сравнении аллоэкспонентов корневой морфемы *рук-* в современном русском языке мы можем выделить в них «постоянный сегмент» или «(pars) communis /g/ и «(partes) propriae»¹⁴ /k/, скажем, в *рука, руку, /k'/ (руке, руки) и /č/ (ручной, вручить и т. д.)*, в совокупности образующие «переменный сегмент» в рамках экспонента данной морфемы. Переменный сегмент представлен рядом чередующихся фонем, или «морфемой», или «альтернативой» /k ~ k' ~ č/¹⁵. Отдельные *propriae* несомненно в какой-то мере ассоциируются здесь с определенными образованиями (например, /č/ — с различными производными от *рука, /k'/* — с определенными падежно-числовыми формами этого слова), а, значит, в известной мере семантизуются, хотя и не в такой мере, чтобы можно было говорить о «внутренней флексии», а тем менее о распадении морфемы *рук-* на «меньшие» морфемы *ру-* и *-к-*. Перед нами здесь единая морфема, однако ее экспонент составлен из двух частей, из двух м о р ф о т м е м.

Иначе обстоит дело, когда чередование фонем получает вполне четкую грамматическую функцию и тем самым превращается во внутреннюю флексию индоевропейского или семитского типа. Тогда оно либо становится в индоевропейских языках супрасегментным эквивалентом морфемы — супрасегментным в том смысле, что по времени реализации этот эквивалент совпадает с частью сегментной морфемы, либо же *communis* и *propriae* действительно превращаются в разные сегментные морфемы. Последняя трактовка издавна принята в семитологии, различающей «корень» и «схему» (или, пользуясь термином И. А. Мельчука, «трансфикс») ¹⁶. Конечно, между перечисленными возможностями нет глухих перегородок, и в тех или иных случаях чередований можно спорить, имеем ли мы дело с морфотемами, супрасегментными эквивалентами морфем или сегментными морфемами.

Помимо более или менее регулярных морфотем, к морфонологическому промежуточному ярусу принадлежат и некоторые спорадические и периферийные явления. Например, говоря о таких частично сходных по звучанию и по значению словах, как нем. *Gipfel* и *Wipfel*, или русск. *ноготь* и *коготь*, мы, с одной стороны, должны выделить части *g-*, *w-* и *-ipfel* и /n-/ , /k-/ и /-bogat'/ соответственно, но, с другой стороны, вряд ли можем приписать этим частям статус морфем.

Однако, по-видимому, не являются единицами промежуточного морфонологического яруса так называемые «пустые морфы». При том широком понимании языкового значения, которое принято сейчас многими лингвистами, этим «морфам» нельзя отказать в значении, только значение у них — специфическое. Речь идет о единицах — носителях парадигматической информации (например, показателях деклинационных или конъюгационных разрядов, вроде /-o-/ в *несешь* или /-i-/ в *стоишь*), о единицах — показателях связи (например, о подлинных интерфиксах, или со-

¹⁴ Ср.: R. S. Wells, Automatic alternation, «Language», 25, 1949, стр. 104—105.

¹⁵ То, что фонемное чередование /k/ ~ /k'/ в этом примере «живое» (в отличие, например, от *тку ~ ткешь*), а /k/ ~ /č/ — «историческое», в данной связи не играет роли.

¹⁶ Ср.: И. А. Мельчук, О «внутренней флексии» в индоевропейских и семитских языках, ВЯ, 1963, 4, стр. 35 и сл.

единительных морфемах в сложных словах) и т. п., словом, о морфемах, — правда специфических, лежащих, так сказать, на периферии понятия «морфема». Не являются единицами промежуточного яруса и те сегменты, которые А. А. Реформатский называет «радиксоидами» (например, *бужен* - в *буженина*) и «суффиксоидами» (например, *-их* в *женых*)¹⁷. Это тоже несомненные морфемы, только не «рекуррентные», или «мультивалентные», а «резидуальные», или «унивалентные» и тем самым тоже периферийные. Недаром основным выделением унивалентных морфем является соседство с ними, в рамках того же слова или той же основы, какой-либо мультивалентной морфемы (в наших примерах — суффикса *-ин-* и корня *жен-* соответственно).

Принцип целого числа низших сегментных единиц в составе высшей сформулированный на стр. 72, действует и по отношению к единицам промежуточных ярусов. Морфотема всегда линейно вмещает целое число фонем, морфема — целое число морфотем, основа и формант — целое число морфем. Оговорку можно сделать только относительно основ аббревиатур — соответственно сказанному выше. Продвигаясь от глоссотемы вверх, мы встречаемся, однако, и с параллельными классами единиц, классами, не состоящими между собой в иерархических отношениях. Так, и глоссема и лексотема вмещают по целому числу глоссотем, но членение формы лексемы на формы глоссем (например, *had worked* на *had* и *worked*, болг. с *молви* «карандашом» на *с* и *молви*) может совпасть и не совпасть с членением этой формы на лексотемы (в случае с *молви* оно совпадает, в случае с *молви* «карандашами» или *had worked* — нет, причем лексотема-основа содержит лишь часть глоссемной формы, а лексотема-формант — целую глоссемную форму и часть другой глоссемной формы: *с...-и, had...-ed*). Отсюда следует, что между глоссемой и лексотемой нет иерархического соотношения, что они, так сказать, параллельны. Так же и выделенные выше фразотемы верхнего яруса представляют собой параллельные классы: деление на господствующий и зависимый состав принципиально перекрещивается с делением на ядро — неядро, и очень часто не совпадает с делением на данное и новое. В остальном же принцип целого числа низших единиц соблюдается и в верхних ярусах языковой структуры: лексема содержит целое число глоссем и целое число лексотем, фразотема нижнего яруса — целое число лексем, любая фразотема верхнего яруса — целое число фразотем нижнего яруса, предложение — целое число фразотем любого класса.

Теперь уместно поставить вопрос, присущи ли единицам разны х промежуточных ярусов какие-либо о б щ и е функциональные или структурные особенности, отличающие их от единиц основных ярусов.

Если основные ярусы были определены выше как ярусы минимальных, с той или иной точки зрения далее неделимых единиц, то общая характеристика промежуточных ярусов может быть дана по их соотношению с основными ярусами. Для выявления этого соотношения существенно учесть некоторые идеи Э. Бенвениста, хотя французский исследователь имел в виду только ярусы, названные здесь основными. Бенвенист подчеркивал, во-первых, что любая языковая единица (кроме самой низшей — «меризма») содержит в себе конститутивные элементы низшего яруса, и это определяет ее форму, и, во-вторых, что любая языковая единица (кроме самой высшей — предложения) выступает в качестве «интегранта» единицы высшего яруса, и это есть ее значение¹⁸. Нам представляется,

¹⁷ См.: А. А. Реформатский, Что такое структурализм, ВЯ, 1957, 6, стр. 34.

¹⁸ См.: Э. Бенвенист, указ. соч., стр. 438 и сл., а особенно стр. 442—444.

что вместо формы в данном случае точнее говорить о формальной структуре, а вместо значения — о функции^{4 19}. Самый же принцип, согласно которому формальная структура определяется по отношению к нижестоящей, а функция — по отношению к вышестоящей единице, имеет, как нам кажется, громадное значение для теории ярусов в целом и, в особенности, в связи с введением понятия промежуточного яруса. Именно выделение промежуточных ярусов позволяет четче дифференцировать «интегративные» и «конститутивные» отношения между ярусами языковой структуры.

Дело обстоит так, что промежуточные ярусы по-разному соотносятся с ближайшим высшим основным и с ближайшим нижшим основным ярусом.

По отношению к единицам ближайшего высшего основного яруса единицы промежуточного яруса выступают в качестве их специфических функциональных интегрантов, т. е. интегрантов, несущих специфические функции в составе высшей единицы. Именно поэтому промежуточные единицы правомерно обозначить общим термином «тмема», как это было предложено выше. В ряде случаев могут быть выделены тмемы — непосредственные интегранты (непосредственно составляющие) и тмемы — интегранты интегрантов (составляющие непосредственно составляющих). Так, по отношению к предложению мы выделяем фразотмемы двух ярусов, например шахматовские составы и классические члены предложения, по отношению к слову (лексеме или глоссеме) — формообразующую основу и форманты, а в пределах формообразующей основы — производящую основу и словообразовательный формант. Типичной является парная соотносительность тмем в рамках единиц высшего яруса: господствующий и зависимый состав, подлежащее и сказуемое, данное и новое, ядро и неядро, основа и формант, наконец *communis* и *propriae* — соотносительные парные понятия, в какой-то мере взаимно предполагающие друг друга. Функции первой и второй тмемы в каждой такой паре качественно различны, с известной точки зрения даже противоположны, и высшая единица выступает как двуединое целое как некое «единство противоположностей». Особенно справедливо это по отношению к предложению, создаваемому «актом предикации», и к слову, создаваемому, во всяком случае в аффиксирующих языках, «актом оформления основы с помощью формантов». Конечно, есть и предложения, и слова, которые не подпадают, по крайней мере прямо и непосредственно, под действие указанного принципа, но это не подрывает его типичности в процессах порождения предложения и слова.

Рассматривая парную соотносительность тмем, мы замечаем еще одну черту: во многих случаях тмемы противостоят друг другу как постоянная и переменная часть при языковом варьировании данной единицы высшего основного яруса. Среди фразотмем таковы соотношения между ядром и неядром: ядро соответствует инварианту модели предложения, а присоединяемые к нему элементы неядра в совокупности создают все богатство возможных языковых вариантов этой модели. Аналогичны и отношения в рамках слова: формообразующая основа слова выступает как постоянная часть лексемы или глоссемы (часть, неизменная в своем морфемном со-

^{4 19} Это второе уточнение особенно существенно. В качестве интегрантов высших единиц выступают у Бенвениста и единицы, не имеющие значения в общепринятом смысле («меризм» и фонема), и, наоборот, предложение не несет, по Бенвенисту, интегративной функции, но было бы странно отказать предложению в значении. Впрочем Э. Бенвенист и сам отмечает, что понятие значения имеет «еще один аспект» (соотнесенность языкового элемента с «миром объектов» и т. д., см. там же, стр. 444—445), никак не сводимый к интегративной функции.

ставе на протяжении всей парадигмы словоизменения)²⁰, а формант меняется от формы к форме, т. е. оказывается переменным компонентом в составе целого. Так же и внутри экспонента морфемы: *communis* по определению является общей частью всех алловариантов, а *partes propriae* характеризуют отдельные аллоэкспоненты и входят в состав инварианта лишь как абстрактная альтернема, т. е. как величина по определению переменная.

Нужно сказать, что даже там, где (в отличие от рассмотренных выше случаев) нет прямой «бинарности» т.е. например, в области второстепенных членов предложения, мы все равно констатируем, что за отдельными т.е. темами (например, дополнением, определением, обстоятельством, вводным словом, обращением) закреплены специфические функции в составе целого. Одно лишь словосочетание — промежуточная синтаксическая единица, стоящая особняком, не только не входит в бинарные противопоставления, но и оказывается величиной, в функциональном отношении очень неопределенной, не имеющей своего четкого места в структуре предложения.

Что касается соотношения между промежуточными единицами и единицами ближайшего нижестоящего основного яруса, то эти последние единицы никак не являются функциональными интегрантами промежуточных единиц (как и вышестоящих основных единиц), а служат для тех и других всего лишь строительным материалом. Хотя конкретная «фактура» этого материала не безразлична для «постройки» как целого, принцип организации постройки, по существу, не дан, не заложен в материале как таковом.

Так, слова — лишь строительный материал для всех синтаксических единиц, т. е. и для предложений, и для фразотем верхнего и нижнего ярусов; синтаксические единицы реализуются в словах, но не сводятся к сочетаниям (или суммам) слов (лексем, глоссем или их отдельных форм). Именно поэтому формулировки вроде «предложения состоят из слов» очень неточны: при таком способе выражения стирается функциональная специфика предложения, теряется заложенное в нем «движение мысли», да и в чисто формальном плане остаются в тени такие важнейшие супrasegmentные черты предложения, как интонация и порядок слов. То же относится в определенной степени и ко всем фразотемам: фразотема очень часто реализуется в форме одного слова, но специфической интегративной функцией в составе предложения эта фразотема обладает именно как определенная фразотема, а не как слово или форма слова, использованная для ее реализации. Сказать же «предложение состоит из шахматовских составов» или «из данного и нового», «из ядра и неядра», «из членов предложения» не будет неточно, так как здесь функциональная специфика предложения как целого уже предусмотрена функциональной характеристикой соответствующих фразотем (и даже супrasegmentные черты целого в той или иной степени вытекают из соответствующих характеристик отдельных фразотем, — например в ряде языков определенные члены предложения занимают определенные места, данное и новое тоже часто связаны с определенным порядком мест или с интонационным выделением, интонационное выделение характерно для обращений, вводных слов и т. д.).

Аналогичным образом и слово, а также основа и формант слова, все равно, идет ли речь о слове лексемном или глоссемном, и соответственно о лексотемах или глоссотемах, реализуются в морфемах, но не могут

²⁰ Или на протяжении какой-то части парадигмы, если речь идет об «основе группы форм» (см. выше, примеч. 13).

быть сведены к простой сумме соответствующих морфем. Для слова (и для его основы) всегда в той или иной степени характерна идиоматичность, невыводимость или неполная выводимость значения целого из значения частей, узуральная закреплённость значения, порой лишь очень отдаленно соответствующего «морфемному составу» слова или основы. Даже и в чисто формальном плане такая супрасегментная характеристика слова, как место ударения, лишь в некоторых языках выводима из свойств соответствующих морфем. Своего рода идиоматичность характерна не только для слова и основы и не только для составных лексем (фразеологизмов) по сравнению с входящими в них глоссемами, но в ряде случаев и для сложных формантов и, соответственно, для оформляемых ими граммем. Так, значение аналитического перфекта современных романских и германских языков в синхронной плоскости невыводимо из морфемного состава соответствующих формантов. Наконец, и фонемы представляют собой лишь строительный материал для экспонентов морфем и для морфоттем, составляющих эти экспоненты.

Рассматривая темы, как и единицы основных ярусов, с точки зрения их формального состава, мы можем сказать, что все они реализуются в «блоках» нижестоящих единиц, причем в частном случае — в блоках «одноместных», т. е. вмещающих по одной такой (но обязательно целой) единице. И снова, как и в других отношениях, из общей картины выпадает словосочетание: обычно оно понимается как сочетание минимум двух слов, т. е. обязательно представляет собою минимум двухместный блок, единицу, «закрытую снизу», в отличие от всех других единиц в структуре языка.

Резюмируя, мы можем сказать, что интегративные и чисто конститутивные отношения, выделенные в иерархии языковых уровней Э. Бенвенистом, дифференцируются таким образом, что интегративные отношения типичны на отрезке «промежуточный ярус — ближайший вышестоящий основной», а чисто конститутивные — в основном на участке «промежуточный ярус — ближайший нижестоящий основной». В общей форме единица любого промежуточного яруса (тема) может быть, следовательно, определена как специфический интегрант (или интегрант интегранта) единицы ближайшего высшего основного яруса, реализуемый в единицах ближайшего низшего основного яруса и линейно вмещающий целое число таких единиц. Можно надеяться, что дальнейшая разработка на материале разных языков проблемы соотношения основных и промежуточных ярусов поможет лучше увидеть сложную связь и живое взаимодействие всех элементов и сторон языковой структуры.

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

В. В. КОЛЕСОВ

К ФОНЕТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ РЕДУЦИРОВАННЫХ ГЛАСНЫХ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ XI В.

В знаменитой новгородской Минее на сентябрь 1095 г., сохранившей запись писца Домки, привлекает внимание одна особенность в обозначении редуцированных гласных: иногда здесь вместо ъ, ь используются соответственно буквы у, ы, о и и, е. Некоторые свои отступления от традиционной орфографии заметил сам писец и постарался их исправить. Довольно часто, например, грубые исправления и на ъ, в результате чего получается знак ы. Приведем материал (1), особо выделяя те написания, которые Домка не исправил (2), почему они частично и попали в печатное издание¹.

(1) *покориливемъ языкъмъ 55, сънимиче 115, безаконными людьми 125, безбожница оузы 134, неплодно истригни 137 (ср. истригни 138), оубиствинъ/ю 91 об.*, в конце слова *скърѣби пристави 45, съплетениемъ крѣпкими немощи показа 17 об., дайти бо чьсти 114, не единѣми разоумъмъ 114 об., оукрѣпишаго 148, съплочишагоса 172 об.; въселивѣста 9 об., самы са крѣвью... 16 об.*; кроме того *блгочьстивоно 22 об., отнюдо оуклониса 116, съвърешенимъ съмыслъмъ 66, паче всѣхъ 28 об., божьственныи 159 об.*, дат. мн. *подвигомо 49 об., бесплѣтныихъ слоуго 66, чьрто-го иего 102, вси имамо прибѣжице 102 об., кроткъмо молениемъ 117 об.*; в написании *въсецѣло съ въмъ домъмъ 123 о* исправлено на ъ и неверно (И. В. Ягич это место передает неправильно: *въсь цѣль*);

(2) *плодъ завлишися прозбѣ 42, ѡ различныхъ подвигъ 160, сънимича 131 об.* (также *предмизидеть 140*), дат. ед. *росодавичю 25 об., вѣроу чютоуштитихъ 40 об., тавлюшоуж 65, чютоуце 172*, 3 ед. *въпикашети егда... 138 об., въсшвоу/шоу 55 об.*, также *весесильная 19, весецедрителд 68, многострастене 18 об.* (рядом *страстьне*), *бгovidече 27, весемирная 63, страстотърпеце 160*.

В тв. ед. муж. рода возможно смешение с новыми формами полных прилагательных, ср. *неоустрашени/мъ съмыслъмъ 13 об., блгочьстивоомъ съмыслы/мъ 71* (о в прилагательном исправлено на ъ, а ы в существительном осталось без исправления), *спѣхъмъ дивнымъ хвалѣса 111 об.* (ы исправлено на ъ), *неоступнѣмъ помислѣмъ 169* (но *съмыслѣмъ 66 об.* и др.). ъ вместо и только раз (*огненнымъ блистанними* тв. мн. 119 об.), но ъ вместо ы часто, ср. *прбгвѣшоу 94, съзваецеть пастыра 112 об., строулами крѣвнзими 116 об.* (сам писец исправил на ыми), *побиенъ бгътъ 18* и др. Из других примеров см. *непризнанныхъ 148, законы ьствивныи 159 об.*, также *иго же жидат 169 об.* (в последнем случае исправление и на а — это написание и дает И. В. Ягич).

¹ См.: И. В. Ягич, Служебные минеи за сентябрь, октябрь и ноябрь в церковнославянском переводе по русским рукописям 1095—1097 гг., СПб., 1886.

Целый ряд написаний, частично исправленных (писцом или редактором), касается в основном полных прилагательных: по написанному о пишется *ъ* с добавлением знака, напоминающего и десятеричное (иногда можно полагать, что это *l* написано одновременно с *o*), так что образуется как бы *ы*, ср. и *приснохвалѣнѣ гла Іювь възъпилъ ѳеси 121 об, паки тебе любязнѣ дарова 121 об, бжствѣнными поучении многоІ просвѣтилъ ѳеси 126, молитвами спсе щедроІ спси дѣла наша 136, и любязно възладькоІ възпиташе 143, (он) и соудѣ/шоу правымъ всю вселеную мбрѣлІ 153, и стверьни/мъ странамъ свѣтълоІ зарѣ 162 об и др.*

К числу примеров с заменой *ъ* на *и* можно отнести и следующие: *ѳеже хвалословими вси 129 об* (исправление и на *ъ* причастную форму превращает в форму *1 мн.*, что соответствует смыслу текста), и *Акими чистыми 65 об, дат. мн. къ бжствѣнными покоищемъ 116 об.* Такие примеры представляют самостоятельный интерес, поскольку касаются положения в конце слова после [м]: они отражают фонетическое «безразличие» к мягкости или твердости этого [м].

Целый ряд примеров мы не можем привлечь к фонетическому анализу, потому что имеем дело с простым непониманием текста со стороны писца. Он часто сам же подвергает исправлению только что написанное, и не всегда в таких случаях сделанное исправление улучшает текст, ср. дат. мн. *пастырскими достоинъ добротами 133*, где второе и исправлено на *ъ*, а первое нет; аналогичный случай: *тако сирыми застоупникъ и въдовицамъ 128 об.*, где соответствующее исправление также не внесено; *ты прѣдъстоиши свѣтлоу присно 128*, где *o* в *свѣтлоу* исправлено на *ъ*. Ср. также исправление, приводящее к правильному согласованию — *проповѣдание нами явлѣми 46* (исправлено на *явлѣмо*), а также описку по невнимательности (писец настроился писать наречную форму, но, обнаружив, что имеет дело с глагольной, тут же внес исправление): *не мудростовати 54 об.* (о исправлено на *ь*), *ѳверъзи и Аниб неражающую оутробоу 59 об* с исправлением на *ѳверъзъ*, что соответствует смыслу (ошибка произошла на почве частого употребления императивных форм в предыдущих строках); *всакоу землю 74 об* (исправлено на *всакъ*, так как писец обнаружил, что местоимение согласуется с прилагательным), *прѣдъстатель быѣ десныи наречени Еумение 109 об* (восстановление правильной формы путем исправления на *наречень*), *Кондратъ... высокое ꙗбо было ѳеси 127* (исправление на *былъ*, поскольку речь идет о святом, а не о небе) и т. д. Все эти ошибки имеют, однако, какое-то фонетическое основание, потому что иначе невозможно объяснить себе их распространенность именно в данной рукописи и притом наравне с другими аналогичными исправлениями, не дающими искажений смыслового характера.

Всего в рукописи 88 раз вместо *ъ*, *ъ* пишутся *и*, *е*, *ы*, *у*, *o*. Все определенные пропуски гласных полного образования касаются именно [и], ср. *поспъ шькъ 13 об, чстоуо 61, дво причстаю 108, чстоую 16 об*, также род. мн. *ѳ крови твоихъ 119* и под.

Причиной традиционного невнимания к описанному смешению букв является позиция издателя Миней И. В. Ягича, который был убежден, что уже в XI в. в древнерусском языке «разница между (звуками.— В. К.) *ъ* и *o* была минимальна, для нашего нынешнего слуха трудно уловима»². Поэтому на подробные замечания молодого А. А. Шахматова по поводу некоторых из приведенных примеров со стороны И. В. Ягича никакого

² См.: «Письма И. В. Ягича к русским ученым (1865—1886)», М.—Л., 1963, стр. 221.

ответа не последовало³. Хотя впоследствии он и использовал некоторые из них⁴. В самом издании Минеи интересующую нас особенность подлинника И. В. Ягич передает непоследовательно, обращая (изредка) внимание только на те написания, которые не исправлены самим переписчиком. Неудивительно, что исследователи, работавшие по этому изданию⁵, отмечали лишь редкие примеры смещений *ь/и*, называя их описками. Только по мнению С. П. Обнорского «употребление... и вм. ь может быть понимаемо в том же смысле, как и употребление *е* вм. ь слабого в приведенных выше случаях, — т. е. как влияние церковного произношения глухого»⁶. «Влияние других славянских наречий, особенно западных» в аналогичных случаях допускал И. А. Бодуэн де Куртена⁷, хотя тут же он высказывал предположение, что смещение букв *ь* и *и* является следствием смещения полугласных [ъ] и [ь] с «чистыми» гласными. Это последнее замечание можно назвать провицательным и исходить из него, уточнив, что речь идет о смещении звуков, а не фонем [ъ] и [и].

Минеей 1095 г. не ограничивается указанное смещение букв *оу*, *ы/ь* и *и/ь*, оно распространяется и на другие рукописи второй половины XI в. Ср. Изборник 1073 г.: *изивина* 53, *скръбини* 182, *прѣлшитажтса* 263, *различинь* 20 об, *неразличинь* 21, *птицами* 94 об на *крстѣ* 157, также в конце слова *ведоути*, *обращети*, *дамы*, возможно *оушидѣ* 67 об, но и *горекъ* 88 об, *грьшениль* 111 об, *кото* 238, *чрьвенъ* 121 об, на *стеги* 242, *золобы* 94 и др.; Минея 1097 г.: *възва* (аорист) 94 об, *зыльиъ* 154 об, *съмысльмь* 68, *видьвы* 68 об, *язькы* 83 об и др. (26 раз), *преложы* вместо *прбложь* 85 об, *рожиса* 58, вин. ед. *мѣсти* 111, тв. мн. *добродѣтелими* 44, *страстими* 63, тв. ед. *постыничьскими* 63, *безбожничь* 39 об, *болъзничьми* 108 и др. (18 раз), в том числе не только перед *и*, например *радостино* 64, *бесърмьтинь* 79 об, *мѣщиская* 6, а *о*, *е* в слабой позиции редко, среди примеров ср. *благодатенами* 2 об., *нбсеными* 39, *четемъ* 49, *обтържествоужемъ* 126 об, *придох* 32 об, им. ед. *домо* 115 об. и др., но в сильной позиции *тбльсьнаго* 107, *всельньскыа* 82, *бользньныа* 64 и др., также *ь* на месте *ы* и под. В повгородских минеях конца XI в. Типогр. 103 *позотити двѣ* 41 об (исправлено на *позоть*), *жидоуща* 3, *пожидоуща* 9, *прѣдъ ними же* (исправлено на верное *нимь*) 20 об, *застоупиникъ* 23, но в сильной позиции наоборот *равночельною* 1, *пастъре* 30 об и др.; Типогр. 110 *пришидѣшаго* 89, *всиа* 3, 24 об, *бжѣтвини* 28 об, *досточюдени* 29, *всичиста* 12, но в сильной позиции *ръжши* 100 об (из *рожши*), *непорочьнѣ* 24 об (из *непорочьнѣ*), *разльчьныа* 82, *разльчьными* 46, также *бвѣъ* 72 об, *въшьшумж* 96, *лъжъ* 107, *бѣсть* 10 об, 24 об, *въсоко* 21, 26 об и мн. др. Аналогичные примеры отмечены в рукописи XIII слов Григория Богослова XI в. (ГПБ Q. п. I.16), в Житии Кондрата XI в. (ГПБ, Погод. 64) и др.

В более поздних рукописях и или *ы* на месте [ъ, ъ] встречается, естественно, редко, представляя собою вынесенную из оригинала опisku, а может быть и собственную опisku писца под влиянием следующего слога. В евангелии XII в. (ГПБ Погод. 12) *прѣдидоущаа* 134, *прѣдидѣдана* 54,

³ См.: «Переписка А. А. Шахматова с акад. И. В. Ягичем» в сб. «А. А. Шахматов», М.—Л., 1947, стр. 19, 23—25.

⁴ См.: И. В. Ягич, Критические заметки по истории русского языка, Сб. ОРЯС, XLVI, 4, 1889, стр. 32.

⁵ См.: М. По руж е н к о, Заметки о языке повгородской служебной минеи 1095 г., «Филологические записки», Воронеж, 1889, вып. 3—4; М. Карнеева, Язык служебной минеи 1095 г., РФВ, LXXV, 1—2, 1916; В. Комарович, Язык служебной октябрьской минеи 1096 г., ИОРЯС, XXX, 1925, Л., 1926; С. Обнорский, Исследование о языке Минеи за ноябрь 1097 г., ИОРЯС, XXIX, 1924, Л., 1925.

⁶ См.: С. П. Обнорский, указ. соч., стр. 192.

⁷ См.: И. А. Бодуэн де Куртена, [рец. на кн.:] А. Будилович, Исследование языка древнеславянского перевода XIII слов Григория Богослова, ЖМНП, 1872, ноябрь, стр. 186.

на *сънмищизь* 60 об, в Успенском сборнике XII в. *оусобичини* 201, *поспбишикъ* 71 об, *нечистиемь*, *смолиньска*, также *золодби*, *водови*, *весево* и др., но *подъбень*, *крѣтъкъ*, *бѣгъмь*, *имъньмь*, *льзь* и под., в Рязанской кормчей 1284 г. *перивее* 147 об, *къ бѣлжинимъ* 136 об, *еть африкишти* 116.

В таких примерах нет ничего похожего на «падение редуцированных» в их общепринятом понимании, т. е. на утрату фонем [ь, ъ], поэтому делать заключение о «падении редуцированных» на основе подобных смещений, как это делали А. И. Соболевский, а позже почти во всем за ним следующий В. К. Метьюз, преждевременно. Хотя написания типа *агниць* или тв. мн. *страстими* sporadически сохраняются в некоторых рукописях вплоть до XIV в. (в виде редких описок), они не имеют ничего общего со смещениями типа *ь/и* в памятниках XI в., а эти последние не являются описками писцов, как полагает, например, М. И. Корнеева-Петрулаи. Смещение *ъ, ь* с *оу, ы, о* и *и, е* в русских рукописях XI в. — результат не графической, а фонетической ассимиляции. Написания типа *вєсѣтъ*, с одной стороны, и *различиньтъ* — с другой, показывают, что ошибка допущена не под влиянием следующей буквы, а под воздействием следующего, близкого по произношению звука: *и* вместо *ь* пишется в положении перед *и, ы, ъ*, иногда *ѣ*; *е* вместо *ъ* пишется в положении перед *а, о, е*, иногда *ѣ* и *у*.

Графические ошибки редко исправляются самими писцом. Примеры такого рода часты в рукописях, начиная с XII в. Напротив, в Минее 1095 г. большое число исправлений на орфографически нормальный вариант доказывает постоянные колебания писца между «правильным» написанием и собственным произношением.

Но самым важным доказательством того, что *ы, оу, и* на месте *ъ, ь* отражают фонетическое явление, служит тот факт, что *ы, оу, и*, так же как и *о, е*, замещают на письме только слабые редуцированные *ъ* или *ь*. Механическая описка под влиянием следующей буквы распространилась бы вообще на любой *ъ, ь*. Число отклонений такого рода настолько велико и проведено оно настолько последовательно, что говорить о случайности графического происхождения невозможно.

В. М. Марков убедительно показал «особую роль редуцированных звуков, находящихся в „слабой“ позиции, в отношении развития нового качества „сильных“ глухих», которое заключается в том, что „слабые“ глухие так или иначе могли корректировать развитие „сильных“ глухих в сторону гласных *о, е*»⁸. Такая возможность обычна в рукописях XI — начала XIII в., где только *о, е* заменяют *ъ, ь* и где нет *оу, ы, и* на месте слабых *ъ, ь*. Это относится также к новгородским берестяным грамотам с их частыми смещениями *ъ/о* и *ь/е*. Только в двух случаях находим интересующее нас смещение с гласными верхними: *овиса* (№ 50, начало XIV в.) и *доувоу* (№ 219, конец XII в.) при *дове*, *дови*. Эти написания того же происхождения, что и все поздние ошибки такого рода; берестяных грамот определенно XI в. нет.

Между тем наибольшее число примеров *оу, ы, и* вместо *ъ, ь* содержится в рукописях середины XI — начала XII в. В более ранних (к их числу безусловно относится Путятина минея) ничего подобного нет. Это позволяет установить хронологические границы отраженного указанным замещением фонетического изменения (имея в виду северную часть Древней Руси).

⁸ См.: В. М. Марков, К истории редуцированных гласных в русском языке: Казань, 1964, стр. 241.

До середины XI в. никаких изменений редуцированных гласных не происходит. Около середины этого века начинается утрата [ь, ѣ] в абсолютно слабой (изолированной) позиции ([мног-] > [мног-], [кѣто] > [кто] и под.) и фонетическое сближение слабых редуцированных с полными гласными верхнего или среднего подъема в зависимости от характера следующего слога. Эта межслоговая ассимиляция гласных в условиях фонологизации слога в целом осуществлялась в связи с постепенным переходом основной суммы дифференциальных признаков на консонантный элемент слога. Подобная фонетическая ассимиляция гласных становится характерной для всех типов гласных и является следствием только что прошедшего вторичного смягчения полумягких. Примеры типа *телесе* вместо *тѣлесе* или *дѣвица* вместо *дѣвица* хорошо известны. Менее известны написания типа приводимых ниже: *пробѣде* 93 об, *разерение* 52, *повѣщающа* 69, *древяныя* 91 об, *всѣсакщеса* 109, *ширата* 86 об, *окавасте* 117, *прообразава* 88, *радити* 136, *неополѣвши огньмъ* 165, *порьвьнаваѣша* 146 и др. в Минее 1095 г.; *приадаща* 31, *неразаримо* 5 об, *даравати* 12 об, *избавлюци* 30 об в минее Типогр. 103; *вселяноую* 93 об, *обажаемы* 54, *оудабракса* 70, *огна полцаго* 36 об, *прилажаннемъ* 61 и др. в Минее Типогр. 110 и т. д.

Уже с первой половины XII в. до окончательной дефонологизации редуцированных (начало и середина XIII в.) возможно сближение слабых редуцированных гласных с полными среднего подъема. Именно с [o, e] и совпадают впоследствии сильные [ѣ, ѣ]. Понижение артикуляции [ѣ, ѣ] совершается, таким образом, в промежутках между серединой XI и началом XII в. До этого времени редуцированные гласные были средне-верхними, после этого времени они во всем, кроме количества, совпадают с гласными среднего подъема. Фонологические основания описанных фонетических изменений известны: их следует связывать с преобразованиями новоакутовой интонации.

Противопоставление слабых редуцированных сильным могло возникнуть только в результате «ослабления» конечного слога и оттяжек ударения с редуцированных, ставших вследствие этого слабыми. Нейтрализация противопоставлений

$$\begin{array}{l} n'e \\ n'b \end{array} \rangle n'e \quad \begin{array}{l} no \\ n'ь \end{array} \rangle no \quad \text{и т. д.}$$

только в слабой позиции указывает на то, что к началу «падения» слабых редуцированных ДП в этом противопоставлении был признак количества. В связи с этим следует уточнить понятие «слабая позиция».

После образования новоакутовой интонации⁹ под ударением в конечных слогах образуется сложная система противопоставлений, включающая интонационные и количественные ДП, именно:

1. Акут	2. Циркумфлекс
á ě ū ū ŷ ŷ ě	ã ě ū ū ŷ ŷ ě
3. Краткость	4. Новоакут
ò è/(ъ ѵ)	á ě ū ū ŷ ŷ ě ò è ѵ ѵ

2 и 3 группы находились в дополнительном распределении и вместе охватывали все возможные гласные фонемы, противопоставляясь этой особенностью 4 группе, также включающей все гласные фонемы, но только под

⁹ См.: Ch r. S. S t a n g, Slavonic accentuation, Oslo, 1965.

восходящим ударением. Дальнейшие упрощения системы не коснулись иктуса (словесного ударения), поскольку он характеризовал все четыре типа подударных гласных. Из трех типов интонационных долгот один должен был утратиться как избыточный — акутовая интонация не распространялась на все гласные фонемы, и в разных славянских языках происходит ее фонологическое преобразование: совпадение с новоакутовой (чешской), и циркумфлексовой (южнославянские) или с краткостью (все западнославянские, кроме чешского, и все восточнославянские)¹⁰.

В древнерусском после этого противопоставление по интонации частично совпадает с противопоставлением по количеству: под новоакутовой интонацией только долгие (кроме [ъ, ъ]), в других случаях долгие и краткие, т. е.

- | | | |
|--------------|-----|---|
| новоударные | (1) | $\acute{a} \acute{e} \acute{a} \acute{u} \acute{y} (\acute{o} \acute{e} \acute{i} \acute{o}) \acute{o} \acute{e} \acute{i} \acute{o}$ |
| староударные | (2) | $\tilde{a} \tilde{e} \tilde{u} \tilde{u} \tilde{y} (\tilde{o} \tilde{e})$ |
| | (3) | $\grave{a} \grave{e} \grave{u} \grave{u} \grave{y} (\grave{o} \grave{e}) \grave{o} \grave{e}$ |

Теперь только (2) не охватывает всей системы гласных, противопоставляясь восходящей долготе (1) по тону, а кратким (3) по количеству. Необходимо последнее преобразование с элиминацией одного из избыточных ДП циркумфлекса — тона или количества. В южнославянских языках, где акутовая интонация совпала с циркумфлексовой, свободная интонация сохранилась. В западных и восточных языках преобразование совершилось в пользу количества. Долгие восходящие теперь последовательно противопоставлены кратким без тонового ДП. Другими словами, долгие фонологически противопоставлены кратким, потому что тон стал сопутствующим признаком фонемы; в противопоставлении новоакутовой интонации другим интонациям утрачивалось собственно интонационное содержание оппозиции, что и вызвало сокращение всякого ударного гласного, кроме новоударного. Таким образом, сильная позиция любого гласного в период между вторичным смягчением согласных и утратой редуцированных — это положение гласного в новоударном слоге; все остальные позиции являлись слабыми. Особенно это касается редуцированных, поскольку сильным редуцированным всегда был только новоударный редуцированный.

Маркированным членом оппозиции [н'е] : [н'ъ] являлся второй, поэтому именно он исчезает в результате нейтрализации. Этот этап фонетического «исчезновения» слабых редуцированных относится к более позднему времени, которым обычно и датируют утрату редуцированных гласных.

Итак: слабые редуцированные исчезли еще в середине XI в. — до XII в. (и диалектно дальше) они сохранялись только потому, что входили в состав syllабемы, определяя качество ее консонантного элемента, т. е. сохранялись фонетически, утратив фонологическое значение. Именно поэтому совершенно «исчезают» изолированные слабые редуцированные в корнях типа [мъног-]: у них нет никакой связи с сильным редуцированным, и потому нет возможности для нейтрализации противопоставления полному гласному в этой позиции. В. М. Марков прекрасно показал, что, несмотря на утрату [ъ, ъ] в подобного типа корнях, фонетически редуцированные здесь все-таки сохранялись.

¹⁰ Детали описанных преобразований см. в работах: Р. О. Якобсон, Опыт фонологического подхода к историческим вопросам славянской акцентологии, «American contributions to the V International congress of slavists», The Hague, 1963; Л. М. Шинский, К фонологии просодических элементов в славянских языках, ВЯ, 1965, 2.

Силлабемы разрушились не потому, что исчезли слабые редуцированные; наоборот, слабые редуцированные исчезли фонетически, потому что силлабемы утратили значение фонологически самостоятельных единиц. Причиной «раскалывания» силлабем явились процессы вторичного смягчения. Фонологическим завершением «падения редуцированных» следует считать процесс вокализации сильных [ъ, ь]: разрушение силлабем приводит к фонетической утрате слабых [ъ, ь] (в некоторых сложных сочетаниях согласных звуков не перед сильным редуцированным они сохраняются фонетически вплоть до XIV в., а диалектно и позже), к заместительному продлению предыдущих сильных [ъ, ь] и их совпадению с [о, е]. Из сказанного ясно, что на каком-то этапе фонемы [ъ, ь] противопоставлялись остальным гласным только в сильной позиции. Действительно, нейтрализация фонологического противопоставления «кратких» и «сверхкратких» в слабой позиции не приводила к фонетической утрате слабых редуцированных. Между тем именно фонетическое «исчезновение» таких редуцированных привело к заместительному продлению предыдущего слога, т. е. к вокализации сильного редуцированного. Если же нейтрализация фонологического противопоставления не придавать столь важного значения, дефонологизацией редуцированных следует считать вокализацию сильных [ъ, ь], т. е. полную утрату фонем «редуцированного» ряда.

А. В. БОНДАРКО

ОБЩИЕ И ЧАСТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИХ ФОРМ

(На материале категорий времени и вида в русском языке)

1. Концепция общих и частных значений грамматических форм хорошо известна в русской языковедческой традиции (см., в частности, труды Н. П. Некрасова, Ф. Ф. Фортунатова, А. М. Пешковского). Современное состояние разработки этой теории на славянском языковом материале представлено в трудах Р. О. Якобсона, а также в исследованиях Ю. С. Маслова, А. В. Исаченко, Е. Кржижковой, Е. В. Чешко, И. К. Буниной, Е. И. Деминной и некоторых других ученых. В теории общих и частных значений в том виде, в котором она представлена в работах Р. О. Якобсона¹, наиболее важными и существенными представляются идеи иерархии значений, соотношения инварианта и вариантов.

Общие значения

2. Общее (инвариантное, категориальное) значение грамматической формы — это семантическое содержание, которое отличает данную форму от других членов определенной системы форм.

В некоторых работах последнего времени общее значение трактуется как принадлежащий грамматической форме набор дифференциальных семантических признаков². На наш взгляд, такой подход к общему значению вполне себя оправдывает, в частности, применительно к грамматическим категориям русского глагола.

Под дифференциальным семантическим признаком (далее ДСП) мы подразумеваем минимальный семантический элемент, по отношению к которому различаются по крайней мере два члена системы³. Так, в системе времен русского глагола (в рамках изъяснительного наклонения) дифференциальными являются признаки одновременности (О), предшествования (П) и следования (С) по отношению к исходной точке отсчета, а также признаки временной локализованности

¹ R. Jakobson, Beitrag zur allgemeinen Kasuslehre, TCLP, 6, 1936; Р. О. Якобсон, Морфологические наблюдения над славянским склонением, 's-Gravenhage, 1958 («American contributions to the IV. International congress of Slavists»); R. Jakobson, Zur Struktur des russischen Verbums, «Charisteria Guilelmo Mathesio... oblata», Praga, 1932.

² См.: А. В. Исаченко, Бинарность, привативные оппозиции и грамматические значения, ВЯ, 1963, 2; Н. Кřížková, Привативные оппозиции и некоторые проблемы анализа многочисленных категорий (на материале категории лица в русском языке), «Travaux linguistiques de Prague», 1, 1964. Самый принцип определения общего значения (семантического содержания) грамматической формы как набора дифференциальных семантических признаков аналогичен тому, что Н. С. Трубецкой называл «фонологическим содержанием фонемы» и понимал как совокупность всех фонологических существенных признаков («Основы фонологии», М., 1960, стр. 73).

³ Ср.: И. И. Ревзин, Метод моделирования и типология славянских языков, М., 1967. Здесь говорится о признаках, дифференциальных в том смысле, что имеются хотя бы два объекта данного множества, которые различаются по этому признаку (стр. 45).

действия (Л) и перфектности (Перф.). Говоря о минимальном семантическом элементе, мы имеем в виду элемент, далее нечленимый, причем эту нечленимость следует понимать как относительную в данной системе форм. Например, признак Перф. рассматривается как минимальный, далее нечленимый семантический элемент в системе времен русского глагола, хотя безотносительно к этой системе в перфектном значении, выступающем в конкретном высказывании, можно выделить составляющие его семантические элементы.

Нами учитываются следующие отношения к ДСП: + (данный признак выражен), — (данный признак исключен), $\bar{+}$ (данный признак не выражен, но и не исключен), $\bar{+}$ (возможность выражения признака ограничена), $\bar{+}$ (ограничена возможность невыражения признака). Так, семантическое содержание формы прошедшего несовершенного (*открывал*) определяется следующим набором ДСП: П+, О—, С—, Л $\bar{+}$, Перф. ($\bar{+}$).

Понимаемое таким образом семантическое содержание формы⁴ характеризует ее место в системе, ее отношение к другим формам, однако подобный набор ДСП не дает значения, которое представляло бы собой нечто целостное и однородное. Если данная форма выражает один признак, не выражает, но и не исключает другой и, наконец, исключает третий, то, констатируя это, мы не получим реального единого значения. Мы получаем общее значение в другом смысле: как инвариантный семантический потенциал данной формы. По существу речь идет не об одном значении, а о комплексе семантических функций и о комплексе отношений к этим функциям.

Возникает вопрос: не является ли изложенное выше понимание общего значения фактически возвращением к традиционному перечислению частных значений? Нет, между семантическим содержанием, понимаемым как набор ДСП, и перечнем отдельных значений данной формы имеются существенные различия. Во-первых, в наборе учитываются лишь те значения, которые получают «ранг» ДСП, во-вторых, форма в контексте может выражать то одно, то другое значение, но отношение к определенному семантическому признаку, на котором основано это варьирование, остается постоянным, инвариантным. Так, при реальном функционировании формы будущего несовершенного может обозначаться локализованное во времени действие (*В этой главе речь будет идти...*), то нелокализованное (*Каждый раз речь будет идти...*), но остается инвариантным нейтральное отношение формы к признаку Л (Л $\bar{+}$). Итак, идея дифференцирующей роли устанавливаемых семантических признаков в системе форм и идея инвариантного отношения формы к данному признаку принципиально отличают рассматриваемую концепцию семантического содержания формы от механического перечня отдельных значений.

Один из признаков в наборе может выделяться как д о м и н а н т а семантического содержания, т. е. его основная, наиболее существенная черта. У формы, которая один семантический признак выражает, другой может выражать, а третий исключает, доминантой должен быть признак первый признак — тот, который постоянно присущ данной форме. Так,

⁴ Термин «семантическое содержание» упоминается нами в тех случаях, когда необходимо подчеркнуть, что речь идет не о «простом» целостном значении, а о сложном комплексе, семантическом потенциале, состоящем из нескольких признаков. Термин «общее значение» важно сохранять потому, что соотношение общих и частных значений хорошо передает то, что в более широком философском плане характеризует диалектическое соотношение общего и отдельного. Существенно также, что общее значение действительно обобщает все инвариантное и грамматически значимое, что проявляется в значениях частных.

в нашем примере доминантой семантического содержания формы прошедшего несовершенного (П+, О-, С-, Л $\bar{+}$, Перф. $\bar{+}$) является признак П. В некоторых случаях доминантой оказывается семантический комплекс, состоящий из нескольких признаков. Например, в семантическом содержании формы прошедшего совершенного (П+, О-, С-, Л+, Перф. $\bar{+}$) доминантой должна быть признана совокупность признаков П и Л.

3. Общие значения грамматических форм связаны друг с другом в определенных оппозициях. Анализ категории времени русского глагола показывает, что в рамках системы грамматических форм могут сосуществовать оппозиции разных типов.

Рассмотрим табл. 1, представляющую систему времен изъявительного наклонения.

Таблица 1

Временные ряды	Видо-временные формы	Семантические признаки				
		П	О	С	Л	Перф.
Прошедшее	прошедшее несовершенное (открывал)	+	-	-	$\bar{+}$	$\bar{+}$
	прошедшее совершенное (открыл)	+	-	-	+	$\bar{+}$
Настоящее	настоящее несовершенное (открываю)	-	+	-	$\bar{+}$	-
	настоящее-будущее совершенное (открою)	-	- (+)	(-) +	(-) +	-
Будущее	будущее несовершенное (буду открывать)	-	-	+	$\bar{+}$	-

Данная система состоит из пяти форм. Поскольку здесь представлены различия не только по времени, но и по виду, а также с точки зрения значений, имеющих отношение и к темпоральности, и к аспектуальности⁵ (аспектуально-темпоральные признаки Л и Перф.), есть основания говорить о пяти видо-временных формах. По отношению к чисто временным признакам П, О, С пять временных форм группируются в три «временных ряда» — прошедшее, настоящее и будущее. Форма настоящего-будущего совершенного (типа *открою*) относится и к ряду будущего, и к ряду настоящего.

По принципу э к в и п о л е н т н о й оппозиции противопоставлены друг другу временные ряды (ряд с признаком О противостоит ряду с признаком С и ряду с признаком П; противостоят друг другу также ряды с признаками С и П). Каждый ряд по присущему ему признаку может быть противопоставлен двум другим рядам, объединенным выражением

⁵ Об этих категориях см.: А. В. Бондарко, К проблематике функционально-семантических категорий (Глагольный вид и «аспектуальность» в русском языке), ВЯ, 1967, 2.

противоположного признака. Так, ряд настоящего противостоит ряду прошедшего и будущего, объединенным как «ненастоящие». В данном случае мы имеем дело с оппозицией а н т о н и м и ч е с к о й. Такую оппозицию можно рассматривать как особую разновидность оппозиции эквивалентной, так как корреляту, обладающему определенным признаком, противостоит коррелят, который также обладает собственным признаком, хотя он и определяется «отрицательно» (ср. противопоставление прошедшего и «непрошедших» временных рядов).

По принципу п р и в а т и в н о й оппозиции прошедшее совершенное противопоставлено с точки зрения признака Л прошедшему несовершенному как маркированный член оппозиции немаркированному. Другой случай привативной оппозиции: форма настоящего-будущего совершенного, не обладающая ни признаком О, ни признаком С как инвариантным, является немаркированным членом двух привативных оппозиций: *открою* : *открываю* и *открою* : *буду открывать*.

Особый тип оппозиции представлен в тех случаях, когда одна форма характеризуется нейтральным отношением к данному признаку [±], а другая отличается ограниченной возможностью его выражения [(±)] или невыражения [∓]. Такова оппозиция форм прошедшего совершенного и несовершенного по отношению к признаку Перф. Для формы прошедшего совершенного выражение перфектного значения является одной из двух основных ее функций, наряду с выражением значения аористического. Оба эти значения контекстуально обусловлены, однако не приходится говорить о какой-то особой ограниченности выражения перфектного значения по сравнению с аористическим. Форма же прошедшего несовершенного лишь в исключительных случаях может выразить перфектное значение, например: *Он много видел, образован*. К употреблению в перфектном значении (в особых условиях контекста) способны лишь немногие глаголы (*видеть, слышать, знать, читать* и некот. др.). В самом лексическом значении таких глаголов заложена своеобразная результативность как накопление опыта путем восприятия. К тому же типу принадлежит оппозиция формы настоящего-будущего совершенного, с одной стороны, и форм будущего, настоящего и прошедшего несовершенного, с другой, по отношению к признаку Л: *открою* [Л (±)]: *буду открывать, открываю, открывал* [Л±]. Указанные формы несовершенного вида нейтральны по отношению к данному признаку (ср. *однажды/часто открываю, открывал, буду открывать*). Форма же типа *открою* способна употребляться при выражении нелокализованного во времени действия лишь в особых семантико-синтаксических условиях контекста.

Поскольку в рассматриваемых случаях речь идет не о наличии или отсутствии данного признака, а о различии в «степени свободы» его проявления, в степени его ограниченности определенными условиями, такие противопоставления напоминают в известном отношении г р а д у а л ь н ы е (ступенчатые) оппозиции Н. С. Трубецкого. Все же мы бы воздержались от утверждения полной аналогии: у Н. С. Трубецкого речь идет о чисто количественных различиях, тогда как в нашем случае мы имеем дело не только с количественными, но и с качественными различиями в закономерностях употребления форм⁶.

4. Существуют различные способы определения общего значения. В реальном ходе исследования они обычно сочетаются друг с другом, представляя собой разные стороны единого про-

⁶ В грамматической литературе, насколько нам известно, подобный тип оппозиции до сих пор не отмечался. Следует подчеркнуть, что в системе времен русского глагола основную роль играют оппозиции эквивалентные и привативные.

цесса, однако целесообразно дифференцировать те компоненты, из которых состоит целое.

1) Общее значение грамматической формы устанавливается в результате анализа ее частных значений. Так, путем сопоставления частных значений форм настоящего несовершенного и определения того общего, что в них содержится (при устранении избыточного), можно установить общее значение настоящего, значение современного (в широком смысле, без дальнейшей детализации). Определение общего значения в результате анализа функционирования формы не является простым «сбором», сложением частных значений. При анализе частных значений необходимо четко различать, что в данном семантическом комплексе исходит от контекста, а что — от самой формы. В общее значение должно включаться только то, что несет в себе грамматическая форма.

При определении общего значения грамматических форм важно найти правильный подход к их переносному употреблению (транспозиции). При транспозиции грамматическое значение формы вступает в противоречие со значением контекста, например, форма имеет значение настоящего (*Иду я...*), а контекст указывает на прошлое (*... вчера по улице...*). Охватывается ли переносное употребление общим значением данной формы? Да, охватывается, потому что при транспозиции грамматическое значение формы сохраняется, проявляясь в том или ином варианте (например, при употреблении настоящего исторического прошедшего действия изображаются так, как будто они происходят в настоящем). Должно ли общее значение грамматической формы охватывать то значение, которое при транспозиции исходит от контекста? Например, должно ли общее значение формы настоящего несовершенного предусматривать возможность отнесенности действия к прошлому или будущему? Нет, потому что весь смысл переносного употребления заключается в том, что контекст противоречит значению формы⁷. Если не учитывать этой специфики переносного употребления, то многообразие значений, исходящих от контекста, может привести исследователя к неправомерному расширению собственно грамматического значения формы и даже к отрицанию самого существования этого значения (поучительна в данном отношении теория вневременности русского глагола в трудах К. С. Аксакова и Н. П. Некрасова). Поэтому, если мы констатируем, что для данной формы тот или иной признак исключен, то это значит: исключен в прямом употреблении.

2) Индуктивный путь установления общего значения в направлении от частного к общему, от речи к языку, будучи необходимым, не является достаточным. Результаты изучения частных значений должны быть соотнесены с анализом отношений внутри системы грамматических форм. Так, в нашем примере с формой настоящего несовершенного, кроме обобщения отдельных частных значений, необходимо соотнесение полученного результата со значением других форм времени. Только при таком соотнесении (анализе оппозиций) наше значение «настоящего» найдет свое место в системе и получит более точную формулировку как семантический признак одновременности по

⁷ См. об этом: А. В. Бондарко, К вопросу о «транспозиции» (Употребление прошедшего времени глагола в современном русском языке для обозначения абстрактного настоящего), «Уч. зап. ЛГПИ им. А. И. Герцена», 248, 1963, стр. 57—60. Недавно М. Докулид писал о необходимости отказаться от идеи включать переносное употребление в общее значение («К вопросу о морфологической категории», ВЯ, 1967, 6, стр. 14—15). На наш взгляд, важно различать, с одной стороны, то, что при переносном употреблении исходит от формы и охватывается ее общим значением, а с другой, — то, что исходит от контекста и должно быть исключено из общего значения как противоречащее ему.

отношению к грамматической точке отсчета. Этот признак, соотношенный с признаками предшествования и следования, охватит как абсолютное, так и относительное употребление временной формы. При анализе данной формы в ее отношении к другим членам системы времен оказывается, что признак одновременности, будучи доминирующим, все же не исчерпывает всего семантического содержания рассматриваемой формы. Полный объем этого содержания может быть определен лишь при учете ДСП, релевантных для всей системы времен. Таким образом, необходимой стороной процесса установления общего значения грамматической формы является оппозиционный анализ. На основании предварительных данных, полученных в результате изучения функционирования грамматических форм, определяется, какие семантические признаки являются для данной системы дифференциальными. Изучаются отношения одной формы к другой. Внутри многочленных категорий выделяются все возможные бинарные оппозиции. Устанавливаются типы оппозиций. Определяется отношение каждого члена грамматической категории к каждому из выделенных ДСП. Тем самым определяется семантическое содержание грамматических форм.

Все эти процессы постоянно сопровождаются проверкой соответствия полученных выводов картине функционирования грамматических форм в контексте. Изучение функционирования форм — не только исходный пункт, но и критерий правильности оппозиционного анализа.

3) В части случаев важной стороной процесса установления общего значения грамматической формы является эксперимент, основанный на сочетаемости формы с типами слов, существенными для данной грамматической категории⁸. Речь идет по существу об особом роде дистрибутивного анализа. Производится «проверка на сочетаемость» грамматических форм с определенными типами слов, и из различий в «реакции» членов данной системы делаются выводы об их общем значении.

Рассмотрим в качестве примера определение семантического содержания совершенного и несовершенного видов.

А. М. Пешковский формулирует общее значение совершенного вида, исходя из того факта, что инфинитив совершенного вида не может сочетаться со словами типа *начинаю, продолжаю, кончаю*⁹. По тому же пути идет Ю. С. Маслов¹⁰. На наш взгляд, важно установить отношение видов не к одному типу слов, а к целому ряду типов, существенных для данного противопоставления.

Выделяются по крайней мере четыре типа «аспектуально значимых» слов, по сочетаемости которых с видами можно судить о составе ДСП в видовой системе (возможно, количество этих типов может быть увеличено, но уже то, что мы имеем в распоряжении, дает представление о минимальном наборе ДСП)¹¹.

⁸ Существенным в данном смысле следует признать такой тип слов, который относится к одному из членов грамматической категории иначе, чем к другому (третьему и т. д.).

⁹ А. М. Пешковский, *Русский синтаксис в научном освещении*, М., 1956, стр. 108—110.

¹⁰ Ю. С. Маслов, *Глагольный вид в современном болгарском литературном языке (значение и употребление)*, сб. «Вопросы грамматики болгарского литературного языка», М., 1959, стр. 218—222.

¹¹ При определении состава ДСП производится отбор тех типов слов, которые по-разному относятся к совершенному и несовершенному виду. Такие типы слов обладают определенным аспектуальным семантическим признаком, который вступает в то или иное отношение с семантикой каждого из видов. Если какой-либо тип слов, например, *давно, когда-то*, обнаруживает одинаковое отношение к обоим видам, то он выпадает из круга интересующих нас диагностических показателей и не учитывается при дальнейшем анализе.

1) Из факта несочетаемости инфинитива совершенного вида с фазовыми глаголами (невозможности сочетаний типа *начал открыть, *кончил наклеить) следует, что совершенный вид обладает каким-то семантическим признаком, который не позволяет ему вступать в указанные сочетания. Таким признаком, несомненно совместимым с идеей членности, фазовости, является неделимая целостность действия. Итак, для совершенного вида констатируем Ц +¹².

Несовершенный вид не указывает на неделимую целостность действия. Вместе с тем он не исключает данного семантического признака. В особых ограниченных условиях нейтрализации видового противопоставления несовершенный вид может употребляться при имплицитной передаче целостных действий. Условия такого употребления ограничены некоторыми позициями¹³. Поэтому принимаем для несовершенного вида Ц (+).

2) Совершенный вид не сочетается со словом *всё*¹⁴, когда оно указывает как бы на середину разворачивающегося и не прекращающегося процесса. Ср.: *Он все богател, ... пьянел* и т. п., но невозможно **Он все разбогател, ... о пьянел* и т. п. Отсюда следует, что совершенный вид исключает признак процессности: Проц. —.

Несовершенный вид может выражать развивающийся процесс, но не выражает его обязательно (ср. примеры, в которых процессность не выражается: *Кто тебе приказывал их вести?; Зачем он приезжал?*). Таким образом, для несовершенного вида Проц. +.

3) Совершенный вид легко сочетается со словами и сочетаниями типа *однажды, как-то раз* и другими показателями локализованности действия во времени, но характеризуется ограниченной сочетаемостью со словами и сочетаниями типа *иногда, время от времени, часто, обычно*, указывающими на нелокализованность действия во времени. Так, для того чтобы форма настоящего-будущего совершенного сочеталась с *часто*, недостаточно минимального контекста: высказывание **Он часто выйдет из себя* мы воспринимаем как неправильное. Необходимы особые дополнительные условия контекста, чтобы такое сочетание стало возможным, в частности условия кратнo-соотносительной конструкции: *Он часто выйдет из себя, наговорит резкостей, разбухнет, а потом быстр^о отойдет...* Итак,

для совершенного вида Л +⁽⁺⁾.

Несовершенный вид одинаково легко сочетается как с показателями локализованности, так и нелокализованности действия: Л +.

4) Для совершенного вида характерна ограниченная сочетаемость со словом *долго*, содержащим в себе признак длительности. Невозможны сочетания **Он долго открыл, ... вырастил, ... накормил* и т. п. Лишь глаголы длительно-ограничительного способа действия типа *просидеть, поболеть* сочетаются с *долго*. С другими показателями длительности (*пять минут, два дня* и т. п.) сочетаются глаголы ограничительного способа действия (*поболеть, погостить* и т. п.). Эти способы действия представляют собой, однако, лишь исключение из господствующей несочетаемости совершенного вида с показателями длительности. Отсюда следует, что для совершенного вида Д (+).

Несовершенный вид легко сочетается с выражением рассматриваемого семантического признака, но может его и не выражать (см. примеры в п. 2). Таким образом, для несовершенного вида Д +.

¹² См.: Ю. С. Маслов, указ. соч., стр. 218—222.

¹³ См.: А. В. Бондарко, Опыт общей характеристики видового противопоставления русского глагола, «Уч. зап. [Ин-т славяноведения АН СССР]», 23, 1962, стр. 196—202.

¹⁴ Этот факт был отмечен (в устной форме) Ю. С. Масловым.

Отношения совершенного и несовершенного видов к указанным выше признакам представлены в табл. 2.

Несовершенный вид не обладает каким-либо положительным семантическим признаком. Это вполне соответствует результатам анализа частных значений несовершенного вида¹⁵.

Совершенный вид обладает лишь одним положительным признаком, который присущ ему постоянно, во всех случаях его функционирования.

Таблица 2

Семантически е признаки Виды	Ц	Прог.	Л	Д
	Совершенный	+	-	(-) +
Несовершенный	(+)	±	±	±

Этот признак (Ц) и должен рассматриваться как доминанта семантического содержания совершенного вида. Он выделен по наиболее общему свойству, не знающему исключений; он является единственным положительным инвариантным признаком во всей системе; противопоставление видов по этому признаку обладает наибольшей дифференцирующей силой. Соответственно доми-

нантой семантического содержания несовершенного вида является отсутствие данного признака (при ограниченной возможности его имплицитного выражения): Ц₍₊₎.

Рассмотренный выше пример наглядно показывает, что подход к определению семантического содержания грамматических форм с точки зрения их сочетаемости применим лишь в сочетании с оппозиционным анализом и изучением частных значений.

Частные значения

5. Частные значения грамматической формы (например, значения актуального и неактуального настоящего, перфектного и аористического значения и т. п.) представляют собой обусловленные контекстом и ситуацией речи варианты общего значения¹⁶. Это регулярно повторяющиеся семантические типы, являющиеся результатом взаимодействия грамматической формы и контекста¹⁷.

Частные значения нельзя считать тем первоначальным, что дано нам в речи. В каждом конкретном высказывании представлен лишь тот или иной вариант (или вариант варианта) частного значения. Само же частное значение является уже результатом определенного обобщения, систематизации отдельных вариантов¹⁸. Это определенный тип, а не частный случай. Так, одно из частных значений формы настоящего несовершенного — настоящее актуальное (выражается действием, протекающее в

¹⁵ См.: А. В. Бондарко, Л. Л. Буланин, Русский глагол, Л., 1967, стр. 55—58, 72—75.

¹⁶ См.: R. Jakobson, Beitrag..., стр. 252; см. также Р. О. Якобсон, Морфологические наблюдения..., стр. 2—3.

¹⁷ В ряде случаев частное значение грамматической формы обуславливается не только окружающим контекстом, но и определенными особенностями лексического значения данного слова, однако эту сторону вопроса мы здесь не затрагиваем, сосредотачивая внимание на проблеме «грамматическая форма и контекст».

¹⁸ Заметим, что в этой иерархии вариантов трудно найти место понятию «употребление». Что здесь можно определить как употребление, — самую нижнюю ступень (данный конкретный случай высказывания), или какую-либо ступень вариантов частного значения, или само это частное значение? Поэтому слово «употребление» мы используем лишь как синоним термина «функционирование».

момент речи) — выявляется в ряде вариантов: а) конкретное настоящее время момента речи (*Посмотрите, кто-то идет*), б) расширенное настоящее (*Я давно вас жду*), в) настоящее постоянное (*Жизнь не стоит на месте*).

Частные значения грамматических форм выявляются в том или ином варианте в речи, но как типы, как инварианты по отношению к их речевым вариантам, они, на наш взгляд, относятся к языку, к правилам функционирования единиц системы языка.

Общие значения грамматических форм относятся к морфологической системе языка, к области парадигматики (при этом они не изолированы от речевого функционирования, так как они определяются на основе изучения функционирования форм, в том числе их сочетаемости, и учитывают возможности выражения релевантных для системы функций; однако с синтагматическим планом общие значения связаны лишь косвенно — через значения частные). Частные значения относятся к парадигматике (поскольку они обусловлены общим значением, будучи его вариантами), и к синтагматике (поскольку они обусловлены контекстом, окружением формы).

Говоря о том, что частное значение является вариантом общего, мы имеем в виду следующее. Частное значение отражает тот или иной признак в наборе ДСП, характеризующем семантическое содержание данной формы, так или иначе охватывается этим семантическим содержанием. Например, значения конкретного и абстрактного настоящего различаются по признаку J; перфектное и аористическое значения форм прошедшего совершенного различаются по наличию/отсутствию признака Перф.

Термин «частные значения грамматической формы» в известной мере условен: мы приписываем грамматической форме то, что выражается не только ею. Зато с другой точки зрения этот термин имеет прямой смысл без всяких оговорок: данная форма (ее общее грамматическое значение) является тем стержнем, который объединяет все обусловленные контекстом частные значения, группирующиеся вокруг такого стержня. В этом смысле частные значения действительно принадлежат грамматической форме.

При описании частных значений и их вариантов существенную роль могут играть элементы анализа сочетаемости данной формы. Так, перфектное значение отражается в сочетаемости форм прошедшего совершенного с формами настоящего несовершенного (*Дорога замаслилась и блещит*), а также с формами кратких страдательных причастий, кратких и полных прилагательных в роли сказуемого, со словами из категории состояния. При сочетании нескольких форм прошедшего совершенного с перфектным значением в контексте возникает не «цепь» сменяющих друг друга последовательных действий, а «пучок одновременных состояний» (*Трава выгорела от солнца, засохла и пожелтела*; ср. возможность перестановок: *пожелтела, засохла и выгорела...* и т. п.).

Необходимо определить соотношение понятий «частное значение» и «функция» грамматической формы¹⁹. На наш взгляд, всякое частное значение (точнее, его реализация, выражение) есть функция, но не всякая функция грамматической формы есть частное значение. Функция (как предназначение) может быть не только семантической, но и синтаксической, вообще структурно-грамматической (без специфического семантического содержания). Функция грамматической формы может выделяться по цели и сфере употребления, что отнюдь не обязательно связано с наличием особого частного значения, ср. такие функции, как

¹⁹ Некоторые исследователи предпочитают термин «функция»; первичные и вторичные функции становятся основными понятиями грамматического анализа (см.: Е. Р. Курдюкович, Заметки о значении слова, ВЯ, 1955, 3).

«настоящее изложения», «настоящее номинации» (в заголовках, названиях картин и т. п.), «настоящее изобразительное».

6. Выделяя среди частных значений г л а в н о е или о с н о в н о е (иногда — несколько таких значений), мы основываемся на критерии наименьшей зависимости от контекста (иначе говоря, — наибольшей самостоятельности) и критерии специфичности. Так, из значений будущего времени и настоящего неактуального, свойственных форме настоящего-будущего совершенного (типа *открою*), главным является значение будущего, так как оно не требует каких-либо особых дополнительных условий контекста и проявляется в минимальном контексте (*Я открою дверь*).

Свойство специфичности, на котором основывается соответствующий критерий, имеет несколько конкретных проявлений. Одно из них: главное значение характерно именно для данной формы, но не для других форм, с которыми она соотносится. Например, из значений настоящего актуального и неактуального, свойственных форме типа *открываю*, главным следует признать значение настоящего актуального, потому что оно может быть выражено только данной формой, тогда как значение настоящего неактуального может выражать и форма типа *открою*. Заметим, что критерий наименьшей зависимости от контекста в данном случае не может быть применен: трудно установить, какое из этих значений в меньшей степени обусловлено контекстом.

Другое проявление свойства специфичности: если данная грамматическая форма является немаркированным членом противопоставления, то ее главным значением является то, которое противопоставлено значению маркированного члена²⁰. Например, главным значением форм изъявительного наклонения является значение реальности, противопоставляемое ирреальным косвенным наклонениям, тогда как возможность имплицитного выражения формами индикатива значений, близких к семантике косвенных наклонений, относится к области прочих (вторичных) значений.

Можно выделить различные типы отношений между главным (основным) значением данной формы и остальными (вторичными) ее значениями. 1) Прочие частные значения выводятся из основного, являются подчиненными по отношению к нему. Так, основным среди частных значений совершенного вида²¹ является значение конкретно-фактическое (*Он сделал это; Сделай это!* и т. п.). Другие частные значения являются производными по отношению к нему. Ср. наглядно-примерное значение (*Он всегда так: сделает на копейку, а наговорит на рубль*); потенциальное (*Чего женщина не сделает, чтоб огорчить соперницу*); суммарное (*Он дважды сделал эту ошибку*). 2) Прочие частные значения не выводятся из главного, основного, не являются подчиненными по отношению к нему. Ср., например, отношение между значениями актуального и неактуального настоящего.

7. Возможны два подхода к функционированию грамматических форм. С одной стороны, исходным пунктом и центром описания языкового материала является грамматическая категория. Основными понятиями, используемыми при таком преимущественно грамматическом подходе, могут быть общие и частные значения грамматических форм. Исследование строится в направлении от грамматической системы языка к ее функционированию в речи, во взаимодействии с други-

²⁰ См.: R. Jakobson, Beitrag..., стр. 252—253.

²¹ В понимании частных видовых значений и в терминологии мы следуем за Ю. С. Масловым (см. его «Глагольный вид в современном болгарском литературном языке...», стр. 231—236, 239—245, 251—271, 307—312).

ми элементами контекста. С другой стороны, можно исходить из контекста, из того семантического комплекса, который выражается в процессе речи. При таком чисто функциональном подходе грамматическая форма рассматривается лишь как один из выразителей анализируемых семантических комплексов. Изучаются и такие комплексы, выражение которых обходится без участия форм, представляющих данную грамматическую категорию. Основным понятием, используемым при таком подходе, на наш взгляд, может быть функционально-семантическое микрополе.

Функционально-семантическое микрополе (далее ФМ) представляет собой минимальный элемент поля функционально-семантической категории²², обладающий самостоятельностью в плане содержания и в плане выражения (с учетом фактов полисемии и синкретизма). Микрополе может находиться как бы на стыке разных функционально-семантических категорий, — там, где их поля накладываются друг на друга. Следует подчеркнуть двусторонний характер микрополей: они имеют как план содержания, так и план выражения. Об отношении ФМ к языку и речи можно сказать то же, что было сказано выше о частных значениях грамматических форм.

Ряд микрополей обладает структурой, состоящей из двух элементов: «фона» и «спецификатора». Этот тип структуры ФМ в русском языке является обычным для категории темпоральности, а также наблюдается в рамках аспектуальности и модальности. Фон — это тот элемент ФМ, который обуславливает его семантическую основу. Фон не принадлежит только данному ФМ: он объединяет несколько микрополей. Спецификатор, накладываясь на тот или иной фон, определяет семантическую специфику именно данного ФМ — то, что отличает его от других микрополей с той же семантической основой. Так, в темпоральном микрополе расширенного настоящего (*Она на меня второй день дуется*) фоном является форма настоящего времени (существует множество других микрополей с тем же фоном настоящего); спецификатор *второй день* конкретизирует эту семантическую основу как значение настоящего, расширенного за счет определенного отрезка прошлого.

Выделяются две основные разновидности фона: 1) в качестве фона выступает грамматическая форма, представляющая в данном микрополе морфологическое ядро функционально-семантической категории; иначе говоря, фоном микрополя является его морфологическое ядро (см. приведенный выше пример); 2) фоном является тот или иной периферийный компонент данной категории. Например: *Вот-вот быть драке*. Фон темпорального микрополя ближайшего будущего здесь представлен инфинитивной конструкцией, которая создает семантическую основу микрополя — значение будущего.

Спецификатор микрополя выступает в следующих основных разновидностях. 1) Спецификатором является то или иное лексическое средство контекста или сочетание таких средств. Нередко эту функцию

²² Имеются в виду такие категории, которые в плане содержания аналогичны значениям, выражаемым категориями грамматическими, а в плане выражения представлены языковыми средствами, относящимися к разным уровням языка (речь идет о средствах морфологических, синтаксических, словообразовательных, лексических, различных комбинациях средств контекста). Критерием выделения рассматриваемых категорий (таких, как темпоральность, модальность, персональность, аспектуальность, залоговость, временная локализованность, нумеральность, падежность, определенность/неопределенность) является общность семантической функции взаимодействующих языковых элементов. Компонентами структуры ряда категорий являются грамматический центр (ядро) и периферия (подробнее см.: А. В. Бондарко, К проблематике функционально-семантических категорий...)

выполняют наречия или другие средства выражения обстоятельства. 2) В качестве спецификатора выступает интонация. Эта разновидность спецификатора характерна для микрополей модальности. Так, при общем фоне модальных микрополей со значением побуждения — формах императива — интонация является важнейшим средством, отличающим одно микрополе от другого. 3) Роль спецификатора играет речевая ситуация. Например: «... *Боюсь, что до Гусева он уже не дойдет...* [Вдали слышен шум электропоезда] *Электричка...*» (Арбузов). Специфику микрополя конкретного настоящего времени здесь определяет речевая ситуация, выраженная в сценической ремарке.

ФМ образуют определенную систему. Они связаны друг с другом отношениями тождества и различия. Фон, объединяя несколько микрополей в своего рода пучок, играет интегрирующую роль, а спецификаторы, противопоставляя одно микрополе другому, выполняют функцию дифференциаторов. Вместе с тем ФМ, отличающиеся друг от друга фоном, могут иметь общий спецификатор. Ср., например, микрополя ближайшего прошлого (*Он сию минуту вернулся*) и ближайшего будущего (*Он сию минуту вернется*). Таким образом, за пределами пучка ФМ с общим фоном спецификатор может приобрести интегрирующую функцию, а фон — дифференцирующую. Эта способность фона и спецификатора меняться местами при выражении отношений тождества и различия — существенный фактор в формировании многосторонних и подвижных связей микрополей в рамках более крупных и сложных функционально-семантических единств.

В рамках ФМ можно наблюдать взаимодействие различных функционально-семантических категорий. Это взаимодействие заключается, в частности, в том, что фон микрополя может относиться к одной категории, а спецификатор — к другой. Ср. микрополя конкретного и абстрактного настоящего: *Он сейчас волнуется* и *Он всегда волнуется*. Здесь фон (форма настоящего времени) относится к категории темпоральности, а спецификаторы (*сейчас — всегда*) — к категории временной локализованности/нелокализованности. Разные функционально-семантические категории могут быть представлены одним и тем же элементом микрополя. Например, в высказывании *С тобой никогда не договоришься* сочетание глагольной формы и отрицания выражает тесно связанные друг с другом семы темпоральности (значение настоящего) и модальности (значение невозможности осуществления действия). Сочетание этих сем образует семантическую основу темпорально-модального микрополя потенциального настоящего. Такие «смешанные» микрополя представляют собой как бы общий сегмент разных функционально-семантических категорий.

ФМ могут изучаться не только как уже готовые семантические комплексы, но и в самом процессе их формирования — от одного «узла» к другому, с учетом потенциальных возможностей дальнейшего разветвления в каждом узле. При таком «динамическом» анализе нас интересует, как появляются, накладываются друг на друга отдельные элементы, образующие семантический комплекс.

Понятия «функционально-семантическое микрополе» и «частное значение грамматической формы» относятся к разным аспектам анализа, но они могут быть соотнесены друг с другом. Частное значение грамматической формы является одной из разновидностей ФМ, когда в качестве фона микрополя выступает его морфологическое ядро. Таким образом, ФМ — более широкое понятие, чем частное значение грамматической формы. Всякое частное значение может быть интерпретировано как ФМ, но не всякое ФМ является частным значением грамматической формы.

8. Проблема общих и частных значений грамматических форм, с одной стороны (поскольку речь идет об общих значениях), относится к грамматике (морфологии), а с другой (поскольку речь идет о частных значениях), лишь отчасти относится к морфологии, выходит за рамки грамматики. Эта проблема связывает грамматику с той еще не получившей названия областью научного исследования, к которой относится изучение функционирования языковых средств, принадлежащих к разным уровням языка. Изучение взаимодействия этих средств, создающих семантические комплексы в процессе речи (исследование функционально-семантических полей и микрополей), не уместается ни в рамках морфологии, ни в пределах синтаксиса. Может быть, целесообразно видеть здесь особую, относительно самостоятельную область исследования, которая условно может быть названа «функционалогией».

ИЗ ИСТОРИИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Л. А. БУЛАХОВСКИЙ

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА РУССКИХ
НАИМЕНОВАНИЙ ПТИЦ *

Так называемая номеклатурная лексика и с нею особенности ее словообразования, кажется, до сих пор привлекали меньше внимания, чем заслуживают по своеобразию характерных для них черт. Имею в виду, впрочем, главным образом славянские языки. Возможно, что по отношению к другим языковым семействам сделано в области штудий такого рода больше.

В составе древнейших славянских наименований птиц очень мало образований безаффиксных, если не говорить о просто тематических. В общем такое же состояние представляют и восточнославянские языки как наследие древнейшего славянского. Из старого состава слов в них сохраняются, например: *вброн* (**vorna*); *дрозд*; *коч*; *суп* «коршун, *Vultur percnopterus*» (**sopъ*); *ворона* (**vorna*); *слуха* (**slōka*) «вальдшнеп, *Scolopax rusticola*»; *сова*; *сорока* (**sorka*); *гусь* (**gъsъ*) — в-основа муж. рода, и др.

Коч (русск. диалект., укр. *kic*, род. *кочá*) «дрозд». Некоторые сомнения относительно исходного места ударения слова. Сербохорватский и словенский языки определенно указывают на старое накоренное ударение. К тому же ведет слова *kos*, а не *kōs* «черный дрозд»¹. Слово **koъ* обыкновенно считают родственным с греч.-латинч. *χοϊφύος* и с греч. *κόσφορος*. Морфологические отношения могут быть предметом спора. Вполне ясными во всяком случае они не являются. В теоретическом плане важно, что образование изолировано и никаких чередований не обнаруживает.

С точки зрения дославянских отношений нет уверенности, что **vorna*, **vorna*, действительно, безаффиксные образования в строгом смысле слова. Хотя и нет никаких определенных данных этимологического характера в пользу предположения корневой *vor-*, это необходимо допустить по основаниям фонетико-морфологическим: сочетание двух сонорных не морфологического происхождения индоевропейские языки не знают, и вероятно, в конце концов, что и в обоих этих словах оно образовалось морфологическим путем. Последнее относится и к балтийским соответствиям.

Бур, укр. *кур*: **kurъ*. Слово надежно засвидетельствовано в ряде славянских языков и без колебаний может быть отнесено к уже древнейшим славянским. Ср. и производное от него *курица* и под. Для современного сознания слово не распадается на элементы корневой — *ку-* и словообразовательный *-р*. Но для глубокой древности такой вопрос может быть поставлен, поскольку, если прямо не исходить из предположения, что звукоподражанием является вся группа звуков *кур* (*kur*), надо принять, что *-р* (*-r*) следует выделить в качестве формального элемента хотя бы по известному закону индоевропейской фонетики о несочетаемости *y* (и из **oъ*) и *p* (*r*). Формальный элемент *-р* (*-r*) известен и из других слов общеславянского лексического фонда, например, **žirъ*, **pirъ*, хотя и не выделяется как носитель какого-то определенного значения, близкого к тому, какое принадлежит ему в слове **kurъ*.

Приходится поэтому учитывать известную вероятность принимаемой многими этимологии **koъ-ръ*, с предположением, что **koъ* — первоначально глагольный корень, который значил «кричать» и под. Ср. особенно др.-инд. *kauri* «кричит, мычит».

Проблематика, впрочем, этим не исчерпывается. Обращают на себя внимание параллели в других индоевропейских языках — латыш. *kaurēt* «мычать, кричать», дат. *caurire* (о специальном крике пантеры) с сонорным *r*, входящим в состав самой

* Настоящая статья находилась в рукописном архиве покойного акад. АН УССР Л. А. Булаховского. Как известно, в послевоенные годы Л. А. Булаховский опубликовал ряд работ, посвященных славянским наименованиям птиц. [Л. А. Булаховский, ВСЯ, Львов, 1948, 1; то же: «Мовознавство», VI, 1948; е го же, Общеславянские названия птиц, ИАН ОЛЯ, 1948, 2; е го же, Славянские наименования птиц типа сложных (compōsita), «Наукові записки Київського держ. ун-ту», VII, 3 — Філол. збірник, 2, 1948]. Настоящая статья продолжает рассмотрение этой интересной лексико-семантической группы в основном в словообразовательно-этимологическом плане. Подготовила статью к печати Т. Б. Лукинова. — *Ред.*

¹ Ср., впрочем, неясное чеш. диалект. (ходск.) *kōs*.

корневой части соответствующих глаголов. Более подробные справки см., например, у М. Фасмера: REW, I, стр. 697.

В. Махек [V. Machek, Etymologický slovník jazyka českého a slovenského, Praha, 1957 (далее ESJС), стр. 248] принимает для слова маловероятную связь с корнем **kur-* «бежать», представленным литовским словом *kūrti* и латинским *currere*. В славянских языках соответствующий корень, однако, почти отсутствует. Махек видит его в словачком *-kúrit'*, выступающем в префиксальных образованиях с *pri-* и *pre-* — предположение вряд ли надежное, тем более, что параллелям с кратким и в индоевропейских языках ожидалось бы на славянской почве соответствие в виде рефлексов *ъ*.

Соя, *сойка* <**soja*, **sojka*. Это наименование птицы *Corvus glandarius* сохранили в правильных отражениях все славянские языки, кроме нижнелужицкого. Как отклонения, рядом с закономерными формами, известны, однако, укр. *дзбля*, *дзбійка*. Эта диалектная форма (формы) находится, может быть, в связи еще с одним диалектным же наименованием сойки — *дзедзбра*. Последнее, вероятно, нового звукоподражательного происхождения (ср. *дзержотати* «щебетать, чирикать» и под.). Заслуживает внимания при этом, что *дзедзбра* близко напоминает по звукам ряд слов: *дзедзельца*, *дзеджерца* «чистуха, шеголиха, франтиха», *дзёгер*, род *дзёсера*, *дзёнджих* «франтик, шёголь», *дзеджуитися* «кокетничать, хорошищаться». Последние могут быть диалектными заимствованиями, но не исключена и возможность, что они сами так или иначе восходят к вариантам слова *дзедзбра*. В этом отношении в качестве аналогии можно привести украинское же *жежик* «воробей» и «вертеник, вертопрах». Не ясно диалект. *зюя*.

Звукоподражательный характер очень большого числа славянских названий птиц не подлежит никакому сомнению. При этом дело идет не только о значительном числе названий, полученных птицами опосредствованно — от установившихся в языке глаголов, корни которых более или менее достоверно должны или могут быть возведены к звукоподражательным, а о звукоподражании вне какого-либо промежуточного звена, — с одним только подчинением в языке структурным (морфологическим) моментам. Случаи внеморфологических слов — названий птиц вроде русск. *фиби* «*Tringa glareola*» («медокрапчатый, зеленоногий куличок» — Даль)², укр. диалектн. *сплю* «*Otus scops*»³ — очень редки (ср. сиб. *фифик* «фип, пташка снегирь» — Даль; *сплюга*, *сплюшка* — слова, оформленные в духе обычного словообразования).

Подчеркну, что никак нельзя, ставя вопрос о передаче славянскими языками друг другу тех или других названий птиц, серьезно считаться с возможностью независимого в них возникновения многих совпадающих звукоподражательных. Хотя звукоподражательные наименования птиц возникали не раз и возникали, конечно, и сейчас независимо в разных говорах славянского мира, но характер хотя бы избираемых для их оформления суффиксов в очень большом количестве случаев достаточно ориентирует в том, имеем ли мы дело с новообразованием или же с чем-то относящимся к наследству от старины.

Да и само звукоподражание в ряде случаев, при отсутствии слишком характерного единственного крика птицы, нередко существует настолько индивидуализированным, что подозрение независимого возникновения соответствующих слов в отдельных языках оказывается очень рискованным; ср., например, такие звукоподражательные наименования, как *чиж* или *чайка*. Подобные слова нужно, конечно, рассматривать или как наследство обшлявнянской старины, или как результат заимствования их одним славянским языком у другого. В подавляющем большинстве случаев приходится отдать предпочтение первому предположению, потому что для второго оказывается, вообще говоря, мало аналогий в случаях с ясными фонетическими и другими приметами заимствования: некижко заимствованные слова очень редко распространяются на территории, столь же обширные, как те, которые занимаются словами, унаследованными из «раславянской» старины.

Среди другого для славянских наименований птиц в структурном отношении характерно, как и следует ожидать для слов едва ли не в большинстве звукоподражательного происхождения, наличие относительно многочисленных случаев редупликации и (у двоения) корневых элементов. Види этой редупликации довольно разнообразны. Из того в восточнославянских языках, что, по всем вероятностям, восходит уже к древнейшему славянскому лексическому фонду, можно назвать наименования: *кукушка* (наиболее древний вид слова, скорее всего, — *кукавица*; ср. русск.-церковнослав. *кукавица*, болг. *кукувица*, серб. *кукавица* с «острой» краткой интонацией гласного первого слога слова, словен. *kukavica*, чеш. *kukavka*, *kukavice*,

² «Небольшой, пестрый, каштаново-серебряный куличок, названный охотниками таким именем именно потому, что крик его похож на повторенные слога: *фи, фи*. Это название также местное» (С. Т. Аксаков, «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии», М., 1852, стр. 102).

³ «Вскоре после прилета можно услышать голос этой маленькой совы — однообразное, но певучее *сплюю, сплюю...*» (С. А. Бутурлин, В. Г. Гейтнер, Г. П. Деметьев и др., Птицы, М.—Л., 1940, стр. 139).

ukavička, н.-луж. *kukawa*. Выбор суффиксального элемента в русском языке *-ушк-* правдоподобно объясняется окончанием корневого элемента *-у*. Что касается самого корневого элемента, интересен факт, что в древнерусском языке первый слог выступал не в виде *ку-*, а и в виде *-ко-*. Предполагать ли, что в данном случае действовала дассимиляция — отталкивание от *ку* второго слога, или как-то на первую часть слова подействовала ассоциация с *кочок* «ветух» или *кочок* «курица», — остановиться определенно на том, а не на другом объяснении трудно. Заслуживает, впрочем, внимания, что, хотя в большинстве языков крик кукушки передается именно как *kuku* или близко к этому, в некоторых (немногих) он воспроизводится *тсо* звуком, близким к *о*.

Перепел < **perpelъ* или **perpergъ* с дассимиляцией плавных. В отдельных славянских языках и говорах те или другие изменения согласных ассимилятивного или дассимилятивного характера. См., например, REW, II, стр. 339—340.

Наименование, несомненно, — междометного происхождения. Представляет ли оно какое-то приближительное подражание крику птицы или же шуму ее крыльев при взлете, после очень основательной аргументации В. Махека (ESJC, стр. 241), решить следует в пользу первого предположения. Параллели из других индоевропейских и неиндоевропейских языков — у Фасмера, указ. соч.

Тетерев муж. рода (ср. в русском литературном языке род. пад. множ. числа *тетеревей*; др.-русск. *тетеревь*); русск.-церковнослав. *тетрѣвъ*, болг. *tétreв*, чеш. *tetřev*, словац. *tetřov* (с нефонетическим *о* вместо *e*), польск. *cietrzew* «глухарь», Tetrao urogallus L.). Словенское *tetrev* не должно привлекаться к сравнению как заимствованное из других славянских языков.

В древнейшем славянском его виде образование представляло, видимо, **tetervъ* — *ь*-основу муж. рода, с неточной дупликацией. Сопоставления с другими индоевропейскими языками см., например, REW, III, стр. 100—101. *-ъв* в слове, надо думать, — старый суффиксид. Серб. *tétrujeб*, что касается своей второй части, конечно, не первоначально и свое *б* вместо *г* получило, скорее всего, от наименования другой птицы — *јетријеб*, которому, в свою очередь, передало свое *-је* (рефлекс «ята») вместо фонетического *е*, рефлекса носового *е*. Вероятно, уже на почве отдельных языков или диалектов возникали образования вроде русск. *тетѣра*, *тетѣрка*, диалект. *тетѣра*, *тетѣрка*, укр. *тетерѣк*, *тетѣра*, белорусск. *цацѣра*, частично перенимавшиеся языками (говорами) друг от друга.

Как острый заявляет о себе применительно к морфологической стороне славянских наименований птиц вопрос о наблюдающихся у них чередованиях *е* и *я* в *х* л а с н и х. Легкого и бесспорного ответа дать на него, однако, кажется, нельзя; но сама соответствующая проблематика не лишена поучительности.

Опираясь на аналогию обычного индоевропейского качественного чередования *е* : *о* здесь было бы рискованно по самому характеру наименований, о которых идет речь. Многие из них, бесспорно, звукоподражательного происхождения и, как такие, требуют к себе поэтому специального подхода.

Кочет : *кочет* «ветух». Наиболее ясный случай чередования, что никак, однако, не устраняет загадочности его возникновения. Возможна (но не более) догадка о влиянии на **kokot* суффиксида *-et*, впрочем, очень слабо засвидетельствованного. Эта догадка, таким образом, на сильные основания не опирается.

По всей вероятности, ничего общего с похожими наименованиями петуха (*кочет*, *кочет*) не имеют встречающиеся в разных славянских языках названия других птиц с огласовкой в виде двух *е*: русск. *чечет*, *чечѣтка* «коноплянка, *Fringilla linaria*», укр. *чечітка*, белорусск. *чачітка*, словен. *čēčēt* «нем. das Meerzeischen», чеш. *čechetka*, словац. *čebetka* «коноплянка, *Fringilla cannabina*», польск. *czeczotka*. М. Фасмер (REW, III, стр. 334), думаю, справедливо присоединяется к распространяемому мнению о звукоподражательном происхождении этой группы наименований. Возможно, однако, что соответствующий корень возник не на славянской почве, а, как можно догадываться по латинским параллелям архаичного типа (*kekētis* и под.), значительно раньше (до славянского перехода *ke* в *če* и под.). Ср. о соответствующих словах и у Ф. Славского [Fr. Sławski, Słownik etymologiczny języka polskiego, I, Kraków, 1952—1956 (далее SEP), стр. 115].

Сложнее в сравнительно-историческом аспекте факты, относящиеся к древнему наименованию куропатки — русско-церковнослав. *орляб* жнн. рода — греч. *πέρδιξ*, укр. *орлябок*, *брыляк* «рыбчик», Tetrao bonatia (Tetrastes bonasia). Огласовку начального гласного, по-видимому, следует считать обычным восточнославянским фонетическим рефлексом древнейшего славянского *žē* (ср. словен. *jerēb*, *jerēbica* и под.) в положении перед слогом с гласным переднего ряда. Другие славянские языки свидетельствуют, однако, и о наличии старого чередования начального гласного слова в виде *ja* (*ja*) — из долгого *e*. Огласовка *a* представлена, например, в др.-русско-церковнослав. в диалект. укр. *ярубѣць*, в болг. *яребуца*, в серб. *јарѣб*, в польск. *jarzabek*. Гласный второго слога в его древнем виде, естественно реконструируется в виде носового *e* и при этом, что может быть принято без всяких натяжек, с циркумфлексивой (нисходящей) интонацией; более древний его вид надо, таким образом, представить в виде *-em-*, т. е. с краткостной первой частью дифтонгического сочетания.

Диалект. укр. *ярубець* отражает прозрачное влияние другого наименования птицы, например *голубець* «голубок» или *яструбець* «ястребок». Вставное *я* в болг. *ярембича* — вопрос узкодиалектного характера (народная этимология семантически немотивированного характера?).

Контроверзы, относящиеся к возможно родственным словам в других индоевропейских языках, см., например, в РЕУ, II, стр. 279—280, ESJC, стр. 176, SEJP, стр. 507—508, и др. Почти все исследователи сходятся во мнении о большой старине наименования.

Определенно своеобразно оформилось уже в древнейшем славянском языке слово *лебедь*. Соответственная форма восстанавливается отнюдь не без сомнений. Нужно ли предполагать **lebedь* или **lebedь*? В пользу первой реконструкции говорит нынешняя русская форма, не согласующаяся, однако, с тем, на что указывает имя прилагательное *лебязжий*, и засвидетельствованное для XI в. русско-церковнослав. написание *лебедь*. С реконструкцией **lebedь* в согласии находятся также укр. *лѣбѣдъ*, род. *лѣбѣды*, белорусск. *лѣбѣдзь*. На праформу с носовым гласным *ę* во втором слоге, кроме прилагательного *лебязжий*, других указаний нет. Праформа, вероятно, представляла *ь*-основу жен. и муж. рода.

Весьма вероятно, что (искожи?) в слове были варианты ударения. Подозреть это дает основание хотя бы словен. диалект. *lebed* с рефлексацией носового *e* во втором слоге и восходящей, т. е. не перенесенной с предшествующего слога, долготой. Несомненно, образованию издавна был свойствен и аблаутный вариант гласного во втором слоге — носовое *o*, вариант, надежно свидетельствуемый языками сербским, словенским, чешским, словацким, польским и кашубским. И при этом варианте чередования старое место ударения может быть предметом специальных соображений; ср. хотя бы серб. *лабӯд* [с острой краткостью начального *a* и (нисходящей) долготой заударного *y*] и словенск. *labod* с долгим *o* — рефлексом носового *o* и восходящей долготы, т. е., по-видимому, отражением былой предупредной долготы.

Начальное *la* в слове — старая загадка славянской сравнительно-исторической фонетики⁴. Восходит оно скорее всего к первоначальному **oli*, судя по западославянским рефлексам, с древнейшей акутовой интонацией. Словенская восходящая долгота во втором слоге у слова *lebed*, вероятно, возникла под влиянием параллельной формы с суффиксом, имевшим долгое носовое *o*.

Слово имеет надежные соответствия себе в германских языках и может считаться уже древнейшим индоевропейским (ср.: РЕУ, II, стр. 22). Суффиксальный элемент в виде *-odь* может быть принят на основании литов. *balaidis* «голубь» (*-andis*). Интонация *a* в слове, впрочем, спорна; колеблется. Совокупность фактов ведет к догадке, что слово представляет очень древнее образование с суффиксом специального (узкого) значения (названия птиц?).

Можно подозревать древне чередования в группе наименований птиц (птичек), начинающихся со *ско-*: *ше-* и *под-*, но такое понимание по крайней мере сомнительно. Гораздо более вероятно, что в этой группе фактов мы имеем дело, как и в ряде других случаев, где этот момент выступает с полной определенностью, — просто с внешним сближением более или менее схожих наименований. При этом дело даже не в родственности называемых птиц. Для дальнейшего более тесного сближения, видимо, достаточным оказывалось самого внешнего сходства наименования, а с семантической стороны и одного факта принадлежности соответствующих слов к той же сфере восприятия — наименованиям птиц.

Наименования, о которых идет речь: *сковорѣнок* «жворѣнок», укр. *шкворѣнок*, русско-церковнослав. и др. *сковранѣцъ*, болг. *сковра̀нецъ* и *сколовра̀нецъ*, чеш. *škovraněk* с довольно многочисленными вариантами, словац. *škovran*, *škovránok* и т. д. Литературу, относящуюся к этому слову, см., например: РЕУ, II, стр. 641. Фасмер склонен поддерживать мнение тех, кто, как Матценауэр и Брюкнер, доискали здесь наличие префикса *ско-*. Эта догадка, однако, мало внушает к себе доверия уже по самому характеру наименований, для которых предполагается «префикс». А поскольку Брюкнер (A. Brückner, *Słownik etymologiczny języka polskiego*, Warszawa, 1957, стр. 496) даже уточняет значение предполагаемых им префиксов *ско-* и *ко-*, как будто бы выражающих удивление или смех, и ссылается при этом на слово *škomoroch* (о последнем см.: РЕУ, II, стр. 643—644), догадка, думаю, становится лишней вероятности.

Щеврѣнок «жворѣнок, Алауда». Диалект. *щеврѣнка* «Anthus». Существующие объяснения см. в РЕУ, III, стр. 444. Ввиду преимущественного распространения обличия *жворѣнок* думать об отражении в первом слоге *щеврѣнок* и под. старого чередования очень рискованно. Вероятнее позднее сближение с *щеветать*, *щегленок* или чем-нибудь подобным.

⁴ Ср.: Г. А. Ильинский, *Православная грамматика*, Нежин, 1916, § 413, стр. 124—126; А. Мейе, *Общеславянский язык*, М., 1951, § 82, 83; A. Vailant, *Grammaire comparée des langues slaves*, I, Lyon — Paris, 1950, § 69, стр. 158—161.

Спорность и даже прямая сомнительность этимологии первой части многих сложенных — наименований птиц, по-видимому, едва ли не в первую очередь — результат происшедших в разное время и в разных диалектах гаплогогических изменений в «длинных» словах этого рода, изменений, исказивших первоначальные звучания до неузнаваемости. Легче поддаются, хотя и в отдельных случаях только гипотетическому, как мы видели, учету те изменения, которые надо отнести на счет простейших ассимилятивных и диссимилятивных процессов. Вместе с действием в ряде случаев еще народной этимологии возникли те сразу бросающиеся в глаза своей необычностью для слов других категорий нестрогой факты, которые так часто являются предметом контроверз этимологистов, контроверз, убедительно разрешить которые у нас в конце концов так мало надежд. Психологическая почва для всех искажений, отклонений от закономерного здесь в общем одна и та же — круг соответствующих понятий не принадлежит к числу «серьезных», а обращается в сознании говорящих как нечто второстепенное, не требующее точности при своем воспроизведении и в этом отношении слабо контролируется и теми, кто слушает.

Одним из наиболее «чуждых» слов является в своей первой части наименование *жаворонка* — со второй частью **воглькь*. В связи с вопросом об искажениях отмечу тут только украинские диалектные формы: *жайворонк*, *жервінок*, лемк. *жаворонк*, *джаворок*, ясене — литерат. *жайворонк*, по-видимому, контаминация *жаворонк* и *э(р)айворон*. Сокращенная форма — в белорусск. *жаўрук*. Догадки о первоначальном составе этого трудного для объяснения слова в славянских языках вообще мною уже высказывались в разных статьях; см., например, в частности: «Семасиологические этюды. Славянские наименования птиц», ВСЯ, вып. I, Львов, 1948, стр. 193—195. Другие соображения, в большинстве, впрочем, малоубедительные, приводятся в REW, I, стр. 408.

В основном правильно подходит к вопросу В. Махек (ESJC, стр. 450), считающий, что различные метатезы, диссимиляции и под. исказили слово до неузнаваемости его первоначального состава.

Название птицы *Oriolus galbula* иволга для первой части слова не имеет достаточно убедительного объяснения. Сопоставления, относящиеся ко второй, см. в REW, I, стр. 469. Поскольку догадка о префиксе *t-* крайне сомнительна, первую часть слова можно толковать как остаток какого-то полного слова. Исходя из семантической аналогии ср.-в.-нем. *witeval* «иволга» (*wite* «дерево»), швейцарско-нем. *Wiedewalch* (XV в.) и др., высказываю догадку о древнейшем слав. **ivo-ьlga*. Эта птица охотнее всего гнездится на ивах, осокорях, ольхах (ср., например: С. А. Бутурлин, В. Т. Гентвер и др., указ. соч., стр. 53; Ф. И. Страутман, Птицы советских Карпат, Киев, 1954, стр. 99, и др.). Предполагаю, таким образом, что обращающаяся в настоящее время форма слова представляет по происхождению гаплогогическое образование. Кроме русского языка⁵, к нему, может быть, восходят еще в искажении польск. *wywlga*, *wilga* и др.

Префиксы а и н е в образовании относительно немногочисленны (более других их имеет украинский язык) и в подавляющем большинстве относятся к более позднему, индивидуальному составу языков. Распределяются они в существенном по таким категориям:

1. Некоторое количество их приходится на производные от имен существительных со значением уменьшительности: русск. *подбрык*, укр. *підбрык*, *підбрател*, *підсокбрык*;

2. Большое количество отыменных относится к указывающим на характер местности, флоры и под., где водится соответствующая птица: русск. *помбрык*, *поручейник*, укр. *побережляк*, *поболотянка*, *побідник*, *підкронієник*, *підскибиця* «шпиглаца, чибис» (ср. *скиба* «пласт земли при паханьи»; название, может быть, — переосмысленное звукоподражательное). Тот же характер носят и такие, связанные с жилищем человека, как: укр. *підстришник*, *піджатицька*, *політник*, *поллоток*, болг. *подплетница* «кранивник», *подплетач* «то же»;

3. Префикс принадлежит к составу формы типа поведительного наклонения, входящей в образование: укр. *задержіст*, *закруглогола*, *подовбидерево*;

4. Префикс (обыкновенно — *po-*) обозначает длительность или прерывистость действия глагольной основы слова: русск. *погныши*, укр. *погнич*, диалект. *погудь-кало* «неясить серая», *попівийлик* «трясогузка белая». Особняком в системе стоит укр. *позовів* («похоронил» «сыч домовый») — со значением совершенного вида основы.

5. Под префикс адаптирована начальная часть звукоподражательного по происхождению названия: укр. (диалект.) *підколоть*, *підколок* и под. «перелыга», болг. *подположка*, словен. *ропрда* «то же».

Обращает на себя внимание тот факт, что даже в случаях, когда мы имеем дело в названиях славянских птиц с беспорядными с у ф ф и к с а м и, выделяющимися для

⁵ При такой догадке птогнационная сторона слова (два элемента с акуловыми гласными) не представляет никаких трудностей.

нашего сознания путем четкого противопоставления им этимологически прозрачной корневой («материальной») части слова и наличием достаточно определенных ассоциаций (сближений) подобных формальных элементов в других словах, — выделяющиеся суффиксы особенно часто принадлежат к редким или относительно редким и малопродуктивным. В качестве иллюстраций ограничиваемся несколькими примерами: Ср.: *соловей*, род. *соловея*; но столь редки: *пелух* (ср. *пастух*; серб. *пастуџ*).

В объяснении пуждается многое, относящееся к слову *журавль*. Что касается первого слога слова, то он сейчас нас не интересует. Прямо интересующий нас сейчас вопрос — о суффиксальном элементе; но по этому поводу, собственно, нельзя заметить ничего серьезного. Ясно, что с точки зрения очень древних отношений корневой элемент выделяется в виде и.-в. **ger-* (слав. *žer-*): литов. *gėrvė*, латыш. *džērve* и под. Сооставления, выглядящие иначе, из других славянских языков см., например, в REW, I, стр. 433—434. На славянской и балтийской почве заявляет о себе суффиксоид *-с-*, но выделяющийся отталкиванием от былой корневой части суффикс *-al(-ly)* известен только у этого слова (о *рукав*, как вряд ли имеющем с ним что-либо общее, серьезно говорить не приходится).

Орёл, род. *орла*: **orьlь*, род. **orьla*. Слово воспринимается в настоящее время четко, но несомненно представляет с исторической точки зрения суффиксальное образование. Суффикс *-ьl(ь)*, род. *-ьl(a)* достаточно отчетливо, хотя и не как производительный, выступает и в некоторых других названиях птиц и, реже, в некоторых наименованиях млекопитающих: ср. др. *пльмь* (*пльмьл*), *вльма*, *козёл*.

Примеры говорят об ограничительном условии звукового порядка: корня, при которых выступает этот суффикс, оканчиваются на зубной согласный звук.

Специальных замечаний требуют два наименования млекопитающих: *осёл*; в этом заимствованном из готского слове *-ьl(ь)* является продуктом осмысления былого *-iluz* через славянское *ьl(ь)*, скорее всего — в *козель*. Остроумно, но немного сомнительнее, суффикс *-ьl(ь)* подозревают в названии реки *Псел*, род. *Псла*, причем этимологию слова толкуют как **ръ-ьль* «собака», впрочем, с ближайше неясным при таком предположении значением суффиксального элемента (об этой этимологии см. REW, II, стр. 457). О предпологаемом увеличительном значении **-ьl-* см. там же, стр. 276.

Морфологическая проблематика образований с суффиксом *-ьl(ь)* не исчерпывается сказанным. Объяснения требует, например, польск. *-ol*, которое, вероятно, перенято из образований, параллельных русскому *шегол* и под., *kwiczol* (такого рода уподобления в названиях птиц, как уже замечено выше, вообще очень редки). Заметим попутно, что и по поводу корневой части соответствующих славянских наименований птиц дело не обходится без дополнительных частных вопросов, но на все из которых можно сейчас дать безупречные ответы.

Сербское отклонение в названии дятла с рефлексом «ятя» вместо ожидаемого рефлекса носового *e* объяснимо влиянием похожего по звукам наименования петуха (ср. обратное в древнерусском образовании *пльмь* вместо *пльмьл*).

Словенская форма с рефлексом «ятя» вместо рефлекса носового *e* в REW, I, стр. 387, вероятно, ошибка (результат технического затруднения); правильно в словаре М. Плетершина.

Собол, род. *собола*; *собка*, род. *соколя*; **sokolь*. В настоящее время слово во всех славянских языках воспринимается как цельное. Никто не сомневается в принадлежности его уже древнейшему славянскому языку. Но этимология его спорна, и нет твердой уверенности, что его образование прямо связано с почвой, далее давшей «праславянские» продукты. Иными словами, наличие в слове морфологического элемента сомнительно. Те, кто сомневается в очень древнем заимствовании слова с востока, могут в первой части слова (*sok-*) видеть корень, родственный глаголу *сохити* «охотиться, преследовать», а часть *-ol-* рассматривать как суффиксальную в давнем прошлом, допускающую сближение с подобными элементами в других славянских наименованиях птиц (польск. *kwiczol* и под.).

Смелее догадка о родстве этого *-ol* вообще с разными «суффиксоидами», включающими в качестве своего окончания *-l-* и встречающимися именно у названий птиц (животных). О состоянии вопроса относительно этимологии слова легко составить себе представление хотя бы по важнейшим новейшим этимологическим словарям славянских языков (см., например: REW, II, стр. 688—689; EJSJ, стр. 463). Более других интересны соображения, изложенные в книге К. Мозиńskiego «Первоначальное распространение праславянского языка» (К. Moszyński, Pierwotny zasięg języka prasłowiańskiego, Wrocław — Kraków, 1957, стр. 133 и сл.).

В этой связи заслуживают отдельного упоминания еще образования *коростель*, укр. *korostěl* «Wiesenschager» и *крозаль* «Mergus merganser», для которых со значительной вероятностью предполагается (ср., например: REW, I, стр. 632—633, 669) корневая часть звукоподражательного происхождения. Суффиксом, таким образом, надо выделить как *-ель* и *-аль*.

Несмотря на многочисленные попытки установить этимологию слова *ястреб*, ни одно из до сих пор предложенных объяснений не может считаться бесспорным. Существующие догадки см., например, в соответствующих этимологических словарях:

E. Berneker, *Slavisches etymologisches Wörterbuch*, I Heidelberg, 1924, стр. 32—33 — далее SEW; REW, III, стр. 497—498; SEJP, стр. 518—520, ESJC, стр. 177.

Несомненно, что второй слог слова в его древнейшем виде звучал с носовым *e* и современный вид слова в русском языке представляет относительно позднее орфографическое отклонение. Основное расхождение во мнениях этимологов сводится к тому, смотреть ли на слово как на первоначальное словосложение (*compositum*), или видеть в части *-gb-* остаток очень древнего суффикса, родственные которому, со значением птиц (животных) в большей или меньшей мере известны и другим индоевропейским языкам. Склоняюсь к последнему мнению, и в основном по акцентологическим основаниям. Древнейшее славянское (*ǰastr-gb-*, по свидетельству словенского языка (неподвижная нисходящая долгота гласного первого слога), следует возводить к праформе с искони акутовым *a*, подвергшимся метатонии в новоциркумфлексовую долготу под влиянием второго долготного гласного нециркумфлексного характера. Нет никаких оснований ничто подобное предполагать для *-gb-* как второй части сложения; наиболее вероятно поэтому думать о суффиксе особого фонетического характера (по происхождению **emb-*).

Для жизни редких суффиксов в словах номенклатурного характера интересны наблюдающиеся в отдельных языках и говорах замены суффиксами более распространенными. См., например: словен. диалект. *ǰastran*, серб. *ǰastrujeb* (вероятно, с отражением названия другой птицы — тетерева), укр. *ǰstrub* (влияние голубь «голубь»), польск. (единичное в XV в.) *ǰastram*.

Словом с обособляющимся суффиксальным элементом и слабо выделяющимся корневым является, например, *лелѣк* *Caprimulgus europaeus*. *Лелѣк*, *лялок*, судя по наличию соответствующих образований в западнославянских языках, — уже древнейшее славянское слово. Что его **-ьк(ъ)* — действительно древний самостоятельный элемент, ясно из сопоставления слова с родственными балтийскими (см., например: REW, II, стр. 28).

В морфологическом аспекте останавливает на себе внимание польск. *lelet* «сыч, Strix» (укр. *леліт* «сыч, Strix», вероятно, заимствовано из польского), с сомнительным суффиксальным элементом **-et* **/-yt*.

Примечание: для *челюк* род. *челюка* «Falco subbuteo» можно подозревать обыкновенный суффикс *-ок*, род. *-ка* (из **ькъ*, род. **ька*), получивший *-о* в косвенных падежах единственного числа и во множественном по фонетической тенденции (отталкивание от группы согласных *-гак*).

Суффиксальные элементы, служащие для образования названий птиц, в значительной своей части имеют эмоциональную окраску некоторой грубоватости или, наоборот, ласкательности.

Ласковость, сосредоточенная в суффиксальном элементе слова, при отсутствии самостоятельного (выделяемого) значения материальной части, характерна, например, для слова *лѣсточка* (этимологическая проблематика — в REW, II, стр. 17); менее определено — для укр. *лѣстїока*, белорусск. *лѣстаўка*. Тот же характер состава параллельного (синонимичного) слова обнаруживается в польском наименовании этой птицы — *ǰaskółka*.

Дерящ, *деркѣк* «Rallus grex». Первая, корневая, часть слова довольно отчетливо выделяется как звукоподражательная; вторая, формальная — как известный суфф.-*щ*.

Диалект. *лѣун* из *лѣуѣн* «петух». Необычное ударение, вероятно, возникло после утраты *в* как результат распространенной тенденции в группах *-ау-*, *-еу-* и под. переносить ударение на предшествующий гласный.

...Известен суффикс *-ур(а)* в нескольких наименованиях птиц с этимологической неясной корневой частью. Из русских это: *чепура* (чепура — пужда) «Ardea Garrettae» (Linnaeus, Syst. Nat.).

Думаю, что неверно приведенное А. М. Судиловым в книге «Птицы Советского Союза» (II, стр. 327), объяснение названия *качурки* «Hydrobates Boie»: «Русское название *Качурка* — от того же корня, что «качуриться», «окачуриться» (умереть). От широко распространенного у европейских народов на севере поверья, что качурки — перевоплощенные души погибших на море матросов. Заслуживает внимания не только смысла, но и звуковая аналогия со старым народным названием этих птиц у английских моряков — «Carey's Chicken» (сокращенное от «Mother Carey's Chicken», что означает «птицы богоматери», Mother Carey; Mater Cara...». «Звуковая аналогия», о которой тут говорится, очень натянута. Вероятнее, что *качурка* восходит к более раннему, теперь вышедшему из употребления названию **качуря*, как-то находившемуся в связи с встречающимися в других славянских языках названием селезня *каѣог*, *каѣур* (в этимологии см.: SEW, I, стр. 465). Что касается «качуриться», «окачуриться», то этимология этих слов ясной отношь не является. Предложено недавно М. Фасмером (REW, I, стр. 543) толкование: *чурка* «колода» с префиксальным *ка-*, удовлетворительное со стороны семантической, вряд ли вероятно в морфологическом отношении, поскольку существование префикса *ка-* очень сомнительно. Связь названия с глаголами *каѣити*, *каѣати* (о которых см. SEW, I, стр. 465) тоже очень сомнительна.

ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНЫХ ЖУРНАЛОВ

Э. М. УЛЕНБЕК

ЕЩЕ РАЗ О ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ГРАММАТИКЕ *

IV

Хомский и его последователи неоднократно настаивали на том, что их работу надо рассматривать как продолжение традиционной концепции⁸⁸. Однако для правильной оценки трансформационной теории важно иметь в виду, что по крайней мере в двух отношениях эта теория остается близкой тому типу структурной лингвистики, которая представлена работами Харриса⁸⁹. Речь идет, во-первых, о трактовке рассматриваемой теорией семантического аспекта языка и о пренебрежении этой теорией слова как основной лингвистической единицы. В своих «Syntactic structures» Хомский, подобно Харрису, пытался по возможности устранить понятие значения из дескриптивной лингвистики⁹⁰. В предложенной им в 1957 г. модели грамматики семантическому аспекту вообще не было уделено никакого внимания. Он даже специально подчеркивал, что грамматику можно «лучше всего сформулировать в виде самостоятельного и обособленного исследования, независимо от семантики»⁹¹. Семантика рассматривалась как совершенно иная область, которую, вероятно, следует изучать с помощью особой теории⁹². При этом, однако, допускалось, что имеются важные корреляции между двумя указанными областями: Хомский оканчивает свою книгу словами о том, что «эти корреляции могут стать частью более общей теории языка, в задачи которой входит изучение синтаксиса и семантики и точек их соприкосновения»⁹³. Подобная концепция о двух различных областях исследования недавно была заменена другой точкой зрения. В своей работе «Current issues» Хомский сейчас исходит из того, что порождающая грамматика состоит из трех компонентов — синтаксического и двух подчиненных ему — фонологического и семантического⁹⁴. Подобная перемена вызвана статьей Каца и Фодора в журнале «Language», в которой было показано, что даже наиболее безупречная трансформационная грамматика типа той, которая была развита в 1957 г., не может считаться адекватной для решения соответствующих проблем: эта грамматика дает одинаковое описание предложений с различными значениями и, с другой стороны, различные описания для предложений, которые (по крайней мере, по мнению Каца и Фодора) являются идентичными по своему значению⁹⁵. Следующим шагом в развитии трансформационной теории было признание Хомским в 1964 г., что «важно» выделять лексику, хотя он не определил ее место в рамках новой

* Начало статьи Э. М. Уленбека см.: ВЯ, 1968, 3.

⁸⁸ Это мнение было недавно выражено Н. Хомским. См.: N. Chomsky, *Persistent topics in linguistic theory*, «Diogenes», 51, 1965, стр. 13—20, особенно стр. 20.

⁸⁹ Это не удивительно в связи с тем, что Хомский учился лингвистике у Харриса. См. замечания Хомского, сделанные им во время III Техасской конференции по проблемам лингвистического анализа английского языка (1962, стр. 124 и сл.).

⁹⁰ Z. S. Harris, *Methods in structural linguistics*, 1951, стр. 5: «Основным методом дескриптивной лингвистики и единственным отношением, считаемым релевантным в настоящем обзоре, является дистрибуция или аранжировка в потоке речи некоторых частей или признаков по отношению к другим». Ср. стр. 7, примеч.: «в принципе значение следует привлекать лишь в той мере, в какой это необходимо для определения случаев повторения».

⁹¹ Chomsky, *Syntactic structures*, 1957, стр. 106.

⁹² Chomsky, 1957, гл. 9, стр. 92—105.

⁹³ Chomsky, 1957, стр. 108.

⁹⁴ Chomsky, *Current issues in linguistics*, 1964, стр. 12—14.

⁹⁵ J. J. Katz, J. A. Fodor, *The structure of a semantic theory*, «Language», 39, 1963, стр. 170—210. См. особенно стр. 174—175. Я не согласен с утверждением этих авторов, что существует синонимия между предложениями *the dog bit the man* и *the man was bitten by the dog*. Это мнение отражает полное игнорирование того факта, что в указанных предложениях действие рассматривается совершенно по-разному.

трансформационной модели⁹⁶. В своей недавней книге о синтаксической теории Хомский заявляет, что лексику следует рассматривать как часть синтаксического компонента⁹⁷.

Включение семантики в грамматику представляется значительно менее фундаментальным изменением в трансформационной теории, чем можно было ожидать. Совершенно неизменной осталась точка зрения, согласно которой синтаксис может и должен изучаться совершенно независимо от семантики. Семантика рассматривается как своего рода дополнительный аппарат, созданный на основе синтаксиса.

Целью ее является исследование некоторых лингвистических «остатков», которые, к сожалению, не могут анализироваться с помощью грамматики. Формула Каца — Фодора (лингвистическое описание минус грамматика равняется семантике⁹⁸) ясно показывает, что семантика не должна входить в область грамматики и что семантика «вступает в силу» только тогда, когда с помощью грамматики описано максимальное число явлений. Это означает, что лингвистический материал, привлекаемый для исследования с помощью синтаксического компонента, не рассматривался под принципиально иным углом зрения. В свете новой концепции синтаксис должен иметь дело не с лингвистическими знаками, а с «цепочками символов» или «цепочками форматов». Таким образом, трансформационная теория все еще склоняется в пользу концепции лингвистического ограничения. Она пытается ограничить лингвистический знак его звуковой формой в надежде, что позднее можно будет заняться всегда «неприятным» семантическим аспектом языка. В литературе посвященной трансформационной теории, неизменно проводится подобная точка зрения. Во «Введении в трансформационную теорию» Э. Баха⁹⁹ предложение имплицитно приравнивается к ряду шумов, несмотря на предупреждение Выготского о том, что «слово без значения — это пустой звук, не являющийся больше частью человеческой речи»¹⁰⁰. Сам Хомский говорит о предложениях, которые непосредственно понятны для других говорящих, «хотя они не имеют никакого физического подобия с привычными предложениями»¹⁰¹. Обсуждая пример *they don't know how good meat tastes*¹⁰² Хомский говорит о «приписывании двух синтаксических описаний п р е д л о ж е н и ю», хотя мы и многие другие лингвисты, разделяющие семиотическую концепцию языка¹⁰³, считали бы, что здесь перед нами два предложения, имеющих различную реляционную структуру и различных интонационных рисунков. Разве не вероятно, что носитель английского языка, для которого форма и значение устанавливаются одновременно, разделяет нашу точку зрения? Разве не целесообразно для теории, которая изучает интуиции и реакции носителя языка¹⁰⁴, обратить внимание на нашу концепцию, или по крайней мере объяснить, почему в подобных случаях она игнорирует эти реакции?

Из концепции, согласно которой синтаксический компонент грамматики имеет дело с формализованными знаками, вытекает и ряд других следствий. Даже в своей самой недавней версии трансформационная теория допускает развитие теории синтаксиса без разработки в то же время теории семантического аспекта языка. Это ста-

⁹⁶ Существует четыре варианта статьи Хомского, написанной для IX Международного конгресса лингвистов, состоявшегося в 1962 г. в Кембридже (Масс.). Два из них озаглавлены «The logical basis of linguistic theory», а два другие носят название «Current issues in linguistic theory». Первые два варианта представляют соответственно предварительной версией, опубликованной в «Preprints» Конгресса (1962) и печатной версией в «Трудах конгресса» (1964). Вторые варианты — это 1) версия, опубликованная в виде книги в малой серии «Janua Linguarum» (№ 38), издаваемой R. X. van Schoonefeldом (1964) и 2) версией, опубликованной в «The structure of language, Readings in the philosophy of language» (издателя Фодор и Кац, 1964). Первые два варианта отличаются от двух вторых одним важным моментом: они содержат утверждение, что лексика тем или иным путем должна быть включена в модель. Цитирую полностью предложение, отсутствующее в двух вторых вариантах: «важно также различать лексикон, обладающий совершенно особыми свойствами, хотя я и не буду здесь входить в обсуждение этого вопроса» (Current issues, Janua linguarum, стр. 13). Весьма интересно, что никто не указал на то, что подобный учет лексики отражает важный сдвиг в теории. В связи с этим создается впечатление, что указанное предложение является чем-то вроде незначительного последующего добавления к готовому тексту.

⁹⁷ «Aspects», примеч. 10 к гл. 1 и глава 2.

⁹⁸ K a t z — F o d o r, 1964, стр. 174.

⁹⁹ E. B a c h, An introduction to transformational theory, 1964, стр. 3—4.

¹⁰⁰ V y g o t s k y, 1962, стр. 5.

¹⁰¹ C h o m s k y, Topics, стр. 4.

¹⁰² C h o m s k y, Topics, стр. 6.

¹⁰³ См.: R. J a k o b s o n, Quest for the essence of language, «Diogenes», 51, 1965, стр. 21—37.

¹⁰⁴ Во время дискуссии на III Техасской конференции (стр. 167) Хомский говорил, что «исследование реакции носителей языка — это то, что изучают все лингвисты».

новится очевидным из рассмотрения структуры недавней книги Хомского о синтаксисе. В четвертой и последней главе этой книги рассматриваются две проблемы: граница между синтаксисом и семантикой и структура лексики. Глава эта носит многозначительное название «Некоторые побочные проблемы»¹⁰⁵.

Не подлежит, однако, сомнению, что отношение между синтаксисом и семантикой является центральной проблемой лингвистики и что для разработки теории синтаксиса необходимо иметь по крайней мере общее представление о функциональных связях между этими двумя областями. Следующие вопросы являются основными, на которые лингвист должен обратить свое внимание: почему в каждом языке имеется синтаксис?, почему универсальным свойством языка является то, что слова и другие знаки группируются по определенным правилам?, каковы семантические результаты подобных группировок?, почему язык может использоваться для широкого диапазона коммуникативных целей?, почему носитель языка в принципе может сказать все, что угодно, о своем языке?, почему язык способен выполнять не только все требования современной культуры, но и требования будущего?, короче говоря, на чем покоится внутренняя продуктивность языка? Я вполне отдаю себе отчет, что не на все из этих вопросов можно в полной мере ответить в настоящий момент, но (и здесь я цитирую правильное высказывание Хомского) «для того чтобы тщательно разработать какую-либо часть грамматики полезно и даже необходимо иметь представление о характере целостной системы»¹⁰⁶. Можно только пожалеть о том, что несмотря на это правильное высказывание и несмотря на то, что он всегда подчеркивает необходимость создания общей теории языка, Хомский воздержался от исследования проблем, перечисленных выше. Однако причины, почему подобные проблемы оставляются для будущего, вполне понятны. Они непосредственно связаны с ограничительной концепцией лингвистического знака и с пренебрежением одной из двух основных единиц языка. Я лично убежден, что удовлетворительное решение проблемы соотношения между синтаксисом и семантикой и проблем, поднятых выше, возможно только в том случае, если принять во внимание особое положение слова как лингвистической единицы¹⁰⁷. И здесь мы подходим еще к одной фундаментальной слабости трансформационной теории, унаследованной ею от американского дистрибуционализма. Делая основной упор на предложение и определяя язык как собрание предложений, эта теория рассматривает язык весьма односторонне. Приверженцы трансформационной теории игнорируют то положение (фундаментальное для любой здравой теории языка), что п р е д л о ж е н и е и с л о в о являются соотносительными единицами, хотя это положение было развито еще в монографии Райхлинга 1935 г.

Представители трансформационной теории не смогли наблюдать различные типы значения слова и различные пути их использования и, несмотря на книгу Выготского, опубликованную Издательством Массачусетского Технологического Института, не смогли уяснить динамику значения слова и его принципиально «открытый» характер. Поэтому вовсе не удивительно, что трансформационная теория развивалась именно в указанном выше направлении. Начав с концепции языка, отославшейся к определенным недоверием к семантическим явлениям¹⁰⁸, она в конце концов уяснила, что семантика должна занять определенное место в исследовании. Однако представители трансформационной теории до сих пор находятся не в ладах даже с простейшими семантическими фактами. Можно привести много примеров. В этой связи наиболее примечательными являются априорные утверждения¹⁰⁹ Каца и Постола о том, что предложение *the honest geranium* не имеет значения, и размышления Хомского относительно предложения *John is as sad as the book he read yesterday*, в ходе которых серьезно рассматривается возможность «двух лексических омонимов *sad*»¹¹⁰.

¹⁰⁵ «Aspects...» стр. 148 и сл.

¹⁰⁶ «Syntactic structures», стр. 60.

¹⁰⁷ См. статью Болинджера в «Lingua», указанную в примеч. 53.

¹⁰⁸ «Syntactic structures», гл. 9.

¹⁰⁹ Katz — Postal, 1964, стр. 16.

¹¹⁰ «Aspects...», стр. 183—184. См. также трактовку случаев, несколько более сложных семантически, например, различие между глаголами *to decide* и *to decide on* («Aspects...», стр. 101), составившее, хотя и не полностью идентичное, с нем. (*es fängt an*, разобранных Райхлингом (1963)). Ср. также на стр. 103 трактовку таких глаголов, как *to marry*, *to fit* и *to weigh*; Хомский вводит здесь термин «смысл» и предлагает поместить глагол *marry* в одном из смыслов в ту же категорию, к которой принадлежит *resemble* и *have*. Это означает, что он придерживается очень спорного решения, согласно которому *married* в *John married Mary* и *married* в *the preacher married John and Mary* — два различные слова. То же относится и к *weighed* в *the car weighed two tons* и *weighed* в *John weighed the letter*. Очень интересно отметить, что в существующих словарях так называемые транзитивные и интранзитивные глаголы трактуются порозному. Иногда допускается, что транзитивность — это явление, которое, видимо, не затрагивает тождество разбираемого слова; иногда же допускается существование двух различных омонимичных слов.

Трансформационная теория находится сейчас в трудной стадии своего развития, ибо перед ней встали проблемы, для разрешения которых она оказалась недостаточно подготовленной. Это со всей очевидностью явствует из последней главы недавней книги Хомского о синтаксисе. Поразителен спад самоуверенности между первыми главами этой книги, с одной стороны, и последней — с другой. В этой последней главе Хомский явно пессимистичен: он признает, что «имеется целый ряд нерешенных принципиальных проблем, решение которых может в значительной мере повлиять на формулировку даже тех разделов теории грамматики, которые кажутся в достаточной степени установленными»¹¹¹. Далее мы читаем, что «синтаксическая структура естественных языков, вероятно, обнаруживает много фактических и принципиальных загадок, причем любая попытка разграничить эти области должна носить предварительный характер»¹¹². Несколько страницами ниже выражается мнение о том, что «проблемы омонимии и диапазона значений настолько покрыты мраком, что вообще не дают возможности делать каких-либо заключений»¹¹³.

Я вовсе не хочу сказать, что решение всех вопросов, стоящих перед трансформационной теорией, может быть быстро достигнуто. Нет сомнения в том, что синтаксис и семантика все еще стоят перед нами целый ряд чрезвычайно трудных проблем. Мне хотелось бы лишь подчеркнуть тот факт, что если трансформационная теория будет и впредь придерживаться своей ограничительной концепции и настаивать на игнорировании слова как самостоятельной единицы, не менее важной для языка, чем предложение, то ей никогда не удастся разрешить фундаментальные проблемы лингвистики.

V

В своих «Aspects of the theory of syntax» Хомский замечает: «Вряд ли следует принимать как само собой разумеющееся, что синтаксические и семантические соображения могут быть твердо разграничены»¹¹⁴. Это замечание находится в конце абзаца, в котором обсуждается ряд последовательностей английских слов; большинство из них — предложения. Различие между точкой зрения Хомского и моей целесообразно показать путем рассмотрения проводимого им анализа и тех различий, которые предлагает Хомский при рассмотрении своих «данных».

Хомский начинает с приведения двух списков. Согласно Хомскому, различие между этими двумя списками состоит в том, что первый содержит предложения, которые «отклоняются определенным образом (но не обязательно все одинаково) от правил английского языка», а вторые от этих правил не отклоняются¹¹⁵.

1. *The boy may frighten sincerity*
2. *Sincerity may admire the boy*
3. *John amazed the injustice of that decision*
4. *the boy elapsed*
5. *the boy was abundant*
6. *the harvest was clever to agree*
7. *John is owning a house*
8. *the dog looks barking*
9. *John solved the pipe*
10. *the book dispersed*

*Sincerity may frighten the boy
the boy may admire sincerity
The injustice of that decision amazed John
a week elapsed
the harvest was abundant
the boy was clever to agree
John owns a house
the dog looks terrifying
John solved the problem
the boys dispersed.*

Хомский заявляет, что «для любого человека, знакомого с английским языком, вполне очевидно, что выражения [списка I] имеют совершенно иной статус» по сравнению с предложениями списка II. Далее он добавляет, что предложения списка I «если они вообще поддаются интерпретации, не могут быть интерпретированы тем же путем, как соответствующие предложения» списка II. Он утверждает, что «интерпретация отклоняющихся предложений дается по аналогии с неотклоняющимися»¹¹⁶. Каковы наши замечания о природе различий, сделанных в списках I и II?

Прежде всего следует признать, что утверждение об «очевидном» различии между двумя списками для любого человека, знакомого с английским языком, является гипотезой, доказательство которой в настоящий момент не представляется возможным. Более того, из этого утверждения следует, что 1) не только, например, предложение *the boy may frighten sincerity* (1 из списка I) отклоняется от структуры предложения *the boy may admire sincerity* (2 из списка II) и что 2) это отклонение известно любому носителю английского языка, но также, что 3) первое из этих предложений не может

¹¹¹ «Aspects...», стр. 161.

¹¹² «Aspects...», стр. 163.

¹¹³ «Aspects...», стр. 184.

¹¹⁴ «Aspects...», стр. 77.

¹¹⁵ «Aspects...», стр. 76.

¹¹⁶ «Aspects...», стр. 76.

интерпретироваться тем же путем, как второе. Что заставляет Хомского решить, что предложение, содержащее *admire* принадлежит обязательно к правому столбцу? Какова его логическая аргументация? Или может быть для него просто понятие искренности, которой восхищаются, *in abstracto*, более обычно, чем понятие искренности, которую гугают? Никаких аргументов не приводится в поддержку допущения Хомского о различных путях интерпретации двух указанных выше предложений. Мысль о том, что предложение *the boy may frighten sincerity* может интерпретироваться в силу какой-то аналогии, например, с «неотклоняющимся» предложением *the boy may admire sincerity*, опять является утверждением без какого-либо фактического обоснования. С равным успехом можно было бы придерживаться противоположного взгляда. Основная проблема состоит в том, как оценивать различие между *admire* и *frighten*. Один из возможных выводов может состоять в том, что перед нами чисто лексическое различие. В этом случае как синтаксическая, так и морфологическая структура двух предложений будет полностью идентичной. В равной мере возможно, что морфологическое исследование обнаружит принадлежность двух указанных глаголов к двум различным морфологическим (под)системам. Если это верно, то синтаксический рисунок предложений будет весьма близким; оба предложения будут иметь одинаковую реляционную структуру, а их единственным различием будет маркированность различным морфологическим классом в одной из точек. Ясно, что Хомский склоняется к третьему решению. Для него указанные два предложения имеют различную синтаксическую структуру. Мне бы хотелось подчеркнуть, что независимо от той точки зрения, которой придерживается тот или иной исследователь, необходимо основываться на лингвистических аргументах. Если считать, что между двумя предложениями имеется синтаксическое различие, то следует показать, почему на основе этого различия нельзя объяснить разницу в лексическом и/или морфологическом аспекте. Недоказанное допущение о различных возможностях интерпретации со стороны носителя языка или допущение о том, что одно из двух предложений — отклоняющееся, вряд ли могут способствовать решению проблемы. Вполне понятно, что те же вопросы встают при разборе нескольких других пар предложений, таких как *sincerity may admire the boy* (2 из списка I) и *sincerity may frighten the boy* (1 из списка II). Однако при сравнении предложения *John amazed the injustice of that decision* с предложением *the injustice of that decision amazed John* нужно, видимо, согласиться с Хомским в том, что первое предложение имеет «статус, совершенно отличный от второго»¹¹⁷. Нельзя отрицать, что первое предложение, рассматриваемое вне контекста и ситуации, выглядит странным, но можно ли считать эту странность лингвистически релевантным фактом? Разве такая странность не заключается просто в том общеизвестном обстоятельстве, что, независимо от того, имеем ли мы дело с голландским, французским, немецким или итальянским обществом, люди чаще всего удивляются несправедливым решениям, чем, наоборот, несправедливые решения удивляют людей? Если это так, то нет никаких оснований принимать во внимание подобное обстоятельство при анализе тех или иных английских предложений. Более того, лингвист легко заметит, что, если этого требуют обстоятельства, или по тем или иным причинам говорящий хочет выразить тот смысл, что несправедливое решение было кем-то удивлено, английский язык располагает для этого адекватными средствами, причем весьма интересно, что это выражение осуществляется именно с помощью той же синтаксической структуры, которая используется и в противоположном случае. Здесь опять мы осознаем опасность основываться в своих суждениях на действительных или предполагаемых реакциях носителя языка. Вполне может оказаться, что для носителя языка такое предложение, как *the harvest was clever to agree* звучит странно. Однако если это предположение снабжено подходящим введением, например, ему предшествуют предложения, из которых ясно следует, что *harvest* относится к богине урожая (например, в моральной пьесе), то становится вполне ясным, что вовсе не лингвистические причины были основанием для его отнесения к странным. То же относится и к предложению типа *the book dispresed*. Кажется, что сторонники трансформационной теории не очень благосклонно относятся к предложенной здесь аргументации¹¹⁸. Они все же настаивают, что предложения в списке I так или иначе выглядят странными и, не пытаясь анализировать природу этого непосредственного суждения о странности, стремятся объяснить ее лингвистически. Объясняется это, безусловно, тем, что для них более привычны простые повествовательные предложения типа *John owns a house*, причем по лингвистически неопределенным причинам допускается, что именно такие предложения образуют основу каждого языка. Они забывают, что самые принципы, на основе которых производятся предложения, кажущиеся странными, представляют собой основные и универсальные принципы языка. Они недооценивают тот факт, что язык, хотя он и располагает ограниченными грамматическими средствами, является инструментом, который, при использовании вместе с экстралингвистическими факторами, способен выполнять огромное

¹¹⁷ «Aspects...», стр. 77.

¹¹⁸ «Current issues», стр. 6—7, примеч.

разнообразие, в принципе безграничное число задач, возложенных на него. Ключ к этому основному свойству языка лежит не только в одном синтаксисе, но и в динамической природе значения слова. Если это не будет понято, Хомский будет продолжать испытывать большие затруднения при объяснении так называемого «отклоняющегося статуса» предложений. списка I¹¹⁹.

В том же абзаце, в котором обсуждается два списка предложений, Хомский приводит также некоторые «ярко выраженные случаи нарушения чисто синтаксических правил»¹²⁰. Эти случаи следующие: *sincerity frighten may boy* the и *boy the frighten may sincerity*. Именно эти «случаи» требуют комментариев. Прежде всего следует сделать наблюдение, которое Хомский, видимо, не желает делать, а именно: подобные последовательности слов вовсе не образуют английских предложений. Читатель имеет здесь дело лишь с рядом английских слов. Более того, только потому, что несколькими строками выше обсуждались предложения типа *the boy may frighten sincerity*, читатель может допустить, что *sincerity frighten may boy* the состоит из тех же слов, расположенных в беспорядке. Однако если не считать прописное *M* в *May*, ничто не препятствует тому, чтобы считать это слово обозначением пятого месяца в году или считать *boy* идентичным тому же слову в обычном восклицании. Хомский не учитывает того факта, что синтаксический и семантический аспекты языка предполагают друг друга. Синтаксические явления представляются только в лингвистических формах, которые имеют значение, а семантический аспект проступает только в лингвистических формах, которые имеют синтаксическую структуру¹²¹. Именно это соображение всегда забывалось при анализе искусственных бессмысленных предложений типа введенного Огденом и Ричардом *the gostak distims the doshes*¹²².

Следует сделать еще одно замечание. Предположим, что посетитель английского языка хочет употребить артикль *the* вместе с существительным *boy* или глагольную форму *frighten* вместе со вспомогательным глаголом *may*; это можно осуществить только если *the* предшествует *boy*, а *may* предшествует *frighten*. Такое правило порядка является абсолютным. Независимо от того, с какого рода ситуаций или контекстом мы имеем дело, нельзя комбинировать эти пары слов, не удовлетворяя абсолютным требованиям порядка. Единственным кажущимся исключением является случай «упоминания», например, при перечислении в предложении, таком, как *boy, the and John are English words*. Но и здесь *boy* и *the* не образуют друг с другом единого словосочетания, а участвуют в более сложном словосочетании. Этот абсолютный, не терпящий исключений, характер синтаксического правила явно отличается от того, что можно наблюдать при рассмотрении такого предложения, как *the boy elapsed*. В этом случае явно возможно предусмотреть ситуацию, в которой такое предложение может функционировать¹²³. Именно эта возможность и дает полезный критерий для различения синтаксического от семантического.

Таким образом, становится ясным, почему лингвисты часто стараются подыскать контекст и/или ситуацию, в которых данное предложение может функционировать. Если их поиски остаются безуспешными, то есть все основания полагать, что анализируемое предложение нарушает какое-то синтаксическое правило. Если, с другой стороны, подходящие контекст или ситуацию удается обнаружить, то, вопреки положению Хомского, нельзя автоматически заключить, что данное предложение неотличимо от того, что Хомский называет «совершенно нормальными предложениями». Хотя во многих случаях допущение Хомского и возможно, все же остается возможность того, что лингвист может подметить морфологические или семантические явления, отсутствующие в «нормальных» предложениях. Другими словами, такие предложения, как *colorless green ideas sleep furiously* и *revolutionary new ideas appear infrequently*, с нашей точки зрения, являются синтаксически идентичными. Есть, однако, еще одна причина поисков подходящего окружения предложения. Если информанту представить предложение вместе с контекстом, то лингвист может ожидать более правильных реакций со стороны информанта, ибо в этом случае, информанту предлагается задача интерпретации, знакомая ему из опыта повседневной речи. Из практики известно, что хороший информант часто проверяет возможность

¹¹⁹ «Aspects...», стр. 77.

¹²⁰ «Aspects...», стр. 77.

¹²¹ Reichling, 1965, стр. 84.

¹²² С. K. Ogden, I. A. Richards, The meaning of meaning, 1923.

¹²³ Хомский уже привел несколько примеров предложений, в которых слово *book* и различные глагольные формы *elapse* синтаксически связаны (см. «Aspects...», стр. 158). Тем, кто утверждает, что приведенные Хомским три примера являются «особыми» случаями, которые не следует принимать в расчет, можно указать, что легко привести и другие примеры подобного рода. Например, если речь идет о таком читателе, который каждые полчаса прочитывает по книге, то каждый раз после прочтения очередной книги можно сказать *again a book elapsed*.

встречаемости языковых форм, пытаясь представить себе ситуации, в которых такие формы могут функционировать¹²⁴.

После этих двух примеров «нарушения синтаксических правил» Хомский приводит следующие «стандартные примеры чисто семантической [или «прагматической»] несовместимости»¹²⁵.

1. *Oculists are generally better trained than eye-doctors*
2. *Both of John's parents are married to aunts of mine*
3. *I'm memorizing the score of the sonata I hope to compose some day*
4. *That ice-cube that you finally managed to melt, just shattered*
5. *I knew you would come, but I was wrong.*

Здесь я опять должен возразить против характеристики Хомским этих предложений. По моему мнению, ни в одном из них нельзя усмотреть какого-либо отклонения, ни синтаксического, ни семантического. В предложении 1 Хомский, очевидно, допускает, что слова *oculists* и *eye doctor* имеют одинаковое значение; однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что это просто ошибка, хотя, разумеется, верно, что оба слова могут относиться к одному и тому же лицу. В отличие от сложного *eye doctor*, слово *oculist* является более специальным, научным термином, правильно объясняемым в словаре «Webster's Collegiate» как «ophthalmologist» и «optometrist». Если это принять во внимание, то вряд ли в указанном предложении можно усмотреть что-либо несовместимое. Это предложение могло быть употреблено в случае, когда сравнивалось академическое образование офтальмологов со знаниями знахарей, или вообще тех лиц, которые не получили большого медицинского образования. Другие четыре предложения в определенной степени можно сопоставить с предложениями типа *square circle* и *two times two is five*¹²⁶. Отклонение заключается не в самих этих предложениях как таковых, а в том факте, что во всем мире, независимо от соответствующих языков, мы чаще имеем случай указывать, что дважды два четыре, чем говорить, что эта операция умножения дает в результате какое-либо число, отличное от четырех. Ближайшее рассмотрение приводимых Хомским случаев различия между отклоняющимися и неотклоняющимися предложениями, между предложениями, нарушающими чисто синтаксические правила, и предложениями, компоненты которых чисто семантически несовместимы, приводит к следующим выводам:

1. То или иное отклонение в предложениях, которые считаются отклоняющимися, приписывается им по несинтаксическим соображениям. В качестве предложений они никак не могут считаться отклоняющимися.

2. Нет никаких оснований отделять предложения в списке I в качестве особой группы, отличной от предложений, приводимых в списке II. Предложения списка I не имеют ни одного общего характерного свойства, которым они отличались бы от предложений списка II. С семантической точки зрения, значения некоторых слов в предложениях списка I используются несколько по-иному, чем значения других слов того же списка или списка II.

3. Материал, приводимый в качестве иллюстрации нарушения чисто синтаксических правил, может рассматриваться только как отдельные последовательности синтаксически не связанных между собой слов; некоторые из подобных случаев даже не представляется возможным идентифицировать как предложения.

4. Предложения, компоненты которых считаются семантически несовместимыми, с чисто лингвистической точки зрения не представляют ничего исключительного. Вырванные из конкретной ситуации контекста, некоторые из них достойны внимания с гносеологической точки зрения.

Это означает, что при описании английского синтаксиса «случаи нарушения» не требуют никакого объяснения; что же касается всех остальных случаев, то они образуют синтаксически гомогенное единство, обнаруживающее различные типы синтаксических структур.

¹²⁴ Отчет Д. Хаймса об опыте подобной полевой работы см.: D. H u m e s, *Directions in (ethno-)linguistic theory*, «American anthropologist», 66, 3, 2, 1964, особая публикация в «Transcultural studies on cognition», стр. 34.

¹²⁵ «Aspects...», стр. 77. Добавление слова «прагматический» в скобках не служит никакой видимой цели. Неизвестно, относится ли оно к известному тройственному делению Морриса (прагматика, семантика, синтактика). См.: C. H. M o r r i s, *Sign, language and behavior*, 1946, стр. 217 и сл.

¹²⁶ Второе предложение может относиться к тому факту, что отец Джона женат на тетке говорящего, в то время, как мать Джона имеет длительную, но менее ортодоксальную связь с другой теткой. Третье предложение можно понять в том смысле, что оно выражает чувство композитора, который, будучи в тюрьме, еще не имеет возможности записать сонату, которую он сочинил и которую сохраняет мысленно. В четвертом предложении слово *ice-cube* могло быть употреблено метафорически о холодной и угловатой девушке, которая после того, как ее удалось «вывести из своей скорлупы», переживает нервный коллапс.

Следует сказать несколько слов о роли экстралингвистических факторов при речевой коммуникации. Хомский недавно заявил, что «абсолютно ничего неизвестно об использовании экстраграмматической информации при интерпретации предложений, если не считать того факта, что такая информация существует и является важной характеристикой акта речи». Подобное заявление требует некоторых комментариев. Как мы говорили, Хомский не видит ничего предосудительного в том, чтобы вводить в свою теорию весьма гипотетическое и все еще неизученное понятие интуитивного знания носителя языка. Спрашивается, почему он возражает против тех лингвистов, которые предлагают использовать «важную характеристику акта речи», существование которой не подлежит сомнению? Разве не закономерно и не разумно проводить дальнейшее исследование явлений, не только важных для акта речи, но и совершенно досаждаемых для лингвиста? Однако независимо от этих чисто методологических соображений, я считаю содержание заявления Хомского просто ошибочным. Возможно оно является результатом незнания того, что было сделано в прошлом. Мне просто трудно поверить, чтобы Стерн, Гардинер, Бюлер, Райхлинг и др.¹²⁷ в действительности ничего не сделали для того, чтобы расширить наши знания о ситуационном и других экстралингвистических факторах, играющих важную роль в повседневной речи. Правда, было сделано много общих и неточных заявлений о роли «ситуации» в процессе понимания предложений. Одной из наиболее серьезных ошибок в этом отношении было допущение, что содержание буквально всех предложений зависит от ситуационных факторов. Однако во многих других случаях предложение не имеет полной автономии, а его правильная интерпретация зависит от умелого учета различных «сопутствующих» факторов (setting). При анализе этих факторов важно прежде всего подчеркнуть роль точки референции (frame of reference) говорящего. Эта точка референции, меняющаяся от предложения к предложению, вовсе не идентична с окружением, общим для говорящего и слушающего, хотя вполне может случиться, что некоторые из компонентов окружения могут входить в точку референции. Другими конститутивными компонентами точки референции является знание говорящего о слушающем в той мере, в которой такое знание является релевантным по отношению к предмету разговора, и собственная точка зрения говорящего относительно того предмета, о котором он собирается говорить. Кроме точки референции существует ситуация, т. е. окружение, общее как для говорящего, так и для слушающего. В отличие от описанного окружения следует выделить ситуацию в том виде, в каком она представляется слушающему после акта речи. Само произнесенное предложение оказывает «структурирующее» влияние на эту ситуацию. Из предложения слушающий может узнать, что говорящий исходит из того, что некоторые факты, о которых он говорит, известны слушающему. Это может определенным образом направить его внимание и, следовательно, помочь ему обнаружить точку референции говорящего. Только после того, как слушающему удается это сделать, становится возможным полное понимание.

VI

В предыдущих разделах мы старались показать некоторые различия между трансформационной теорией и разделяемой нами концепцией. Наше отношение к «традиционной грамматике», которая понимается как деструктурная лингвистика, оказалось более критическим, чем точка зрения Хомского. Это вовсе не значит, что мы предлагаем отказаться от всех понятий, содержащихся в более ранних теоретических концепциях: мы просто чувствуем острую необходимость разработать метод синтаксического анализа, который исходит из ряда принципов, основанных только на изучении свойств речи и языка, и которые с полной уверенностью можно считать присущими всем языкам. Причиной столь строгого лингвистического подхода является то, что из истории лингвистики нам известно о неудачах, постигших все попытки изучения языка на основе разного рода нелингвистических соображений.

Как и Хомский, мы считаем, что наш подход, по крайней мере частично, является продолжением и дальнейшей разработкой более ранних лингвистических теорий. Однако критическое рассмотрение существующей литературы привело нас к качественным выводам. В то время как Хомский принимает многие старые традиционные точки зрения, мы считаем, что особенно в области синтаксиса традиционная грамматика вряд ли может способствовать большому прогрессу, а в области морфологии (и фонологии) по крайней мере некоторые течения структурной лингвистики намного ревизовали традиционную морфологию частей речи по ряду важных вопросов. Что касается семантики, мы считаем, что теория значения слова, выдвинутая Райхлингом в тридцатых годах, является плодотворным отправным пунктом для дальнейшей раз-

¹²⁷ Наиболее ценный анализ содержится в последней главе монографии Райхлинга, посвященной слову (1935). См. особенно стр. 391 и сл. См. работы философов, прежде всего г-жи Л. Хангерленд «Contextual implications» («Inquiry», 4, 1960, стр. 211—258), см. также статью А. Стролла «Presupposing» в «Encyclopedia of philosophy» (в печати) и литературу, приведенную в конце этой статьи.

работки семантической теории, которая в конце концов будет охватывать весь спектр семантических явлений. Как и все специалисты по семантике, Райхлинг начал с изучения имен нарицательных (апеллятивов). В его теории подчеркивается то, что до сих пор не нашло места в трансформационной теории: единственность и динамическая природа значения слова. С помощью своей теории Райхлинг пытался объяснить, каким образом значение апеллятивов, понимаемых как форма знания, оперирует в повседневной речи, как эти слова сохраняют свое тождество, несмотря на то, что в конкретном языке употреблении различные подмыслы их значения могут быть актуализованы, и как следует понимать отношение между значением и обозначаемым предметом. В последние годы становится все более очевидным, что значение апеллятивных слов представляет собой лишь один из типов значения, хотя это и важный универсальный тип. Имеются и другие типы значения слова, такие, как значение дейктических слов, имен собственных, грамматико-технических терминов, причем каждый из этих типов характеризуется своими особыми свойствами. Изучение семантического разнообразия в словах и словоподобных элементах языка, безусловно, еще не доведено до конца, хотя уже стало ясным, что следующей задачей при изучении семантики является понимание тех семантических явлений, которые происходят, когда два слова, принадлежащие к одному и тому же или различным семантическим типам, комбинируются синтаксически. Короче говоря, насущной проблемой стало понимание семантической структуры различных типов словосочетаний, а также семантической структуры более сложных группировок слов. Здесь опять становится вполне ясным, что следует остерегаться некритического использования в семантике моделей, заимствованных из фонологии или морфологии. Важнейший вопрос, на который необходимо ответить, состоит в том, в какой мере и каким образом можно применить структурные методы к семантическим фактам.

Одним из наиболее важных вопросов, по которым я расхожусь с Хомским, является правомерность различия между поверхностной и глубинной структурами. Мне представляется, что в большинстве, если не во всех случаях, то, что обычно называется глубинной структурой, относится к логической характеристике предложения. Сам Хомский по крайней мере в некоторых абзацах своей работы, кажется, соглашается с этой точкой зрения, например, когда он считает два предложения «логически синонимичными»¹²⁸ и когда он заявляет, что язык «дает возможность выражать бесконечное число мыслей»¹²⁹. Может показаться, что речь идет лишь о терминологическом различии, причем используемые мною термины «лингвистический» и «синтаксический» являются менее емкими, чем те же термины в употреблении Хомского. Однако вопрос представляется мне значительно более важным. Для лингвиста существенно делать строгое различие между лингвистическими и логическими категориями, ибо только таким путем можно добиться ясного понимания индивидуальных черт, характерных для каждого языка. Это вовсе не значит, что лингвист должен закрывать глаза на проблему соотношения между этими двумя типами категорий. Я только хочу подчеркнуть, что лишь на основе строгого различия между этими категориями их взаимоотношения могут изучаться плодотворно.

Дискуссия по вопросу об акте речи и компетентности показала, что интуитивное знание носителя языка скорее является неудачным обозначением области будущих исследований, чем надежным понятием, которое можно использовать в качестве критерия лингвистического анализа. Допущение сторонниками трансформационной теории того, что носитель языка интуитивно или бессознательно знает синтаксическую структуру предложения, или *la langue*, вряд ли можно признать состоятельным. Мы, однако, признаем необходимость получения лингвистических данных от информантов и считаем, что в случае правильной процедуры, их суждения являются ценными и часто необходимыми источником данных, хотя нам не кажется, что эти суждения *per se* являются надежными; они должны быть проверены путем сопоставления с данными, полученными при изучении конкретных актов речи. Это означает, что мы не можем согласиться с точкой зрения, согласно которой изучению компетентности следует отдать предпочтение по отношению к изучению акта речи.

Как говорилось выше, мы отвергаем то положение, что язык можно описать как самодовлеющую систему. Вряд ли можно отрицать важную роль точки референции в речевой коммуникации, а также влияющие ситуационных и контекстных факторов. Наличие этих факторов дает возможность понять, почему речевая коммуникация столь эффективна, почему, например, высказывание может состоять менее чем из одного слова и все же выполнять свою коммуникативную функцию. Несколько раз Хомский обращал внимание на тот факт, что лингвистическая теория должна объяснить, почему говорящий может производить, а слушающий — понимать предложения, которые они никогда не слышали раньше. При объяснении этого явления следует подчеркнуть прежде всего, что с синтаксической точки зрения данная проблема была сформулирована в слишком преувеличенном виде. В синтаксическом плане имеется относительно

¹²⁸ «Aspects...», стр. 22.¹²⁹ «Aspects...», стр. 6.

небольшой набор моделей, который постоянно употребляется в языке. Во-вторых, понимание в не меньшей мере является предметом семантики, чем синтаксиса. Если говорящий использует предложение, содержащее слова, значение которых полностью неизвестно слушающему, то понимание будет, если не исключено, то во многом затруднено, хотя контекст и правильное определение слушающим точки референции говорящего могут помочь ему в получении необходимой информации для правильной догадки.

В связи со склонностью трансформационной теории объяснять многие семантические и логические явления с синтаксической точки зрения, были искусственно созданы проблемы, которые при использовании другой методики, оказываются менее трудными или вовсе не существующими. Хотя я не хочу создать впечатления того, что считаю процесс приобретения языка ребенком легкой проблемой, мне трудно согласиться с тем, что этот процесс вполне сопоставим с другими процессами усвоения; однако картина языка, получаемая на основе трансформационной теории, так бесконечно сложна, что понять процесс приобретения языка в этом случае становится почти невозможным.

В связи с явной рационалистической и логической ориентацией трансформационная теория имеет тенденцию представлять язык в виде громоздкой, но совершенно строгой системы правил большой сложности. По нашему мнению, язык значительно менее сложен, а в области семантики — менее структурирован. Согласно нашей концепции, язык структурирован таким образом, что он может приспособиться к кажущемуся бесконечному разнообразию функций. Язык дает членам языковой общности определенную свободу употребления, требуемую постоянно меняющимися материальными условиями общества и избирательностью его членов. Мы вовсе не хотим сказать этим, что усматриваем полную свободу в языке; наоборот, имеются определенные ограничения, фонологические, морфологические и синтаксические; только семантический аспект дает говорящему на языке тот диапазон свободы, которого требует человеческое мышление.

*

Хотя мы и скептически относимся к некоторым наиболее важным постулатам трансформационной теории, нельзя не признать, что ее влияние на развитие лингвистики может оказаться плодотворным, особенно в США. Именно благодаря трансформационной теории возникла дискуссия по фундаментальным проблемам синтаксиса и (совсем недавно) семантики. Сторонники трансформационной теории совершенно справедливо подчеркивали необходимость ясного теоретического основания любого дескриптивного исследования. Уверенность сторонников трансформационной теории в правильности предлагаемых ими решений заставляет тех, которые придерживаются иного взгляда, пересмотреть и, если необходимо, изменить свою собственную концепцию. Сторонники трансформационной теории верно указывали на ограниченности старого дистрибуционалистского метода, очень распространенного в США после второй мировой войны. Трудно предсказать, что даст трансформационная теория в будущем. Многое зависит от способности сторонников этой теории принять критику, исходящую от ученых, не принадлежащих к их собственному кругу; многое зависит также от того, смогут ли представители трансформационной теории избавиться от присущего им ныне почти религиозного фанатизма, требующего некритического и безоговорочного принятия выдвигаемых ими постулатов. Важно также, чтобы те, кто критически относится к трансформационной концепции, приняли участие в теоретической дискуссии. У меня создалось впечатление, что до сих пор эта дискуссия не была обнадеживающей. Для тех, кто придерживается трансформационной веры, характерна весьма прискорбная тенденция к догматизму, тенденция к преувеличению значимости своей работы, а также такая самоуверенность, которая без сомнения никогда не была присуща даже таким лингвистам, как Соссюр, Сэнир и Блумфилд. С одной стороны, можно наблюдать, что многие лингвисты огульно, рабски и некритически принимают все постулаты трансформационной теории, а с другой стороны, нельзя не отметить упорное нежелание многих лингвистов обратить серьезное внимание на важные вопросы, поднятые Хомским и его последователями.

Независимо от того, что покажет будущее, не подлежит сомнению, что проверка любого «теоретического пирога» заключается в качестве тех описаний, с которыми его «подают на стол». Представляется вполне уместным заключить настоящую статью именно такой фразой, хотя она может показаться слишком «отклоняющейся» от трансформационного вкуса.

Перевел с английского М. М. Маковский

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

J. B. Rudnyč'kyj. An etymological dictionary of the Ukrainian language. Parts 1—5. Second revised edition. — Winnipeg (Canada). 1966. 480 стр.

Этимологический словарь украинского языка, составляемый проф. Я. Б. Рудницким, автором многочисленных работ по украинистике, начал выходить выпусками в 1962 г. В 1966 г. пять выпусков словаря были объединены в том. Рудницкий учел некоторые замечания и пожелания рецензентов, и эти изменения были внесены в первый том словаря, что и позволяет считать его вторым изданием.

Значение труда Я. Б. Рудницкого определяется прежде всего тем, что в украинистике это первое начинание подобного рода, увидевшее свет. Анализируя словарь Рудницкого, видя его положительные стороны и недостатки, исследователи украинской лексики, несомненно, опуют его как подспорье в своих штудиях. Словарь Рудницкого даст объемистый материал и славистам. Известно, что украинская лексика довольно слабо представлена почти во всех существующих этимологических словарях. Исследователи часто опираются на собрания лексики Е. Желеховского и Б. Гринченко. Но эти труды, хотя и содержат большое количество диалектных слов, имеют существенные пробелы (особенно словарь Б. Гринченко) и не дают во многих случаях верного представления о распространении соответствующих слов в украинских диалектах. Естественно ожидать, что правильно ориентированный этимологический словарь в значительной степени поможет устранить все эти пробелы, являясь для славистов более или менее надежным справочником, полезным в разных аспектах. Несмотря на усилия украинистов, во многом остается неизученной (или изученной недостаточно) лексика украинских памятников. И здесь труд составителя этимологического словаря мог бы оказаться чрезвычайно полезным (вспомним, как М. Фасмер специально для своего словаря работал над древнерусскими и среднерусскими источниками).

На нынешнем этапе развития сравнительных лексических штудий к этимологическому словарю отдельного языка предъявляются гораздо более высокие

требования, чем раньше. Ныне этимологический словарь стал, или по крайней мере становится, формой исследования лексики. Это обстоятельство ставит перед его составителем весьма широкие задачи, в число которых входят и совсем новые, ранее не ставившиеся. Современный этимолог (составитель словаря) остается, конечно, критическим регистратором этимологических версий, старых и новых. К этому, однако, прибавляются обязательные самостоятельные разыскания, определяемые задачами современного этимологического словаря. В кругу этих обязанностей важнейшей заботой составителя словаря является введение в научный оборот максимально большого количества прежде не охватывавшейся лексики данного языка, диалектной и исторической, ее географическая привязка и — что весьма существенно — включение ее в славянскую лексическую ситуацию (отыскание в славянских языках параллелей к тому или иному вводимому в оборот слову). Это обязывает составителя систематически просматривать диалектные словари (и вообще лексические материалы) всех славянских языков. Работа, конечно, огромная, но избежать ее без ущерба делу нельзя.

Составление украинского этимологического словаря сопряжено с большими трудностями. Автор первого труда такого рода не имел предшественников, на которых он мог бы опереться (а до М. Фасмера было издано по крайней мере два русских этимологических словаря). Лексика украинского языка характеризуется значительной диалектной дифференциацией (особенно это относится к юго-западным говорам). Между тем, нет общего словаря украинских диалектов (труд Б. Гринченко ни в коей мере не может его заменить). Составитель этимологического словаря вынужден принять на себя нелегкую задачу сведения воедино многочисленных собраний диалектных слов (почти все они рассеяны в старых изданиях). Сводки диалектизмов, опубликованные в наше время, сравнительно

немногочисленны и незначительны по объему. Лексика юго-западной группы говоров чрезвычайно интересна как для украинистов, так и для славистов, а для этимологического словаря она вообще неоценима. И было бы хорошо, если бы к уже известным публикациям И. Верхратского, В. Гнатюка, Я. Янова и др. прибавились новые. Такие работы есть, но почему-то они долгие годы не могут увидеть свет. Достаточно вспомнить такие замечательные труды, как «Словарь украинских говоров Закарпатской области УССР» М. А. Грицака и «Словарь бойковского диалекта» М. О. Онишкевича*.

Трудности ждут этимолога и при изучении исторической лексики. Нет законченного словаря староукраинского языка, памятников издано чрезвычайно мало. Ко всему этому прибавляются сложные заботы, связанные с рядом специфических проблем, требующие углубления в историю и диалектологию нескольких соседних языков. Таковой является, например, сложная карпатская проблематика.

Рудницкий приложил немало усилий для выполнения требований, предъявляемых к современному этимологическому словарю. Его труд объемлет значительную часть (в пределах начальных литер алфавита) лексики современного украинского литературного языка, диалектов, а также лексику памятников (последняя, правда, представлена гораздо скромнее). Можно с удовлетворением наблюдать, как Рудницкий постепенно улучшает в этом отношении свой словарь: последние выпуски тома богаче диалектной и исторической лексикой, используются все новые источники (впрочем, может быть, не без влияния критики, в особенности, замечаний О. Горбача). О содержании словаря Рудницкого можно получить представление уже по тому, что вышедшие пять выпусков (*A — Воротай*), составившие первый том, занимают 480 стр. текста. В большинстве случаев Рудницкий старался дать локализацию соответствующих слов при помощи таких помет, как, например, Вк. (бойковский диалект), Ed. (восточные говоры украинского языка), Нс. (гуцульский диалект), Lk. (лемковский диалект), SoCr. (южнокарпатские украинские говоры), Wd. (западные говоры украинского языка) и т. п. Это чрезвычайно полезные сведения, важность которых следует особо подчеркнуть, хотя, как это будет показано ниже, эти пометы не всегда достаточны. В словарных статьях системати-

чески указывается дата наиболее ранней фиксации соответствующих слов, что тоже является весьма полезным элементом словаря.

В словарь щедро включены самые разнообразные заимствования, от древних до новейших. Рудницкому чуждо стремление преуменьшать роль заимствований и тем самым искажать действительную историю исследуемого языка. Единственное, в чем можно бы упрекнуть Рудницкого, это то, что он несколько преуменьшает значение польских заимствований в украинском языке в пользу немецких, основываясь на довольно некритических работах Р. Смаль-Стоцкого.

Естественно, что в первую очередь мы стремились подчеркнуть и по достоинству оценить положительные качества этимологического словаря, составляемого Рудницким. О них писали уже и другие рецензенты в разных изданиях¹. Но желание видеть словарь доведенным до конца на высоком уровне обязывает нас сосредоточиться главным образом на анализе недостатков, с тем чтобы критические замечания могли оказаться полезными автору в его дальнейшей работе над словарем.

В словаре немало неточностей, а порой и просто ошибочных утверждений. В значительной степени это связано, видимо, с той поспешностью, которая чувствуется в работе автора словаря и которая вредна для всякого серьезного этимологического начинания, хотя пожать ее вполне можно. Рудницкий взялся за чрезвычайно трудоемкое и грандиозное по масштабам предприятие. Естественно желание автора словаря в обозримые сроки довести до конца свою работу, объем которой значительно превышает первоначальный план (несомненно, что Рудницкий не уложится в предполагаемые 20 выпусков: при сохранении нынешнего характера словаря их, как кажется, будет не меньше 40). И тем не менее, поспешность серьезно отражается на качестве словаря. После прочтения многих словарных статей возникает желание проверить сообщаемые сведения, обратиться к первоисточникам, дополнить статью элементами, зачастую весьма существенными. Но прежде чем подробно рассмотреть недостатки словарных статей, кратко проанализируем состав лексики, включенной в словарь Рудницкого.

¹ Одной из первых (и наиболее обстоятельных и критических) была рецензия О. Горбача, украиниста по специальности, много занимавшегося исследованием украинской лексики, в особенности аргоизмов, в журнале «Сучасність» (Мюнхен, 1962, 11). Недавно опубликовал рецензию О. Н. Трубачев («Этимология 1965», М., 1967). О словаре Рудницкого писали также В. Унбегаун, Ф. Копецкий, В. Кипарский, Э. Эйхлер и др.

* Редакция присоединяется к мнению Р. В. Кравчука и считает совершенно ненормальным тот факт, что словари М. О. Онишкевича и М. А. Грицака до сих пор остаются в рукописи.— *Ред.*

Выше уже отмечалось, что рецензируемая работа производит весьма хорошее впечатление широтой охвата разных слоев лексики украинского языка. Однако это не значит, что словник этимологического словаря Рудницкого вполне удовлетворителен. Уже один из первых критиков словаря, О. Горбач, привел обширные списки слов (преимущественно из известных собраний диалектной лексики), отсутствующих в рассматриваемом труде. Несмотря на изложение своих взглядов в ряде статей, предшествующих появлению словаря, Рудницкий, по нашему мнению, при отборе лексики для этимологизирования не руководствовался каким-либо принципом. Этим, видимо, объясняются досадные пробелы в словнике словаря. Если Рудницкий руководился неудачным, но принимаемым некоторыми языковедами принципом «субъективности» словника этимологического словаря², то стоит показать, что эта идея (означающая, собственно говоря, отсутствие принципа) легла в основу его долголетнего предприятия.

Как видно, сторонником словаря-тезауруса Рудницкий не является. Следовательно, производился отбор лексики. Но по каким признакам? Если исключаются «узкие» диалектизмы, то неясно, почему отсутствуют в словаре такие, например, слова, как широко известные в юго-западных говорах *а́нциг* (< г, -к, -х) «костом, пиджак, одежда» (< нем.), *акурáт* «как раз» или распространенное на значительной части украинской территории (как на востоке, так и в юго-западных говорах) *байбарáк* «вид верхней одежды», известное и в русском языке. То же можно сказать о юго-западном *а(в)мíжна* «милостыня» (отмечено во многих источниках), *адамáш* (с фонетическими вариантами) «утощение после заключения сделки или окончания работы и т. п.», о южном *арáт* (*ар'áт*, *ар'áт*) «наемный работник, батрак и т. д.». Тем не менее узкие диалектизмы в словаре Рудницкого есть (включая даже львовский сленг). При наличии заметного числа сравнительно «узких» унгаризмов отсутствует, например, такое известное зарпатское слово, как *бáрфа* «часть воза», *бáрфи* «ступеньки переносной лестницы». Если диалектизмы оценивались по степени лингвистической важности, то непонятно отсутствие такого, например, архаизма, как лемк. *акы* «как» (есть и в гуцульских

и буковинских говорах, но с усилительной частью -к). Неясно, почему не включено в словарь гуц. *абомбеля* «эх» (Шух.)³, являющаяся дестимологизацией (или искажением) праславянского диалектного **mbil(ь)на* «молия; эх». Ср. в юго-западных говорах *мовня*, *мблнá* «молия», *мовнá*, *мблня* «эх» (отношение значений здесь примерно такое же, как и для укр. *лунá*, которое на востоке означает «эх», а на западе — «зареве, отблеск»). При отсутствии заметных словацких влияний на гуцульские говоры любопытно не попавшее в словарь Рудницкого гуц. *асый* «наверное, кажется» (Шух.), совпадающее с чеш. и словац. *asi* «примерно, приблизительно, около; вероятно». Если оценивать лексику с точки зрения культурно-исторической значимости, то разве не представляют ценности такие ст.-укр. слова, как *алааой* «часы» (ср. чеш. *orloj* < др.-в.-нем. *orlai*, *orlei*, *urlei* < лат. *horologium*, см. у Махека) или *алманский* «немецкий» (у Берияды), указывающее на французские влияния (через польское посредничество) на западнорусских книжников (ср. во времена Курбского: «навыки добръ алеманскому языку»; об этом у И. Матла). Напрасно для Рудницкого оказалось неинтересным ст.-укр. *багазія* (*баказя*, *баказия*, *баказья*) «хлопчатобумажная ткань». Взрывное *г* в этом слове свидетельствует о том, что здесь были языки-посредники (польск. *bagazja*?) и что часть ориентализмов попала в украинский язык через Западный Европу (есть и другие примеры такого рода). При наличии в словаре Рудницкого обширного ономастического материала стоило включить, например, термин народной географии *біларáський*. Ср. в думках: «(Бура) судна козацькі-молдецькі на три часті розбиває: першу часть ухонило — у біларáську землю занесло...». Это название известно и в русском языке (*белый арап*, *Белая Арапия*, *Беларáнская земля*). Гринченко объяснял *біларáський* весьма наивно («Употребляется в думе для обозначения какой-то, вероятно, фантастической земли») и кому, как не этимологу, следовало взглянуть за его толкование. Интересным оказалось бы и рассмотрение названия *Біа-мáр'я* из «Знеиды» Котляревского, реликта средневековой географической номенклатуры, закрепившей за Средиземным морем наименование «Белое море» (оно сохраняется и сегодня, например, в турецком языке); ср. также болг. *Бяло море* «Гейское море», где турецкое влияние очевидно.

Сомнительность отбора лексики для этимологического словаря на основе критерия так называемой «ценности» того

² Л. Садник и Р. Айнетмюллер («Vergleichendes Wörterbuch der slavischen Sprachen», 1, Wiesbaden, 1963) утверждают, что взгляды на составление славянского этимологического словаря, на выбор и обработку материалов и т. д. «können nur subjektiv sein» (см. Vorbemerkung). Сомнительность этого принципа доказывается необоснованными пропусками в их словаре ряда важных слов.

³ Ради экономии места названия различных работ и источников будут даваться в сокращенном виде. Список сокращений приводится в конце рецензии.

или много слова (что приводит так или иначе к субэтнолизму) может быть продемонстрирована еще на нескольких примерах. Так, едва ли менее ценны (с любой точки зрения: лингвистической, культурно-исторической и т. д.) не попадание в словарь *архалик* «короткая летняя одежда» и (ст.-укр.) *амтабас*, *альтемба* «серебряная пара», чем присутствующее там гущ. *антерёв* «вид одежды у сучавских пуган». В словарь не попала такая инновация карпатского ареала, как *боробл*, *борола* «скала, расселина» (ср. соответствия в чешском и словацком). Интересно отсутствующее закарпатское *амбрёла* «зонтик», совпадающее в этой форме с серб.-хорв. *амбрёла*, *амбрела* (что подтверкул в свое время Скок). Старые связи с немецким языком в Карпатах, видимо, обнаруживает оставленное Рудницким без внимания лемковское *армелик*, *армиака*, *армиок* и т. п., служащее названием пестрых птиц (зяблика, шегла, дубоноса) и переносно употребляющееся как наименование пестро окрашенных домашних животных (ср. др.-в.-нем. *amag*, ср.-в.-нем. *amer*, нем. *Emmerling* «зяблик, Emberiza»). Особого внимания заслуживает и профессиональная лексика, в частности, украинских ремесленников и торговцев. В ней довольно много иноязычных элементов, свидетельствующих о разносторонних связях Украины в прошлом с другими народами. Например: термин бродячих торговцев *вантаж* «прибыль» (подробнее о нем см. ниже), а из языка кожевников такие словечки, как загадочное *бадаль* (Васил.) «сафьян из козловой кожи» (возможно, искажение средневекового названия Багдада — *Baldac*) и *валония* (Яворн.) «железуды для обработки шкур» (заимствовано из греческих диалектов, ср. новогреч. *βαλάνη* «железуд»).

Обратимся теперь к разработке словарных статей в словаре Рудницкого. Видимо, будет целесообразным проанализировать предварительно достаточно большое количество примеров, а затем обобщить наши наблюдения.

А в г у с т. — Вопреки Р. это слово не является архаизмом. Оно и сейчас бытует в закарпатских украинских говорах. См. статьи Дзенда.

А г а, а г а́. — Форма *ага* (со взрывным *г*) не может быть непосредственным заимствованием из турецкого (а через язык-посредники).

А д в о к а т. — Не приводится довольно распространенная в юго-западных говорах форма *адвкат* (Франко; Верхр., Гал. лемк.; Янов и др.), известная и в польских говорах.

А д з ъ м к а «род хлеба из некавашеного теста». — Отсутствует лемковская форма *адзѣмка*, равно как и надсанское *гадзѣмка*. При ударении *адзѣмка* следовало бы объяснять отклонение от румынского источника (*ăzimă*, *ădzimă*; Гринч.,

кстати, приводит *адзѣмка*). Фонетическая форма (-*дз*) указывает на заимствование из молдавского (так уже у Шелуд.). Слово это известно и у банатских украинцев (Гнат., Бан.), что не учтено в словаре Р. Неверно, что это слово отсутствует в других славянских языках: оно было, например, в древнерусском и сохраняется в русском как церковное (*азим*, см. у Фасм.). Этим словом подробно занимался также Крыжж. (в справочной части статьи у Р. этого источника нет).

А д р е с а. — Неточно выведено из польск. *adres* (со ссылкой на Рихардт). У Рихардт: из польск. диалект. *adresa*, что, конечно, является более правильным.

А е (гущ.) «да». — Согласно Р., из а + е (где е — 3-е лицо ед. от *бути*), а этимология Янова (*ае* < *ая* «да») кажется Р. менее вероятной — при отсылке у Р. аргументов. Выражение *аа*, *аа* < *аяк* (же) широко известно в юго-западных украинских говорах: у батюков *аа*, бойковск. *аа*, покутск. *аа*, закарп. *аак* (ср. и в польских говорах: *a ja, a jak*). Только в тех наречиях, где известен переход 'а' > 'е' (и далее > 'и'), встречаются «перегласованные» формы. Так, северонадднестрянскому *аа* противопоставит южнонадднестрянское *аі* (наряду с *аа*). Переход 'а' > 'е' особенно характерен для западных гудульских говоров, поэтому в Гудульщине слышится и *аа* и *ае*, *аак*, *аежж*. Диалектные данные не подрывают объяснения Р., так как тип *ае* распространен лишь в говорах «перегласовки».

А з б у к а. — Почему для *абѣто* «алфавит» как источник указывается рукописный словарь Руберовского, когда это слово есть уже у Писк. (и отсюда — у Желех.)?

А з ѝ я. — Не приведено бериндовское *Асѝя*, *Азѝя*, а также *асѝйскѝ* «азиатский», отражающие непосредственно греческий источник. Вследствие этого датировка всей группы слов на украинской почве (Middle Ukrainian) XVIII в. неточна.

А к а д е м і я. — Опять неточна датировка в украинском языке (1631 г.): в форме *академія* оно отмечено уже у Беринды (1627 г.)

А к к е р м а н, из тюрк. *Akkärman*. — Точнее, из *Ak kärman* (см. у Фасм.).

А к ѹ л а. — Едва ли в украинский язык это слово попало прямоиз скандинавских языков. Вероятно предположить посредничество русского. Сомнительна принадлежность сюда фамилии *Акуленко* (скорее из **Вакуленко* к *Вакула* или от одной из форм женского имени *Акулина*).

А л а ч а, а л а ж а «шелковая ткань», из тюрк. *aladza*. — Из тюрк. *aladza* объяснима только форма *алажа* (и русск. *аладжá*, болг. *алажда*). Форму же *алачá* (кстати, откуда она? Следовало бы указать источник), как и русск. *алачá*, можно объяснить только татар., кирг. *алаба* (см. у Фасм.). К этой группе слов отно-

сится и укр. *галаджбовий* («Спідниця така, як ганчірка, а корсет новий галаджбовий»), оставшееся у Гринч. без толкования.

А л т ъ я ц я (гуц.) «часть рубахи подмышкой». — У Шух., между прочим, ударение *алтѣця*. Это слово не является только гуцульским, а известно и в наддестрянских горах. Ср. южнотернопольск. *алтѣця*, *латѣця* (Дейна). Можно было не ограничиться только указанием на заимствование из румынского, а отметить, что «the ultimate source» — славянские языки (тем более, что об этом подробно и много писали). Стоило бы упомянуть и об особенностях акцента (*алт-лат-*, ср. и макед. *алтѣця* при серб.-хорв. *лѣтѣця*); об этом у Шев.

А л я б а с т р «алебастр». — Среди производных пропущено ст.-укр. *альябастровый* (Беринда) «алавастр, или сткляница: банка або слѣвѣк алябастровый», наводящее на мысль, что, наверное, *альябастр* попало в украинский язык без участия польского.

А л ь р м «тревога». — Едва ли непосредственное заимствование из итальянского. Реальнее предположить немецко-польское посредничество.

А л ь б ъ і й к а (гуц.) «корытце», из рум. *albie*. — Это слово не только гуцульское — оно встречается также в закарпатских горах (*вальбѣйка*), у замшанцев (*вальбѣя*, уменьш. *вальбѣйка*), у галицких лемков (*альбія*). Ср. также у Гринч. *вальбѣйка* (из Верхур.) и *лайбія* у Желех. Как слово карпатской пастушеской культуры этот термин встречается и в других славянских языках (об этом у Р. ничего не сказано): польск. (силезск.) *halbja*, чеш. (валашск.) *hal'bjja*. Р. обошел также несоответствие ударения укр. *альбѣйка* и рум. *albie*; по-видимому, это может объясняться польским влиянием.

А л ь к ѝ р «небольшая комватка». — Р. полагает, что это непосредственное заимствование из ср.-в.-нем. *ärker, erker*, и отрицает польское посредничество, без всяких аргументов, кроме ссылки на Р. Смаль-Стоцкого. Между тем, география слова (значительная продвинутость на восток) говорит скорее о польском источнике. Ср. в украинском языке и прямые полонизмы: *алькеж* «алькір» (Яворн.).

А л ь т а н а, **а л ь т а н к а** «беседка». — Согласно Р., это итальянское заимствование через посредство немецкого языка. Но почему именно немецкого, а не польского (как это у Рихардт)? Жаль, что не приводятся доказательства.

А м б а р. — Приведены не все известные в украинском языке формы. Нет, например, *амбаръ* (гуц., закарп.), *енбар*, *имбар* (черниговск.); *имбаръ* приводится у Р. только из памятников XVIII в.). Едва ли в украинском языке во всех случаях это непосредственное заимствование из турецкого. Посредничество русского языка принимал Тимч., а для Гу-

цульщины — и Кобыл. Для Полесья в свое время отмечалось, что *амбар* там — это еще «живой русизм» (Тарн.).

А м б о н а, **а м в о н** «ампон». — Следовало бы объяснить происхождение *амб* (см. у Фасм.).

А н г л і я. — Сильное упрощение. Производные даны вне всякой последовательности и оставлены без комментария. Между тем, здесь есть очевидные полонизмы (*ангелский, англик, ангелчик*) и русизмы (*аглицкий*). Стоило бы также учесть мнение Фасм. Сб. Чижевск.

А н д а р а к «юбка». — Следовало дать географию слова, а не ограничиваться пометой *диал.* В украинском языке это прежде всего полесское слово.

А н е к д о т, **а н е к д о т а**. — Заметим, что *анекдота* — это западноукраинская форма (Закарпатье, бывш. Галиция).

А н т а б а. — Отсутствует локализация слова.

А н т ѝ п к о (диалект.) «черт». — Пропущена форма *антѣпка* (см. у Желех.), нет локализация слова (бывш. Галиция). Этимология Р.: «антѣпка «черт» < собств. имени Антѣп, Антѣпко (< греч. *Antippos*) — табуистическая субституция слова *антѣхрист*» — не представляется убедительной. Между прочим (у Р. нет) об этимологии слова *Антѣпка* Франко писал: «Каким образом греческое имя Ἀντίπαξ, часто употреблявшееся в качестве крестного имени с первых веков христианства, стало у нас синонимом злого духа — не знаю». Идея табуистической замены слова *антѣхрист* вряд ли может быть в данном случае обоснована. Зато есть примеры того, как библейские имена и имена, связанные с религиозными движениями (имена «отрицательных» фигур), становятся синонимами черта: укр. *ірод, ірід* «черт» (ср. и русск. *ірод*). Ср. также (подробнее об этом ниже) *арідник* «черт», русск. *аред* «древний старик, старый скряга, ворчун, злой волшебник» (< библейск. *Іаред*). Другие имена религиозной окраски становятся просто бранными словами. Ср. укр. *аріяка* «разбойник, злодей» (< *Arius, Arius*, александрийский священник, основатель арианской ереси). Естественно поэтому подыскать в истории соответствующего кандидата в *антѣпки*. Источником украинского слова является, вероятно, имя Ирода-Антипы (*Antipas, Ἀντίπατος*), галилейского и переейского тетрарха (4 г. до н. э. — 40 г. н. э.), сына Ирода Великого. Ирод-Антипа известен многочисленными аморальными поступками, он казнил Иоанна Крестителя. Путь заимствования слова — через религиозную литературу.

А н ц ѝ б о л, **а н ц ѝ б о л о т**, **а н ц и б о л ѝ т н и к** (диалект.) «черт» (точнее, «болотный черт», см. у Гринч. — Р. К.). — Прежде всего, неточно утверждение Р., что это слово отсутствует в дру-

гих славянских языках. В русских говорах встречается *анцибал*, *анцибл* «болотный, водяной черт», *анцибал* — бранное слово. В чешском языке (моравск.) есть весьма похожее на украинское слово *anciběl* «антихрист, дьявол». Этимология Р. **арциболотник* «(главный) болотный черт» > *анциболотник* (под влиянием *антихрист*) > *анцибл* — в принципе возможна, однако в ней есть слабые моменты. Например, следовало бы привести свидетельства в пользу существования в украинском языке *болотник* «болотный черт» (обычно употребляется *болотняк*, см. у Гринч.). Кроме того, судя по географии слова (включая и русский язык), оно бытует скорее на востоке, чем на западе. Префикс же *арци-* в украинском языке — западнославянское заимствование, едва ли употребительное в восточных говорах. Короче говоря, существование **арциболотник* надо доказать. Зато более убедительным представляется первоначальное *анцибол* (об этом свидетельствуют и чешские и большинство русских форм), заимствованное целиком из западнославянских языков (чешского), где оно является контаминацией *ancikristi*, *anciás*, *ancefás* (> укр. *анциас*) и *d'ábel* (или же *Belial*, как думал Махек), и народноэтимологически трансформированное в *анциболот*, *анциболотник*. Слова типа *анцибол* легко заимствуются и распространяются, преодолевая огромные расстояния.

А п о! б п о (закарп.) «папа!». — Это звательная форма от *ána* «отец» (< венг.), но почему последняя у Р. под звездочкой? Верно, что преимущественно употребляются вокативные формы на *-o*, однако и *ána* известно в закарпатских говорах (см. Верхр., ЗнУР II). Стоило бы отметить также, что это слово употребляется в бачванских украинских говорах и в словацком языке.

А п р и л ь, а п р и л ь «апрель». — Неверно, что это название месяца встречается только в Middle Ukrainian (XV—XVIII вв.). В Нижнем Поднестровье и в закарпатских говорах оно известно и сейчас (см. статьи Дзэндз. и словарь Чопея).

А п т е́ к а... Из польск. *apteka* «то же», первоисточник (the ultimate source) — ср.-в.-нем. *abteke*, *abteke*. — Во-первых, первоисточником являются не немецкие формы, а греч. *ἀποθήκη*. Во-вторых, польск. *apteka* не объясняет ст.-укр. *аптыка* (XVI в.) и отсутствующее у Р. подольское *аптыка* (Шейк.). Следовало привлечь чеш. *apatyka*, *napatyka*, *aptyka*, польск. *artyka*, *hartyka*, *jartyka* (ср. при этом чешское развитие *ě > i > y*, об этом у Махека).

А р а́ к. — Отсутствует вост.-галицк. *арак* (см. Гнат. МУРЕ I, 110). Для *арак* недостаточно указать, что это ModUk (современное украинское слово): оно явно западноукраинское, где является на-

родным, бытовым словом. Ср. в лемковских песнях: «Не шлю паленку, лем арак, лем арак» (Верхр., Гал. лемк.).

А р и с т о к р а́ т. — Не объясняется происхождение формы *аристокрация*.

А р і́ д н и к (гуд.) «черт». — Вряд ли с точки зрения фонетики можно возводить это слово к *Ирод*. Думается, что правильное сопоставление делает уже Франко: «*Арідник* у гудулов в значенні злого духа это то же, что у воронежских великорусов *Арід* или *Аріды*». Ср. русск. *аред* «дряхлый старичишка, выживший из лет, заедающий чужой век; старый брюзгач, кашей, скряга; старый ведун, колдун; злой знахарь», *аредовы веки* «долгое время, предолгие годы», *аредское дело* «самое зло, ехидное, сатанинское» (Даль) < библейск. *Иаред* «имя отца Еноха, жившего якобы 962 года» (см. у Фасм.). Отметим попутно, что новая этимология Б. В. Кобылянского, считающего *арідник* заимствованием из венг. *árnnyék*⁴, неприемлема в формальном отношении и не обоснована историко-этнографически.

А р к а́ н. — Для гуцульских и других юго-западных диалектов следует считаться с румынским посредничеством. Едва ли в гуцульском это непосредственно тюркское заимствование.

А р м і́ я. — Французский (*armée*) и немецкий (*Armee*) источники не объясняют ударения слова. Вероятно, вслед за Огнечком, надо принять польское посредничество.

А р н а́ у́ т (к) а. — Скорее это не непосредственно турецкое заимствование, а через молдавский, как полагают уже Рогович.

А р н і́ к а «растение *Arnica montana*». — Отсутствует форма *арник* (Кмит), находящая свое подтверждение в нем. диалектн. *Arnlake*. Едва ли в украинских диалектах это непосредственное заимствование из латыни. Но крайней мере для гуцульских форм (*арник*, *арника*) следует считаться с заимствованием из румынского.

А р х і́ т е́ к т, а р х і́ т е́ к т о р. — Отсутствует форма *архитекта* (Шейк.). Слово *архитектор* в украинском языке зафиксировано не с XVIII в. (так и у Тимч.), а с XVII в. (Беринда).

А р ч а́ к «деревянная часть седла». — Следовало бы привести и *арчик* «седло» (см. у Гринч.), вероятно, отражающее влияние созвучного *арчик*. Это слово было также и в старопольском языке XVI в.: *jarczak* «атарское седло». Недостаточно только одна ссылка у Р. — на Тимченко, которому, кстати, не принадлежит эта этимология. Из серьезной литературы пропущен Заюнчик,⁴ специально исследовавший данное слово и возводивший его к тюрк. *affurčak*, *yffurčak*. О возможных болгарских отражениях этого

⁴ «Мовознавство», 1967, 6, стр. 41—42.

слова писал Дуриданов («Исследв. в чест на М. Дринов»).

А р ш а к ъ : а р ш а к ъ м «толпой, многочисленно и т. п.» — В юго-западных украинских говорах есть и другие формы. Ср. калушское *оршак*, *горшак* (Верхр., Марм.). Между прочим об этимологии этого слова писал Франко. В недавнее время о венгерском первоисточнике *brség* (у Р. неточно: *brség*) подробно писал Шулан («Slavica», IV). Не стоило нейтрально излагать точку зрения Шелуд., да к тому же еще и неточно: рум. *arşag* имеет совершенно другое значение, чем украинское слово, а не «то же самое» («ts», the same).

А р ш и п я (бойк., гуц.) «крутая гора, горы с продолговатым хребтом». — У Кмита другое ударение: *аршипці* (ср. двойное ударение и в рум. *ârşipi*). Следовало бы отметить, что это слово встречается у мараморощких украинцев Закарпатья: *аршипця* «велики камені на гори, Felsblöcke im Gebirg, Felszacken, Felszinken» (Верхр., Марм.). Рум. *ârşipi* значит, между прочим, и «обгорелый лес; поляна (на месте сгоревшего леса)».

А с т р о н ъ м, **а с т р о н ъ м і я**. — К *астронѡмѡ* следовало бы дать хоть какой-нибудь комментарий, так как с таким ударением слово явно заимствовано из латинского или польского (к этой проблематике см. ценную статью Кипарского). Непосредственно греческим заимствованием является отсутствующее у Р. бериндовское *астронѡмѡ*.

А т і — В исходных данных и в толковании этого междометия имеется несколько ошибочных утверждений: 1) *ат* — это не только «ah! away with you!». В юго-западных украинских говорах это слово имеет и значение «siehe! dal esse! voilà! etwa, kaum» (см. Верхр., Гал. лемк.); 2) неверно, что *ат* отсутствует в Middle Ukrainian. В закарпатских памятниках XVI в. (Няговская постилла) встречается *ат* «вот» (а также как союз «чтобы»). Вообще, не следует недооценивать памятники закарпатской письменности. Отметим, что сейчас большую работу в этой области ведет венгерский украинист Л. Даже, выпустивший превосходную книгу по истории закарпатских украинских говоров и словарь к двум памятникам закарпатской письменности; 3) Р. не учитывает наличие *ат* и в других славянских языках (кроме древнерусского), например, русск. *ат*, польск. *at*.

А т е ї с т. — Едва ли можно читать ст.-укр. *авейста*, *авей* как *афеиста*, *афей*. Это полонизмы (суффикс *-иста*), но с графическим (соответственно греч. ἀθεός). См. у Брюки. (673), где правильно прочитано ст.-укр. *атей*. Ср. и западноевропейские формы слова (например, итал., франц.) и особенно польск. *ateusz*. Что в украинский язык рассматриваемые слова пришли с Запада, подтверждается

и русским *атейской* (XVIII в., см. у Фасм.). Вообще рискованно однозначно транскрибировать некоторые знаки староукраинской письменности (в частности, *о* и *ѵ*) без изучения каждого конкретного случая. Поэтому, в случае неясненной ситуации, лучше вообще обходиться без транскрипции.

А т ъ б ѳ. — Для восточнославянских языков непосредственное заимствование из греческого едва ли можно принять. Скорее через западноевропейские языки (так у Фасм.).

А ф ѳ к т. — Сомнительно, чтобы в украинском языке это слово было непосредственным заимствованием из латинского. Следует принять польский источник, об этом свидетельствует наличие у Беринды (чего не ушел Р.) двух ударений: *афѳект* и *афѳѳт*. Добавим, что в бериндовские времена полонизмом было также слово *декрет*: Беринда писал *дѳекрет*, но *дѳекрѳту* (род.) — на польский лад.

А ф и н (а), ѳ ф и н а «черника». — В статье многое упрощено: 1) отсутствует ряд диалектных форм: стрийское *гафина* (Верхр., ЗпЮжн.) и закарпатское *ѳфони*; 2) не приводятся данные славянских языков (польск. диалект. *afyna*, макед. *офинки*); 3) упущено из виду венг. *afonua*, важное для объяснения некоторых украинских форм и для суждений о возможном происхождении слова; 4) география слова едва ли раскрывается общим Wd (западный диалект). Если оставаться в *кругу форм с -л-* (без ротацизма), то это слово известно в буковинских, гуцульских, бойковских и закарпатских говорах. Территория распространения его представляет собой сравнительно неширокую полосу, располагаясь в основном вдоль Карпатской дуги.

Верное утверждение о том, что это заимствование из румынского языка (*afina*), однако, вовсе не исчерпывает проблематики, связанной с данным словом. У Р. совсем не вспоминается немецкая версия (защитниками которой были авторы Варшав. сл., а позднее Крыжк. и Махек). Ни строчки в словарной статье не уделено *г*-формам (с румынским ротацизмом *-л- > -r-*), т. е. типу *ѳфѳира*, широко известному у гуцулов, бойков и особенно у лемков, а из других славян — у словаков, чехов и поляков. Едва ли можно доказать, что *г*-формы имеют другое происхождение, — даже если Р. так думает, то следовало об этом хотя бы упомянуть. Литература, приводимая в словарной статье, чрезвычайно скудна (только Шелуд. и Чоран.). Не приведены также, например, существенные исследования по этому слову (кроме Крыжк. и Махека, Раст.), как Лукашик и Граб. — Штиб. (и это тем досаднее, что в последней работе есть карта распространения названий *ѳфини*, *ѳфѳири*).

Аѳѳѳ! «междом. прочь! (на собак, свиней и т. п.)... Сложение *ат* — *ѳ!* —

ба!, см. эти слова).— Слово с конечным ударением отмечено у Шейк. (оттуда Гринч.). Однако в юго-западных украинских говорах хорошо известен и другой вариант: *ацѣба* (надднестрянское, бойковское), по ударению точно соответствующий рум. диалект. *fiță* (отгонный крик на собак). *Ацѣба* следует скорее разлагать на *а-цѣба* (ср. *а-кур, а-псик* и т. д.), нежели на мало понятное *а-цѣ-ба*. В Галиции, кстати сказать, употреблялось и *ацѣба* и просто *цѣба* (см., например, Франко, который, между прочим, соизнавал, что у этого слова могут быть родственные в других языках).

Ацѣ! «медом. прочь! (на свиней)». — Это слово существует и в других формах. Ср. лемк., бойк. *ацѣ*.

Аще. — В закарпатских памятниках *аще* встречается уже в XVI в., в XVIII в. часто в «угорских заклинаниях» (Петров), в «покрайних записках» (Паньк.), в грамотах. Стоило также добавить этимологическую версию, согласно которой *аще* < **at-kʷ* (последний раз у Шев.).

Аѣ «да, конечно». — Дается несколько неаргументированная этимология («An extended *aa* with intervocalic iotation, cf. Lith. *aa, Gk. aa, etc., ess als*). См. замечания к *аѣ*.

Ба! — В закарпатских памятниках уже с XVI в.

Бáба. — Праслав. **baba*, возможно, является праславянской инновацией вместо старого **ova*, сохранившегося в в.-луж. *wojka* и имеющего и.-е. связи (Шустер-Шевц). В словарной статье очень плохо представлены производные — вне всякой последовательности без объяснения (это, кстати сказать, недостаток большого числа словарных статей у Р.). А ведь многие из этих производных имеют праславянский характер и требуют отдельной разработки. Не приводится славянский материал, столь необходимый в данном случае (например, к слову *бáбка*, если оно обозначает насекомых; у Р. значение не указывается). Что означает *бáбочка?* — это гипохористическая форма к *бáба* или же наименование мотылька (ср. бойк. *бáбочка* «бáбочка, мотылек»)? *Бáбка* как название разных растений и рыб также имеет славянские связи (у Р. и это не отмечено), равно как и название разных предметов (подробно об этом писал Шулан, StSlavica V). Праславянского происхождения и производные **baby*, **babьky* «озвездие Плеяд», требующие отдельного рассмотрения. И другие производные, например, *бáбинец*, имеют соответствия в славянских языках. Вероятно, не все производные, приводимые в статье, относятся к *бáба* «женщина, старуха». Стоило учесть работу Поповича об основах *bab-, bob-, bpb-*, образующих в славянских языках названия разных круглых предметов, равно как и замечания Безл.

Из производных пропущено *бáбити* «obstetricare», имеющее славянские свя-

зи. Едва ли *бáбити* «ворожить» связано с *бáба*. Ср. *бáбны* «суеверия» (Верхр., ЭнУР I), *бáбонá* «глупая, неумная речь, разговор» (Кмит). Скорее следует думать о звукоподражательном происхождении этой группы слов.

Бáбáя кá. — Следовало бы указать географию слова: это прежде всего днестровско-дунайско-черноморский термин. Сюда же относится и отсутствующее у Р. *бáббй* «деревянный выступ в лодке, к которому привязывается цепь якоря или канат». Исходя из географии этих слов и судя по суффиксам (ср., например, рум. *bábbi* — увеличительная форма от *bába*), можно предположить, что *бáбáйка, бáббй* — образования румынско-украинской среды, попавшие (как речной термин) затем в русский язык.

Бáбáк «байбак». — Чрезвычайно скудная библиография (ссылка только на АкСл = Академический словарь), хотя нельзя, кажется, было не упомянуть Фасм., не говоря уже о Зайонч. и Дмитр.

Бáбáрати «пачкать и т. п.» — Пропущено *бáбáвий* (Верхр., Зам.) и Чигиринское *бáбáо* «болото, топь» (Яворн.). Нуждаются в обосновании такие производные, как например, названия божьей коровки *бáбрүү*, (-)ка, *бáбрѣсько* и т. д., принадлежность которых к *бáбрати* вовсе не очевидна. В карпатской зоне «жужный» ареал, занятый типом *бáбр-, бóбр-, пáпáр-* (к последнему ср. укр. *пáпáрúза, пáпáрúшка* «божья коровка») и включающем также неславянские языки (ср., например, рум. *biburiță* «божья коровка»), довольно четко противопоставляется «северному» ареалу, где распространены наименования с основой *бéдр-, пéтр-* (*бéдрик, пéтрик* и под.). В свете лингвогеографии необоснованным представляется неразличение (Махек) обоих типов или выведение типа *бáбр-, бóбр-* из *бéдр-* (как это у В. Т. Коломиец⁵). В словарной статье у Р. невероятная хетская форма *пáгрáñ* (да еще со ссылкой на Махека, хотя последний приводит *пáгрáññ-* и *пáгрáñ-*).

Мы привели примеры недостатков рецензируемой работы, выписанные всего лишь с 46 страниц (в томе — 480 стр.), причем просматривали слово за словом, отмечая только наиболее существенное. Но и остальная часть словаря вызывает много замечаний. Ср., например, следующее:

Бáгáкáти (гуп.) «петь». — Отсутствует родственное бойк. *бéгáкáти*.

Бáгáбá «болото, топь». — Нет географии слова. Отсутствуют ссылки вообще на какую-либо литературу. Стоило упомянуть также, хотя бы критически, о немецкой версии Розад.

Бáгóр, бáгóбó. — Для значения «часть обода колеса» география слова, приведенная Р. (SoCr = южнокарпатское),

⁵ «Мовознавство», 1967, 3, стр. 50—51.

не точна: это название есть в лемковских и бойковских говорах. Пропущен польский материал.

Б а д и л и я к «стебель растений...» — Отсутствует довольно распространенное в части юго-западных говоров *бадилё* «то же».

Б а з а́ р.— Что означает *базаринка*, приведенная в производных? Если «взятку, подарок и т. п.», то отнесение этого слова к *базар* является народной этимологией (за что, заметим, Р. часто критикует других лингвистов). Вместе с *басаринка*, *басаринок*, *басаримок*, *басаринок* это слово следовало поместить под *басаринок* (< польск. *basarunek* < ср.-в.-нем. *bezzerunge*).

Б а з и́ к а т и «болтать, лепетать и т. д.» — Вопреки Р. это слово есть и в других славянских языках (ср. *базикать* и т. п. в русских говорах).

Б а з и́ к «*Sambucus ebulus*». — Многие упрощено в этой словарной статье. Если *базник* — форма с аканьем (вместо *бозник*, *бузник*), то как объяснить *баз* «*Sambucus nigra*» (есть у Маков., но оставлено Р. без внимания)? Эта последняя форма есть, между прочим, в курских говорах русского языка (*баз*, а также *базі* «бузина»). Юго-западные укр. *баз*, *базнік* и русск. диалект. *баз*, *базі* делают весьма вероятным предположение о исконности данного типа на восточнославянской территории. Тем самым подтверждается праславянская реконструкция **baz-*, *büz-* Мошин., а также Махека (оба, впрочем, не располагали восточнославянским материалом, отражающим вокализм *a*). Неясно, что имеет Р. в виду, утверждая, будто слово *базник* отсутствует в других славянских языках: если речь идет о вокализме *a*, то тип *baz-* представлен во многих славянских языках, если же о суффиксации, то можно привести болг. диалект. *базанік*.

Б а́ й д а «гуляка, лодырь и т. д.» — В эту словарную статью почему-то помещено *байда*, *пайда* «большой ломоть хлеба», имеющие совершенно другое происхождение.

Б а́ й д а́ к «судно, лодка». — Без аргументации сюда отнесена фамилия *Байдак*, которую можно было бы рассматривать при *байдаки* «болтать, городить чепуху». Что же касается *байдак* «лодка», то Зайончк. считал это слово возможным заимствованием из кыпчакских языков.

Б а́ й л у в а́ т и «припрягать вторую пару волов и вытаскивать воз наверх». — Согласно Р. это слово является «doubtless-ly» производным от *байль*, *байла* «знахарь, шеншув» (*soseger*, *magician*). Весьма странная этимология без какой бы то ни было аргументации. Помимо логической необоснованности подобной этимологии, против нее свидетельствует и география слова: *байль*, *байла* — это юго-западные названия, а *байлувати* — южноукраинское слово. Оно неотделимо от

южноукраинских же *байлбва*, *байлбека*, *байлбга* «выносное дышло в плужной запяжке; шест, посредством которого поднимают якорь на дуб, большую днепровскую лодку». *Байлувати* встречается в чумацких песнях (синонимом к этому слову выступает *бичувати*) и не исключено, что это заимствование из тюрк. *baýla-/baýla-* «связывать, привязывать». Не настаивая на данной этимологии, считаем ее все же логически более обоснованной, чем довольно произвольное предположение Р.

Б а к а́ л і я «сушеные фрукты и т. д.» — Едва ли прямое заимствование из араб., турецк. *bakkál*. В украинском языке существовала и форма с другим ударением — *бакáлія* (не отмеченная у Р.).

Б а к а́ н «красная краска, кошениль». — Неточна датировка этого слова в источниках только с XIX в. Уже в документах XVIII в. *бакан* фигурирует как предмет ввоза на Украину (главным образом из Вроцлава), см. об этом Джиджора, ЗНТШ, т. СІ, кн. 1, стр. 86.

Б а к у́ н «сорт крепкого табака». — Это слово встречается не только на Буковине и Каменец-Подольщине: оно известно и в Закарпатье.

Б а л а́ м у́ т.— Совершенно необоснованно отнесение к *баламут* «возмутитель спокойствия, смутьян, обманщик, подстрекатель» слова *баламут* «кумбрия». Это последнее известно преимущественно в черноморском бассейне и является заимствованием из турецк. *palamut* (< греч.).

Б а л а́ н д а́.— Едва ли одного происхождения *баландя* «скверная еда, похлебка» и *баландя* «неуклюжий человек, вздорный болтун». Последнее известно в юго-западных украинских говорах и связано с *баландити*, *белендіти* «болтать, трепаться» (вероятно, к *балакати* с «арготическим» или «разговорным» суффиксом *-нда*).

Б а́ л т а (гуц.) «топор». — Это не только гуцульское слово, оно есть и в закарпатских говорах. Вопреки Р. *балта* не может быть прямым заимствованием из турецкого (ударение!), а через венгерское посредничество (как уже раньше писали об этом, например, Чопей и Гнат., УР).

Б а л ц а́ н к а, б а л ь з а́ н к а «бутыл, оплетенная лозой; жестянка для хранения жидкостей». — Это не только Wd (западный диалект). Оно известно и на юге Украины (см. у Маеж., откуда Гринч.), на Днепропетровщине. Вопреки Р. это не заимствование из румынского (здесь Р. цитирует Пушк.), а полонизм (польск. *balsamka*, см. об этом у Ващ., цитирующего Яворн.).

Б а л ь з а́ м.— Нельзя считать это слово непосредственным заимствованием из греческого языка (тогда в украинском и русском было бы *вальсам*).

Б а́ н д а.— Ит. *bandito* не является производным от *banda*: это образование от *bandire* «изгонять».

Б а р б а́ р а «кнут, бич и т. п.»— Неверно возведение этого слова к «шутному» образованию от *bamie* «кнут», загрязненного с глаголом *nápmi* «бить» и подвергнутому влиянию собственного имени *Barbára*. Здесь прямое польское заимствование: польск. *barbara* «бич и т. д.» < *Barbara* (собств. имя). Название предметов именами людей редко. Ср. в польском также название деревянного крюка для подвешивания котла над огнем — *barbara, jawdiga* (в гуральских говорах). На этом основании из собственного имени *Wanda* следует выводить и укр. *ва́ндá* «род аранника, длинной плети» (см. ниже). О польском *barbara* писал, кстати, Брюкн., а подробно о назывании предметов именами людей — Бонфанте («Ricerche linguistiche», IV). Отметим также, что у Р. нет довольно известной формы рассматриваемого слова — *байбáра* (см. у Желех. и Гринч.), возникшей в результате диссимилации из *барбара* (ср. *байбарус* < *барбарус*). Р. к тому же ошибочно считает, что *барбáра* — это «среднеукраинское слово» (XVII—XVIII вв.). Однако оно есть и в украинских диалектах (см. *барбару* у Яворн.) и употреблялось Гоголем. Ср. в его «Повести о том, как посорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»: «Посему прошу одного дворнина... в кандалы заковать... и... добре барбарями шмаровать».

Б а́ р д а «алебарда; широкий топор». — Никакого отношения не имеют сюда *бардó, бардин'а* «краюха хлеба», заимствованные из западославянских языков (ср. ст.-чеш. *partéka* «краюха хлеба», польск. *partyka*); ср. и нем. *Parteke* «то же» (все из лат. *parteca*). *Бардóга* точно отражает польскую (или чешскую) форму (но только с озвончением согласных, что у заимствованных слов, содержащих сонорные, — не редкость), *бардá* же — вторичное образование (от *бардóга*, где *-га* было воспринято как суффикс).

Б а х м а́ т «татарский конь». — Не учтены версии Зайончк. и Менгеса (сб. Чижевскому).

Б а́ ц (западн. диалектн.) «старший оварь». — Не сообщен источник этой формы. Ее нет ни у Желех., ни у Гринч., ни в других более или менее известных собраниях диалектной лексики. Судя по всему, *бац* — узкодialekтное слово, для которого не следовало давать помету Wd (западные диалекты). Зато у Р. отсутствует действительно известная в юго-западных украинских говорах форма *бáча* (лемк., закарп. — см. Верхр., Гал. лемк.; Граб.— Штиб.; Чопей). Но даже и она известна не везде (у гуцулов употребляется, например, *ватáг*). По происхождению *бáча* может быть словакизмом (как думал уже Верхр., Гал. лемк.). Не стои-

ло обходить вопрос о первоисточнике слова. Им может быть и венг. *bacsó, bacsó, bács*. Не использована ценная статья Граб.— Штиб. о лексике карпатских украинских говоров (где для *бáча* дается локализация на карте). Приводя ономатический материал, следовало бы дать некоторые объяснения. Так, например, словообразование фамилии *Бацýца* едва ли может быть освещено из украинского языка (скорее здесь румынский суффикс). Башлóвка «почетный дар из добычи наиболее отличившимся в бою». — Р. неверно полагает, что это «Middle Uk.». Это старый казачий термин, сохранившийся в русских говорах (ср. *башловка* у Даля). Он, несомненно, турецкого происхождения, однако эта этимология обделена у Р. в народноэтимологическую форму: «Compound¹ of *баш[ка]* and *-ловка: ловити*». Исходить следует из *башл-овка*, где *-овка* — суффикс, а *башл-* — основа (ср. турецк. *başlı* «главный, основной и т. д.»). Отметим заодно, что морфологически несобственно и этимология Роголя⁶, считавшего, что *башловка* образовано при помощи суффикса *-ка* от турецкого *başa* (?).

Б е́ л ь ́й (западн.) «личинка майского жука; болван», из рум. *bălai* «блондин, белый». — Многие здесь неточно. Это слово известно только галицким лемкам, так что помета Wd дезориентирует. Из наблюдений над украинской карпатской лексикой известно, что практически нет непосредственных румынских заимствований у лемков, не встречающихся также в других украинских карпатских говорах. Изолированность этого слова свидетельствует против румынской версии. Кроме того, форма и значение румынского слова не вполне соответствуют лемковскому. Поэтому реальнее, на наш взгляд, видеть здесь славянское **bělějъ*, обозначающее белые или светлые предметы (ср., например, надднестрянское *білий* «род гриба») и записанное к лемкам из каких-то словацких (а, может быть, и польских) говоров.

Б е́ р д ь ́иш.— Едва ли непосредственное заимствование из ср.-лат. *barducium*.

Б е́ р е́ г.— Со значением «склон горы, холм» это слово не только бойковское и гуцульское, но и закарпатское.

Б е́ р э́ з а «Betula alba». — Сюда не относится *берэза* «предводитель колядников и т. п.» Это заимствование из румынского (*brezaie*), см. об этом у Винс. и Бернара.

Б е́ р ф э́ л а, б е́ р ф э́ л ь я, б е́ р ф э́ л о, зап. (карпатск.) «крюк для подвешивания котелка», из рум. *birfeală, Vincenz* 12. — Можно также отметить *берфэлó* (см. Верхр., ЗнЮжн. и Желех.). Р. слышался на Винс., однако последний вовсе не утверждал, что рассматриваемые слова

⁶ Сб. «З історії української та інших слов'янських мов», Київ, 1965, стр. 190.

заимствованы из рум. *birfeală*, а писал следующее: *берфела* «соответствует фонемно (phonème par phonème) румынскому *birfeală* «клевета, слепя», но различие в значении трудно объяснить». Как видим, это всего лишь предположение, в правильности которого Винс. сам сильно сомневался. Неточно утверждение Р., что *берфела* — западноукраинское слово (Wd), как и утверждение, что оно является карпатским. Локализация его может быть дана с определенностью: *берфела* и т. п. — гуцульский термин, не встречающийся в других горах (см. Верхр., ЗиЮжн.; Шух.; Винс.; Кобыл. и др.).

Этимологи рассматриваемого термина и по сей день весьма неудовлетворительны. Неудачно сопоставление с якобы родственным ему словом *беревё* «бревно, балка» (Верхр., ЗиЮжн.). Чрезвычайно сомнительно выведение из рум. *boarfele, borfa* у Кобыл. (значение румынского слова в своей работе он не приводит, однако, словари дают только «тряпка, старая вещь, баракло» и т. п.). Видимо, правильный ответ дает внимательное рассмотрение румынского диалектного материала, содержащегося в румынском лингвистическом атласе, а также собранного в недавнем издании превосходном словаре Тамаша. Венг. *béifa, bérfa* «вертикальная часть ярма; определенная часть телеги; определенная часть ткацкого станка» (> укр. закарп. *бёрфа* «часть воза», *бёрфи* «ступеньки переносной лестницы») в румынских диалектах (где означает также «деревянные дощечки для спрессовывания табака») представлено в разнообразных формах: *bulféu, bolfézi, bolféle, belfézi, belfee, bulféu, burféie, birféi* и т. д. Одна из этих форм и послужила источником для гуцульского слова (*берфела* — это вертикальный подвижной деревянный стержень с крюком на конце).

Б л и з н а «шрам». — Едва ли фамилия *Близниченко* относится сюда. Скорее к *Близник* ← *близник* «близнец» (ср. у Гринч. *близниця*).

Б л я х а «жесть». — Без аргументации нельзя утверждать, что укр. *бляха* «жесть» представляет собой гиперкорректную форму к *бляха* «то же» (известную в юго-западных горах, например, на Надднестрянщине), заимствованную якобы прямо из ср.-в.-нем. *blēch*. В отечественных юго-западных украинских горах известен переход 'а > 'е, так что как раз *бляха* может быть фонетическим преобразованием формы *бляха* (< польск.). Ничего не доказывает приводимое др.-русск. *блещий* «кузнец», так как это возможное заимствование с Востока (см. у Фасм.).

Б о в к ъ ъ «вол, напряженный в одиночку». — Едва ли верно, что это слово принадлежит западным украинским горам. Если это так, то надо было при-

вести источники, послужившие основанием для подобного вывода. Во всяком случае, *бовак* есть и на востоке Украины: Киевщина, Сумщина, Харьковщина (на Сумщине это слово значит «ярмо для одного вола»). Мало того, *бовак* «воловоья упряжка» есть в русских оренбургских горах (см. у Фасм.). Уже исходя из географии слова, можно сомневаться в его румынском происхождении. Сюда присоединяются и морфологические трудности: вряд ли к **бов* (рум. *boi* «бык, вол») мог быть прибавлен суффикс *-ук* (по типу *скакѹн, крикѹн*), так как образования на *-ук* обычно отглагольного происхождения. Скорее следует принять этимологию Фасм., предложенную им для русского слова: *бовак* возникло декомпозицией «из *об-* и *волоку*». Разумеется только, что глагольный вокализм был, вероятно, на ступени редукции (**vьlk* < **vьlk-*). Эта этимология делает понятным, почему в украинских горах *бовак* значит и «сног камыша», точнее, именно «большой сног камыша» (Гривч.): первоначально «то, что волокут, тащат, охакя».

Б о т ъ к. — В своем словаре Р. отделяет юго-западное *бутѹк* «ствол дерева, предназначенный для распилки» (< рум. *butăc*) от однозначного *ботѹк*, которое якобы происходит из *боатѹк* (а это — от *боат* «бот, ботало, шест, которым пугают рыбу и т. п.»). Фонетические изменения, предполагаемые Р., довольно сомнительны, а география слов не подтверждает его выводов. И *бутѹк* и *ботѹк* имеют (как это часто и в других словарных статьях) мало что выражающую помету Wd. Если бы Р. более внимательно отнесся к диалектологическим данным (речь не идет о каких-то редких работах, а о хорошо известных собраниях лексики И. Верхратского и Ю. Кмита), если бы он внимательно прочел соответствующие словарные статьи у Гринч. и цитируемого им Винс., то вряд ли он предложил бы столь необоснованное объяснение варианта *ботѹк*. Оба рассматриваемых слова представляют собой всего лишь две формы одной и той же лексемы (так, кстати, полагали, Верхр., Гринч., Винс.). География интересующих нас названий выглядит следующим образом. *Бутѹк* и *ботѹк* — это гуцульские варианты слова (Винс.), т. е. варианты, встречающиеся в зоне непосредственных румынских влияний. Как надпрутское (sic!) приводит *ботѹк* Гринч. (из сборника поэтических сочинений Д. Млаки). Гуцульское же *бутѹки* (Дора около Делятина) и *бутѹки* (Микуличин, там же) — см. Верхр., ЗиЮжн. Из этого же труда узнаем, что далее на северо-западе (на Калущине) встречается форма *ботѹк*, которая, по наблюдению Кмита, продолжается на Бойковщине. У ближайших северо-западных соседей бойков — зампанцев — опять появля-

ется *ботук*, сменяющийся в восточной Галиции вариантом *ботюк* (см. Верхр., Зам.). Короче говоря, перед нами типичный ареал румынского заимствования в украинских карпатских горах. Суффикс *-юк* — результат адаптации к украинскому словообразовательному типу, а варианты с вокализмом *-у* и *-о* на территории юго-западных наречий, где наблюдается «куканье» (переход *о > у* в безударном положении), едва ли должны удивлять.

Б о т я «часть борта лодки». — Это слово не только южнорумынское. Оно зафиксировано также у Васил. и Манж.

Б р а й (гуд.) «мешалка (при изготовлении брызны)». — То, что это слово образовано от *брати* суффиксом *-ай*, несколько сомнительно из-за необщности словообразования и семантики глагола. Стоило бы взвесить возможности связи с рум. *brăi(ă)* «то же».

Б р е д у л ь ц ь. — Украинское название багульника (*Ledum palustre*) *бредульцъ*, *бредульць*, *бредульцъ* Р. объясняется как народноэтимологическую деформацию первоначального *бредульцъ*, происходящего якобы от *бэрд* «холм, гора; пропасть, обрыв». Неясна здесь семантическая мотивация. Что же касается формальной стороны, то свидетельства источников не подтверждают предложенную в словаре этимологию. Почти все работы, на которые ссылается Маков., указывают только форму *бредульцъ*. И лишь у Мельника отмечено *бредульць* (и то наряду с *бредульцъ*). Кроме того, толкование Р. никак не объясняет варианта *бредульць* (прибавим сюда и зафиксированное Кмитом *брезовецъ*). Все это заставляет искать другие пути этимологизирования рассматриваемых названий. Территория их распространения (Бойковщина, Гудульщина) находится в сфере румынских влияний. Действительно, в румынском языке есть подходящее для нас, идеальное по форме и удовлетворительное по значению слово *brădulêț* «елочка» (уменьш. от *brad* «ель»). Можно полагать, что *бредульцъ* и является этим румынским словом. Внешне багульник с его узкими листьями может напоминать пучок хвойных ветвей. Ср. также одно из немецких наименований багульника — *Tannenporst*, указывающее на аналогичную или какую-то иную мотивированность по отношению к ели. Наконец, и это весьма важно для нас, особенностями румынского языка можно объяснить непоявляющуюся на украинской почве форму *бредульць*. Известно, что в румынском *d* и *z* чередуются в ряде грамматических форм: *brad* «ель» имеет мн. число *brazi*; в суффиксальных образованиях происходят подобные же чередования — *brădișor* «елочка» (уменьш. от *brad*) и растение *Lycoperodium selago* во мн. числе имеет форму *brăzișori* (есть, впрочем, и *brădișori*). Основой для укр.

бредульць послужило аналогическое по происхождению **brăzulêț*, возникшее если не на румынской почве, то в этнически пестрой валахской среде. Во всяком случае, не видно иной убедительной возможности объяснить параллелизм *бредульць* || *бредульць*.

Чем дальше продвигаются рассматриваемые слова от первоначального места их возникновения, тем больше подвергаются они деэтимологизации и искажениям (из этимологической практики хорошо известно, что такие трансформации нередки). Так, у бойков, вместо *бредульць*, появляется *брезовецъ* (хотя к березе багульник не имеет никакого отношения).

Б р и з ь с т и й, зап. (лемк.) «черный с белыми пятнами», произведено от *brăzanti*, *brăzanti* «брызгать, брызнуть». — Только полным невниманием к славянскому фону можно объяснить появление этой удивительно странной этимологии. Лемковское *брызастий* (*брызаста корова* «черная корова с белыми пятнами») хорошо вписывается в обширное семейство славянских слов для обозначения пестрого домашнего скота. Ср. польск. (о коровах) *brzeziate*, *brzezula*, *brzeziasta*, *brzezawa*, *brzeza*, словацк. *brzavý* (*brzavé voly*, *brzavá krava*), словен. *bręza* «пятнистая корова или коза», *bręzast* «пятнистый (о корове, козе)», болг. *брез*, *брыз* «с белыми пятнами (о домашних животных) и т. п.» (> рум. *breaz*, примерно с тем же значением). Другой вопрос, как образовалась эта общность слов. И хотя здесь не место рассуждениям на подобную тему, заметим только, что из лингвогеографических соображений можно предположить «валахское» происхождение всех этих слов (ср. и отчетливо выраженный скотоводческий характер термина). Здесь имеются две возможности объяснения: 1) либо это «валахское» (румынское) **bréz-*, **bráz-*, распространившееся в районах горного скотоводства, с последующей адьялекцией к слову «береза»; 2) либо это семантическая инновация в той же «валахской» среде: употребление слова «береза» для обозначения пестрых животных. Вторая версия предпочтительнее, так как рум. *breaz* само заимствовано из болгарского. Что же касается семантических аргументов, то есть примеры переноса названий пестрых растений на пестрых животных. Ср. исконск. *Береза* «личка корова» и рум. *Brîndușă* «личка пестрой коровы» (от *brîndușă* «название растения с пестрыми цветами, Сгносус»). Такое толкование представляется более правдоподобным, чем возведение рассматриваемых слов к сомнительному праславянскому **berz-* «белый, светлый», существование которого трудно доказать. Для нас сейчас существенно, однако, то, что лемк. *брызастий* представляет собой заимствование из польск. *brzeziasty*, но не непосредственно из «валахского», так как валахи, оставив

ших следы только у лемков и отсутствующих в других карпатских горах, как будто не существует. Наличие у сучавских гудулов таких, например, румынских заимствований, как *brîza* «овца с белой шейей» (< рум. *brează*), *brîzăzii*, *brăzii* «названия белоголовых быков» (см. у Пэтруца), не меняет картины относительно изолированности лемковского слова на украинской территории.

В связи с рассматриваемой группой слов отметим попутно, что невнимание к славянскому материалу привело одного из составителей этимологического словаря в Киеве — А. С. Мельничука к ошибочным утверждениям о том, что укр. закарп. *березця* (название овцы) является примером лексических связей украинских карпатских говоров с южнославянскими языками. ? А. С. Мельничук совершенно не упоминает о западнославянских словах, которые свидетельствуют против его поспешных выводов.

Брѣця «*Setaria glauca*», только в современном украинском языке (ModUk. only). — Почему-то даже не упоминается, что есть, например, русск. *брыца*, болг. *бръца* (см. хотя бы у Фасм.).

Брокѣт. — Основываясь на ударении слова, Р. отрицает здесь польское посредничество. Неверно, однако, оцениваются (как и в ряде других случаев) возможности извлекать из подвижного ударения свидетельства о происхождении и путях проникновения слов. В польском языке *brokat* (им. ед.), но *brokāt* (в других падежах), и этот тип ударения поначалу сохранялся в украинском языке в польских заимствованиях (ср. бериндовское *дѣкрет*, но *декрѣту*), а затем происходило выравнивание по косвенным или именительному падежу (ср. у Беринды упоминавшиеся уже дублетные формы *афѣкт* и *афѣкт*). Разве можно, например, на основании ударения русского *архѣи* отрицать несомненное польское происхождение этого слова?

Бру́нька «почка (растений)». — Р. не учел, что это слово есть и в других славянских языках. Ср. болг. *брунка* «то же».

Бу́ждега́рня, зап., «большое безобразное строение»... Происхождение неизвестно; связь с *будиган* не ясна, хотя возможна. — Указание, что это слово встречается в западных украинских диалектах, недостаточное. Это гудульское слово, означающее старую, развалившуюся хату и более известное в форме *будигарня* (см. у Шух.). Полагаем, что никакой непосредственной связи между *буж-*

дигарня и *будиган* (желез; палица) нет, хотя в бойковских говорах *будигарня* — это «щипок з кулькою, палка» (Онышк.). Бойковское слово — пример искажения лексем, когда они удаляются от первоначального места своего бытования. Об этом говорит и суффиксация слова *будигарня*: *-арня* входит обычно в состав названий, обозначающих место (следовательно, значение «палка» явно вторично). Следует думать, что гуд. *будигарня* «старая, разваливающаяся хата» — заимствование из румынского. Ср. следующие румынские слова: *bûjdă*, *bujdăcă* (*bojdăcă*), *bujdăcă*, *bujdăulă*. Все они имеют значение «хижина, лачуга, землянка и т. п.». Конец слова был адаптирован к украинским суффиксам (особенно это касается формы *bujdăcă*, которая могла преобразоваться в **буждѣра*, **буждѣра* а затем приобрести суффикс *-арня*; украинское варьное г может быть результатом озвончения -к-). Наш вывод, возможно, подтверждает также бойковское *будигарня* «пустая, развалившаяся хата» (Кмит). Если это слово не возникло в результате ассимиляции из *будигарня*, то его лучше всего объяснить как производное с суффиксом *-игарня* от *бурдѣй* «лачуга, хижина» (отмеченного, в частности, в гудульских говорах). Ср. также гуд. *бужда*, отражающее рум. *bujdă* (Винс.).

Бу́женйна, бужа́йна «буженина». — Украинское слово не происходит из **буженина*, а является образованием от глагола *бу́йти* «опитить» (**obrditi*), известного в говорах.

Бу́й, ...бу́йний. — Следовало бы привести укр. диалект. *бу́йний* «круной», точно соответствующее в этом значении белорусскому *бу́йны*.

Бу́рдѣль и т. д. — Значение этого слова у юго-западных украинцев не только «brothel, bawdy-house», как дает Р., замшанецк. *бурдѣль* означает просто «elende Hütte».

Бу́ркút «spring of mineral water; eagle». — «Минеральный источник» и «орел» — это разные слова, разного происхождения.

Ва́дрѣ (у Федьковича) «ведро». — Как известно, Шелуд. выводил это слово из рум. *vădră* «ведро» (< слав.). Р. считает, что это диалектная фонетическая трансформация зап.-укр. *ведрѣ* (с переходом *e > a*, как в *дѣдрі*, вместо *дѣврі*). Здесь, однако, какое-то недоразумение. Из каких западных говоров вята форма *ведрѣ*? Ссылка на Желех. здесь мало помогает, так как известно, что в украинском языке южная граница перехода неударного *ѣ > e* идет примерно по той же линии, которая отделяет волыско-полесские горы от волыньских; Владимир-Волынский — Луцк — Ровно — Новоград-Волынский (см. у Яцко). Так что *ведрѣ* как юго-западное слово весьма

⁷ См.: А. С. Мельничук, Принципы укладання этимологічного словника української мови, «Мовознавство», 1967, 2, стр. 21.

сомнительно⁸, а как буквиносное — вообще невозможно, ибо в этом слове этимологическое *ě* (**vědro*), дающее в буковинских говорах *i*. Поэтому предпочтительнее следует отдать этимологии Шолуд. (к этому, кроме упомянутого выше, склоняет и география слова). Интересно отметить, что в буковинских говорах, кроме *вадрб*, есть еще одна форма — *ведрб* (см. у Жилко). Оба эти варианта отражают чередование вокализма в румынском источнике. Ср. рум. *vadră* (ед.), но *vedre* (мн.).

В а н а ц і и т. д. — Здесь многое произвольно. Прежде всего Р. не имел права указывать значение «learning, study». Это его реконструкция, для которой нет оснований, во всяком случае для примеров из Некраш. Р. хочет исходить из названия *Венеция*, западноевропейского центра образования и культуры, известного якобы на Украине в XVI—XVIII вв. Текст Некраш. («Замысль на пошу», или «Прозба на пошу») показывает, однако, что в этом произведении писалось о делах местного сельского прихода, так что о Венеции не может быть и речи. Приведем несколько выдержек из Некраш. (крестьяне перечисляют «затеи» нового попа, вспоминая старые добрые времена, когда у них был другой поп): «Да щеж то выдумавъ (новый пог.— Р. К.) якую затю: Щобъ мы давали дѣтей у ванацю; «Старый плбъ небжчикъ, не плбѣв ванацй» (варианты: «не вѣвѣв ванацй; «не знавъ тихъ винацй»); («Big» не ставъ и годитъ, Бо стали дѣтеи манацй учитъ» (варианты: «ванацй учити»); «Бо цей ставъ дитей въ винацй вчити»). Думается все же, что первоначально речь шла о слове *вакация* «свободное время, каникулы», во время которых новый поп заставлял детей посещать церковь. Это слово было затем искажено. Обращаем также внимание на то, что нового попа называют *ванацйникъ* (в другом списке: *вакацйникъ*). Искажение иносмыслного слова тем более вероятно, что оно могло быть внедрено ненавистным попом (в жалобе попа называют: «баснословацй латинникъ», «ббснословяцй латинникъ»).

В а н д а «рашник». — См. наши замечания к *барбара*. Никакой связи с русск. *вагда*, *вапта* «шлетенка для ловли рыбы» нет. Украинское слово связал с русским сам Р., поэтому неуместны в данном случае ссылки на Горяева, Преображенского

⁸ Правда, Ф. Т. Жилко (на стр. 191) приводит примеры волынского перехода *e* > *a* (под ударением), и среди многих слов со старым «е» (> *a*) неожиданно появляется мало понятный пример: *вадра* — *вадрб*. Как бы это ни объяснять (если это только не ошибка), данный случай не относится к буковинским говорам, где можно ожидать только фонетическое *вѣдро*.

и Фасм. Есть и другие примеры подобного рода ссылок (см., например, еще *ббвдур*, которым Ряснен, вопреки утверждениям Р., не занимался).

В а н т а г а, в а н т а ж «груза». — Зря Р. присоединился к Шев. в возведении напраслины на Фасмера: Фасмер украинским словом *вантаж* «груза» не занимался, а занимался словом *вантаж* «польза, выгода». Это последнее, вопреки сомнениям Шев., в украинском языке действительно существует (асвидетельствовано такими надежными источниками, как Манж. и Васил.; у Гринч. странным образом отсутствует) и действительно происходит из франц. *avantage* (через посредничество польского: ср. средневековое польск. *awantaż* «зусько»). Что же касается этимологии Шев. (< *vatáza*), одобренной Р., то едва ли она правильная: слишком велики фонетико-морфологические и семантические трудности. Отметим здесь некоторые факты, которые не могли быть известны как Шев., так и Р., но которые, как кажется, проливают свет на происхождение рассматриваемого слова. Видимо, исходным значением для глагола *вантажити* было «связывать, обматывать, завертывать и т. п.». В одном рукописном словаре украинского языка неизвестного автора (Собрание А. С. Петрушевича, № 27; хранится в библиотеке АН СССР в Ленинграде), относящемся примерно к 30-м годам прошлого столетия, выступает *вантажити* и *вантажити* со значением «fasciare, in fascis colligere, in volucro legere, involvere, einballen, einballieren; onerare, gravare, aufladen, belasten, aufbürden». Неизвестный автор предполагает, что это производные от *вантуз* «большой мешок, грубое полотно для ушаковки».

В а н а (карпатск.) «болото». — Р. предполагает, что это слово «first recorded» в 1940 г. в работе Накопечной — Рудницкого. Заметим, что при существенных пробелах в источниках словаря едва ли стоит вводить подобную помету, иначе могут возникнуть неловкие ситуации, как это имеет место в данном случае: впервые *вана* зафиксировано по крайней мере в 1899 г. (см. Верхр., ЗНУР I).

В а т о р о п к а «трудная ситуация». — Едва ли это связано с русск. *торопить*. Скорее с русск. *оторопеть*, *оторбить* «страшно, боязно».

В а т р а «огонь». — Помета ModUk. (современный украинский язык) явно недостаточна, так как это слово известно только в юго-западных говорах, да и то не во всех.

В а т р о б а, в а н т р о б а «внутренности». Слово это не только лемковское, но и бойковское (см. у Кмита *вантробу*).

В е ж а «башня». — Неверно восстанавливать здесь праславянскую форму **veža* (вместо **věža*, как надежно свидетельствуют славянские языки; ср. и

др.-русс. *вѣжа*). Поэтому неверно также считать украинскую форму продолжением праславянской. Укр. *вѣжа* является заимствованием из польского (см. Фасм.), в противном случае надо бы ожидать **вѣжа*.

Векелія «губка, трут» (у Р. inflammable substances).—Отсутствуют формы *вакѣлія* и *бакѣлія*.

Верло «рычаг, к которому припрягают лошадей для приведения в действие привода»; *вѣрло* «дышло конного привода; длинный рычаг, которым поворачивают ветряные мельницы».—Напрасно не учитывать славянские формы. Ср. чеш. *vrlna*, словац. *vrlny*, болг. *върлина*, словен. *vrlna* и т. д. (примеры собраны у Махека). Пытаясь вывести *верло* из **вертло* (к *вертѣти* «вертеть»), Р., на наш взгляд, вошел в конфликт с исторической фонетикой украинского языка. Образования на -л- от *вертѣти* в украинском языке, как правило, сохраняются, ибо здесь не было исконого сочетания -л-. Ср. укр. *вертѣлий*, *вертѣлий* «вертлявый», *вертѣлик* «шарманка», *вертѣль* «неподвижный винт, на котором что-нибудь вращается». Здесь же корень **ver-* «открывать, закрывать, заширать и т. п.». Следовательно, *верло* из **vrdlo* или, точнее (принимая во внимание западославянские отражения), **vr-lo*. Равным образом *вѣрлик* «цепь, кольцо...» не выводится из **вѣртлик*, а связано с упомянутым семейством слов.

Вермянний «красный».—Не упоминается обычно производное здесь др.-русс. *вермие* «саранча, черви». Если у Р. были какие-то аргументы против такого сопоставления, то их следовало бы привести. Недавно А. Матл показал (SbBrn. A12), что древнерусское слово является, очевидно, фикцией, и усомнился в реальном существовании укр. *вермянний*.

Верста́.— Вопреки Р. это слово архаизмом не является. Можно согласиться, что оно является устаревшим как обозначение меры расстояния. Однако в других значениях оно отмечено в разных источниках. В бойковских говорах есть *верста* «колея» (Вагил.), у гуцулов — *верста* «поколение» (Винс.). Пропущена также форма *версть* «поколение» (Верхр., ЗНУР I). Отметим, что не совсем понятным образом используются некоторые источники. Так, при слове *ббѣю* у Р. есть ссылка на уже упомянутую работу Вагил., однако бойковский словарь, содержащийся в ней, не использован.

Вертлю́г.— Возведение этого слова к форме **vertljuge* невозможно, так как получилось бы **верлюг*. Ср. наши замечания к *верло*.

Вир «водоворот».— Возведение праслав. **virъ* к **vir-ti* не является, строго судя, этимологией Махека. Несколько раньше эту связь предполагал, исхо-

дя из морфологических соображений, Курилович.

Ві- (гуд.) «префикс *ви-*».— Об этой форме префикса писалось довольно много, однако в словарной статье не приводится вообще никакая библиография. Стоило упомянуть хотя бы сравнительно недавние работы (например, критический обзор Патруца).

Віда, відати «знать».— Производные здесь оставлены без всякого комментария. Между тем среди них слова разного происхождения: тут и *відьма* (< праслав. **vedьma*) и заимствование из церковнославянского — *свѣсть*.

Відліга, відлігати «оттеть».— Это слово не только украинское. Оно есть и в белорусском (*адліга*). Р. полагает, что в *відліга* корень **lig-*, представляющий собой апофонетический вариант к **lyg-* «легкий и т. д.». Однако корень **lyg-* в славянских языках чередования гласного, как кажется, не обнаруживается, поэтому реконструировать следует **ot(ъ)-lyga* < **ot(ъ)-lyg-npti*: в глагольной форме безударное -ly- переходит в -ли- (*відлігнути*, ударение на корне здесь вторично). Существительное *відліга* отражает глагольную локализм. В других формах возобладало фонетическое е (< ъ), поэтому мы имеем, например, у батюков *відліга*, а также *відлігаа*, *відлігэ*, а в глаголах (не на -лр-) — *відлігчи*, *відлігэо* (о погоде). Существование праславянских глаголов типа **ot(ъ)-lyg-npti*, **ot(ъ)-lyg-iti* подтверждается, кроме восточнославянских форм, чеш. *odlehnutí*, серб. *odlaknutи*.

Віта, вітка, віть «ветка».— Трудно разобраться, что здесь Р. считает архаизмом. Ни одно из этих слов таковым не является. *Віть* известно как бойковское название (см. Вагил.), а *віта*, *вітка* отмечены у батюков со значением «метелка (у проса)», см. Верхр., Бат.

Віщо: за віщо «за что», *навіщо* «зачем» и т. д.— Видимо, это не исключительно украинское слово. Есть и белорусское *навішта* «зачем», которое показывает, что этимология Р. (*віщо* < *вістичо*), может быть, не имеет оснований: данные слова возводятся к *(*az-*, *na-*) *evъchъto*, откуда — *віщо* с секундарным і.

Власний «собственный».— Вопреки Р. *власний* не имеет прямого отношения к *власть* (< церк.-слав.), а заимствовано из польск. *własny* (< чеш.).

Вовту́зитися «возиться».— Это не только украинское слово. В русских ярославских говорах есть *вовтузиться* (с тем же значением).

Вобонь, водба.— Датировка и подробная документация таких слов по памятникам не имеет смысла, так как речь идет о праславянском наследии.

Мы рассмотрели значительное количество (123) словарных статей и теперь можем сделать некоторые обобщения.

Прежде, однако, отметим, что, по нашему мнению, излишними являются в словарных статьях синонимы к главному слову. Для этимологического словаря это чрезвычайно неэкономичная вещь. В отдельных случаях синонимы, конечно, нужны как доказательство правильности этимологизирования. Если, например, сопоставляются названия растений *бартки* со словом *бартка* «топорик» (из-за сходства цветов с лезвием топора), то уместно привести в словарной статье и синонимичное название этого растения — *сокирки*, подтверждающее такую этимологию. Последовательное же приведение синонимов дает только ненужное увеличение объема словаря.

Отнюдь не выступая против присутствия в словарных статьях ономастического материала, мы возражаем только против его введения в словарь в довольно необработанном виде. Например, о приводимых в статьях фамилиях не сообщается никаких данных относительно их географии. Из-за этого чрезвычайно трудно судить о правильности их этимологизирования. Рудницкий упускает из виду, что может иметь место чисто внешнее совпадение между собственными именами и якобы соответствующими им апеллятивами; отсутствует аргументация в пользу выбора того или иного толкования.

Исходные данные в словарной статье нередко оказываются неудовлетворительными. Довольно слабо разработана география слов; пометы типа *Wd.* часто недостаточны; неоследовательно или неполно приводятся диалектные варианты слова; хронологические сведения бывают недостаточными или неточными. Важно указать и на то, что весьма часто в словаре отсутствуют указания на источник того или иного приводимого слова. Это — досадное упущение, так как оно лишает читателя возможности проверить сообщаемое. Кроме того, при нынешнем состоянии собраний украинской диалектной лексики (разбросанность источников и их разнородность) цитация в словарной статье использованных трудов могла бы помочь лучше ориентироваться в географии слов. В связи с этим нельзя не отметить, что в рецензируемой работе весьма неудовлетворительно использованы публикации по украинским диалектам, особенно юго-западным. Поверхностно просмотрены, например, труды В. Гнатюка, часто автор словаря пренебрегает И. Верхратским (не говоря уже о других источниках). Не видно также, чтобы систематически просматривалось и такое важное издание, как бойковский словарь Ю. Кмита. Все это непонятные упущения, так как речь идет не о новейших работах (которые могли быть недоступны автору), а о публикациях, увидевших свет 30—70 лет тому назад. Это тем более удивительно, что Рудницкий

сам много работал в области украинской диалектологии, занимаясь полевыми исследованиями и, следовательно, знает цену диалектным данным.

В разработке словарных статей нередко проявляется недостаточное внимание к одному из важнейших принципов этимологического исследования — истории слова. Это выражается в недооценке диалектных фактов, показаний родственных языков, словом, в упрощении того, что можно назвать этимологической ситуацией. Знание звуковых соответствий никогда не может заменить изучение этимологической ситуации, всех возможных связей исследуемого слова в данном лингвистическом ареале и за пределами его. С сожалением приходится констатировать, что Рудницкий нередко обходит лингвистические проблемы, непосредственно связанные с украинской этимологией: украинско-западославянские, украинско-южнославянские связи, карпатскую (валашскую) проблематику, восточнославянские связи украинского языка (в частности, с русскими говорами). Из невнимания к этимологической ситуации следуют и такие недостатки словаря, как неполная этимологическая разработка заимствованных слов: часто вообще не ставится вопрос о языках-посредниках. Иногда у Рудницкого возникают разногласия со сравнительной грамматикой славянских языков, с исторической грамматикой украинского языка, с украинской диалектологией. Нередко переоценка ударения в заимствованных словах как свидетельства об источнике заимствования. Совсем не разработаны в словарных статьях производные, несмотря на то, что многие из них представляют собой этимологические проблемы и требуют специального рассмотрения.

Отметим, наконец, скудость библиографических справок в словарных статьях. Часто повторяется одна и та же (не всегда наиболее важная) литература. Зато нередко отсутствуют работы, оказавшие большое влияние на этимологические исследования. Весьма поверхностно использован этимологический словарь В. Махека (не говоря уже о других его работах), труды К. Мошинского. Важные для валашской проблематики работы К. Добровольского, С. Лукасика, Д. Крыжалэ и др. вообще, видимо, не учтены автором словаря. Довольно слабо используются румынские издания (если не считать, например словарей Пущк и Чоран.), еще хуже венгерские. Здесь Рудницкий ограничился только некоторыми новыми статьями (в частности, весьма ценными исследованиями Э. Балецкого и Л. Дэже), однако не использовал, например, работы Л. Чопея по венгерским заимствованиям в украинском (новые работы в этой области мы не упоминаем). Во многом бы помог Рудницкому чтение венгерских этимологических

словарей, например, Г. Барци, который, однако, нигде не упоминается (сейчас, кстати говоря, вышел первый том нового венгерского этимологического словаря).

Надеемся, что достаточно большим количеством рассмотренных примеров мы показали обоснованность наших замечаний к рецензируемой книге. Однако, повторим, словарь сослужит свою большую службу для славистики. В первую очередь он, конечно, будет полезен украинистам, так как они смогут взвесить каждый отдельный этимологический случай, анализируемый в словаре Рудницкого.

В заключение пожелаем Я. Б. Рудницкому благополучно завершить свое сложное начинание. Нельзя также не пожелать, чтобы Я. Рудницкий с большим вниманием относился к работам своих предшественников — украинистов и славистов старшего поколения. Без этого немислима вообще успешная работа над этимологическим словарем.

Литература

- Безл.— F. Bezla j, Etimološki slovar slovenskega jezika. Poskusni zvezek, Ljubljana, 1963;
- Беринда — П. Беринда, Лексиконъ славенороссійскій и именъ Тлъкованіе, Київ, 1627;
- Бернар — R. Bernard, Le vocabulaire du dialecte de Razlog, «Балканско езикознание», I, София, 1959;
- Брюкн.— A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków, 1927;
- Вагил.— D. J. Wahylewicz, Wojkowe — lid ruskosłowansky w Haličich, «Casopisj Ceského Museum», ročn. XV, sw. 1, W Praze, 1841;
- Варшав. сл.— «Słownik języka polskiego» pod red. J. Karłowicza, A. Kryńskiego i W. Niedźwiedzkiego, I—VIII, Warszawa, 1900—1927;
- Васил.— В. И. Василенко, Опыт толкового словаря народной технической терминологии по Полтавской губернии, Харьков, 1902;
- Ващ.— В. С. Ващенко, З історії та географії діалектних слів, Харків, 1962;
- Верхр., Бат.— I. Верхратский, Говір батоків, у Львові, 1912;
- Верхр., Гал. лемк.— I. Верхратский, Про говор галицких лемків, у Львові, 1902;
- Верхр., Зам.— I. Верхратский, Про говор зампанців, у Львові, 1894;
- Верхр., ЗнУРІ — I. Верхратский, Знадоби для пізнання угорсько-руських говорів. I. Говори з наголосом движимим, у Львові, 1899;
- Верхр., ЗнУРІІ — I. Верхратский, Знадоби для пізнання угорсько-руських говорів. II. Говори з наголосом сталим, у Львові, 1901;
- Верхр., ЗнЮжн.— I. Верхратский, Знадоби до словаря южноруского, у Львові, 1877;
- Верхр., Марм.— J. Werchratskij, Über die Mundart der Marmaroscher Ruthenen, Stanislaw, 1883;
- Винс.— A. de Vincenz, Les éléments roumains du lexique houtzoule, Paris, 1959;
- Гнат., Бан.— В. Гнатюк, Етнографічні матеріали з Угорської Русі. IV. Казки, легенди, новели, історичні спомини з Банату, «Етнографічний збірник», XXV, у Львові, 1909; Гнат., УР — В. Гнатюк, Етнографічні матеріали з Угорської Русі. II, «Етнографічний збірник», IV, у Львові, 1898;
- Граб.— Штіб.— Z d. Stieber, St. Hrabec, Przewyżki do słownictwa gwar ukraińskich w Karpatach, «Rozprawu Komisji językowej», IV, Łódź, 1956;
- Гринч.— Б. Д. Гринченко, Словарь украинского языка, I—IV, Киев, 1907—1909;
- Дейна — K. Dejna, Gwary ukraińskie Tarnopolszczyzny, Wrocław, 1957;
- Дзендз.— И. О. Дзендзеливський, Спостереження над лексикою українських говірок Нижнього Подністров'я, «Наукові записки Ужгородського університету», XIII, Львів, 1955; ео же, Спостереження над термінологією народної метрології говірок Закарпатської області, там же, XIV, 1955;
- Дмитр.— Н. Р. Дмитриев, Отюркских элементов русского словаря, «Лексикографический сборник», III, М., 1958;
- Желех.— С. Желеховский, С. Недільський, Малорусско-німецький словар, I—II, Львів, 1886;
- Жилко — Ф. Т. Жилко, Нариси з діалектології української мови, 1966;
- Зайонч.— А. Zajączkowski, Studia orientalistyczne z dziejów słownictwa polskiego, Wrocław, 1953;
- ЗНТШ — «Записки Наукового Товариства ім. Т. Шевченка»;
- Исследв. в чест на М. Дринов — «Исследвания в чест на Марин С. Дринов», София, 1960;
- Кипар.— V. Kiparsky, Über die Betonung der russischen Wörter auf -ia, «Die Welt der Slawen», VIII (3), 1963;
- Кмит — Ю. Кмит, Словник бойківського говору (А—К), «Літопис Бойківщини», Самбір, 1934—1939;
- Кобыл.— Б. Кобилянський, Гуцульський гвір і його відношення до говору Покуття, «Український діалектологічний збірник», I, Київ, 1928;
- Крыжж.— D. Crăjălă, Rumunské vlvy v Karpatech, Praha, 1938;
- Курил.— J. Kuryłowicz, L'apophonie en indo-européen, Wrocław, 1956;
- Лукасиқ — S. Łukasik, Pologne et Roumanie, Varsovie — Cracovie, 1938;
- Маков.— S. Makowiecki, Słownik botaniczny łacińsko-mańoruski, Kraków, 1936;

- Манж. — И. И. Манжура, Слова, записанные в Александр., Новомоск. и др. у. Екатериносла. г. (прилож. к его работе «Сказки, пословицы и т. п., записанные в Екатеринославской и Харьковской губ.»), Харьков, 1890;
- Матл. И. — J. Matl, Zur Bezeichnung und Wertung fremder Völker bei den Slaven, «Festschrift für Max Vasmer zum 70. Geburtstag», Berlin, 1956;
- Махек — V. Machek, Etymologický slovník jazyka českého a slovenského, Praha, 1957;
- Махек, Раст. — V. Machek, Gescká a slovenská jména rostlin, Praha, 1954;
- Мельник — М. Мельник, Українська номенклатура вищих рослин, у Львові, 1922;
- Менгес, Сб. Чижевскому — K. H. Menges, Slavo-altajsche Wortforschungen, «Festschrift für D. Cyževskýj zum 60. Geburtstag», Berlin, 1954;
- Мощин. — К. Мосзуйски, Pierwotny zasiąg języka prasłowiańskiego, Wrocław — Kraków, 1957;
- МУРЕ — Матеріали до українсько-руської етнології. I, Львів, 1899 и сл.; Некраш. — стихотворное произведение И. Некратевича «Прозба на пола слободы „Не рушь мене от парафіанъ“» (= «Замысль на пона») XVIII ст.
- Огиенко — И. И. Огиенко, Иноземные элементы в русском языке, Киев, 1915;
- Онышк. — М. О. Онышкевич, Словарь бойковского диалекта (буква Б), «Славянская лексикография и лексикология», М., 1966;
- Пацьк. — I. Пацькевич, Покрайні записи на підкарпатських церковних книгах, «Науковий збірник товариства „Прогрес“», VI, Ужгород, 1929;
- Петров — А. Петров, Угорскорусские заговоры и заклинания начала XVIII в., «Живая Старина», 1891, IV;
- Писк. — Ф. Пискунов, Словарь живого народного, письменного и актового языка русских южан Российской и Австро-Венгерской империи, изд. второе, испр. и пополн., Киев, 1875;
- Попович — И. Попович, «Лужнославянски филолог», 19, 1951—1952;
- Пушк. — S. Puşcariu, Etymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache. I. Lateinisches Element, Heidelberg, 1905;
- Пэтруц — I. Pătruţ, Fonetica graiului huful din valea Sucevei, Bucureşti, 1957;
- Рихардт — R. Richhardt, Polnische Lehnwörter im Ukrainischen, Wiesbaden, 1957;
- Рогович — А. С. Рогович, Опыт словаря народных названий растений Юго-западной России, с некоторыми поверьями и рассказами о них, «Записки Юго-западного отдела имп. Русского географического общества», I (1873), Киев, 1874;
- Розвад. — J. Rozadowski, Studia nad nazwami wód słowiańskich — Kraków, 1948;
- SbBrn. — «Sborník prací filosofické fakulty Brněnské university», Rada jazykovědná (A);
- Срок — P. Skok, Serbokroatische Lehnwörter, AfslPh, 31 (1—2), 1909;
- Slavica — «Slavica. Annales Instituti philologiae slavicae universitatis Debreceniensis de Ludovico Kossuth nominatae», I, 1961 и сл.;
- StSlavica — «Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae», I, Budapest, 1955 и сл.;
- Тамаш — L. Tamás, Etymologisch-historisches Wörterbuch der ungarischen Elemente im Rumänischen, Budapest, 1966;
- Тарн. — J. Tarnacki, Studia porównawcze nad geografją wyrazów (Polesie — Mazowsze), Warszawa, 1939;
- Тимч. — Е. Тимченко, Историчний словник українського языка, I (А—Ж), Харків—Київ, 1930;
- Фасм. — M. Vasmer, Russisches etymologisches Wörterbuch, Heidelberg, 1950—1958;
- Фасм., Сб. Чижевскому — M. Vasmer, Bezeichnungen fremder Länder im Russischen, «Festschrift für D. Cyževskýj zum 60. Geburtstag», Berlin, 1954;
- Франко — I. Франко, Галицькоруські народні приповідки, Вип. I (А—Відати), «Етнографічний збірник», X, у Львові, 1901;
- Чопей — J. Чопей, Русько-мадярський словарь, у Будапешті, 1883;
- Чоран. — Al. Cioganescu, Diccionario etimológico rumano, Tenerife, Universidad de La Laguna, 1958—1966;
- Шев. — G. Y. Shevelov, A prehistory of Slavic. The historical phonology of Common Slavic, Heidelberg, 1964;
- Шейк. — К. Шейковский, Опыт южнорусского словаря. I: А—З, вып. 1: А—Б, Киев, 1861;
- Шелуд. — D. Scheludko, Rumänische Elemente im Ukrainischen, «Balkan-Archiv», II, Leipzig, 1926;
- Шустер-Шевц. — H. Schuster-Sewc, в сб. «Славянская филология. I. Отговоры на вьпросите за научната анкета по езикознание», София, 1963. С идей праславянских архаизмов X. Шустер-Шевц выступал и в других изданиях;
- Шух. — В. Шухевич, Гуцульщина, I—V, у Львові, 1899—1908;
- Яворн. — Д. I. Яворницький, Словник української мови. I (А—К), Катеринослав, 1920;
- Янов — J. Janów, Gwara majoruska Moszkowiec i Siwki Naddniestrzańskiej z uwzględnieniem wsi okolicznych, we Lwowie, 1926.

Р. В. Кравчук

Chr. S. Stang. Vergleichende Grammatik der Baltischen Sprachen. — Oslo — Bergen — Tromsø, Universitetsforlaget, 1966. Сrp. V+484+1.

Первая сравнительная грамматика балтийских языков была составлена Я. Эндзелеином. Издана под заглавием «Эвзюки и формы балтийских языков»¹, она содержала также краткий обзор словообразовательных суффиксов. Книга Эндзелеина — это учебник, в котором с подразделением на параграфы, в систематическом и доступном изложении представлены все существенные факты и достижения в области сравнительно-исторического изучения балтийских языков, в особенности же латышского и прусского. Будучи результатом многолетних исследований автора, эта книга является ценным вкладом и в сравнительную грамматику индоевропейских языков вообще.

Хр. Станг предпослал своей «Сравнительной грамматике балтийских языков» предисловие, в котором разъясняет ее задачи. Книга должна была быть более «объемистой», чем учебник Эндзелеина. Однако содержание ее оказалось беднее: в ней нет раздела, посвященного словообразованию. Есть и другое важное различие. В противоположность Эндзелеину, который ограничился по большей части общепризнанными толкованиями фактов и явлений, Станг излагает также собственные трактовки; по его словам, «книга, содержащая лишь твердо установленные данные, оказалась бы для исследователей ненужной».

Станг не имел намерения составить учебник. В его книге нет указателя слов и форм, нет надлежащим образом составленного списка тех трудов, которым мы обязаны своими сведениями по балтийским языкам и с которыми он рекомендовал бы познакомиться своим читателям. «Сравнительная грамматика» предназначена для специалистов по балтистике, отчасти же и для индоевропеистов. Сообразно с этим автор придал отдельным главам своего труда форму журнальных статей, что, понятно, окончательно лишило его «Сравнительную грамматику» характера университетского учебника.

Оценивая «Сравнительную грамматику балтийских языков» Станга в целом, можно сказать, что она будет служить полезной справочной книгой. Языковеды, исследующие балтийские языки, в особенности же литовский (которому автор уделяет особое внимание), найдут в ней много упорядоченных материалов и ценных замечаний по отдельным вопросам, прежде всего критическим. Вместе с тем в книге не дается окончательного решения того или иного сложного вопроса, даже если ему посвящен большой раздел («Balt. ai — ei» занимают, например, стр. 52—68).

Приходится при этом сожалеть, что славянские языки играют в книге Станга очень незначительную роль.

Балтийские языки представляют собой особую группу индоевропейских языков, обнаруживающую из ряда выходящее сходство со славянской. Вопрос о возникновении этого сходства, так же как и о имеющихся различиях, до сих пор не приведен в ясность. Станг рассматривает его во «Введении». Ожидать исчерпывающего ответа на него нельзя уже a priori хотя бы потому, что автор сознательно ограничивает свою задачу, устранив из поля зрения два раздела: словообразование и синтаксис. «Введение» является своего рода кратким резюме всей «Сравнительной грамматики», заключающей в себе только два раздела — фонетику («Lautehre») и флексию («Die Nominalflexion» и «Das Verbum»). По этой причине в нижеследующих замечаниях я ограничусь критическим рассмотрением одного только «Введения».

*

Среди отличительных черт балтийских языков в книге называется прежде всего употребление одной глагольной формы 3-го лица для всех трех чисел; по происхождению это форма единственного числа. С первого взгляда здесь какое-то трудно постижимое нововведение. В действительности дело представляется проще. В общиндоевропейском языке очень большую роль играла, как уже давно указывалось, собирательная форма существительных, которая в древнейшую эпоху сочеталась со сказуемым в единственном числе. В славяно-балтийской языковой группе это явление сохранялось очень долго; во всяком случае в период совместной жизни славян и балтов оно было еще вполне жизнеспособно. Но и после распада единства собирательная форма и присущая ей конструкция не исчезли бесследно. В славянских языках в древнейший период их развития собирательная форма была еще в такой степени употребительна, что несмотря на наличие унаследованного единственного числа понадобились особые сингулятивные образования, которые противопоставляли бы единичный предмет группе подобных, т. е. коллективу. Славянские сингулятивы обладают суффиксами *-inъ*; *-ькь*, *-ькь*, *-ьскь*, *-ьскь*. Приведу несколько сопоставлений, во с тем замечанием, что в них собирательное образование заменяется иногда формой множественного числа:

Ст.-слав. *ljudinъ*, русск. (просто)-людин; слав. **ljudъ*, русск. люд, польск. *lud*; ст.-слав. *ljudьje*, форма множественного числа в функции собирательного, *ῥαῖς*, *ὄχλος*?

¹ J. Endzelīns, *Baltu valodu skaņas un formas*, Rīgā, 1948.

Русск. лит(ь)вин(ь), польск. *Litwin* : *Lit(ć)wa, Litwa*.

Русск. полянин(ь), польск. *Polanin* : *polanie*, форма, образованная непосредственно от **polja*, названия и пространства, края и населявшего его племени; от **polja* образовано и название *Polak*.

Польск. *ziemiańin* «терригена; земле-владелец»; *ziemiańic*; старое *ziemek*, более позднее *ziotek* и русск. *земляк* являясь образованиями того же типа, что польск. *Polak*.

Укр. *Русин*, польск. *Rusin*; ст.-польск. *Rusiec*, диалектн. *Rusek* : *Русь, Rus*.

Ст.-русск. *боляре* : *боляре (боляре)* и т. д. Следует еще заметить, что сингулятивы первоначально резко отличались по значению от соответственных форм единственного числа и ни в коем случае не смешивались с ними; это стало возможным лишь впоследствии, в период самостоятельной жизни славянских языков. С течением времени некоторые сингулятивы отчасти исчезли, отчасти же выступили с новым значением. В старопольском языке слово *śledź* «сельдь» употреблялось и в собирательном значении. Образованный от него сингулятив *ślodek* уже давно вышел из употребления. В современном литературном языке в собирательной функции употребляется форма множественного числа *śledzie*, наряду с которой вошел в употребление новый сингулятив *śledzik* (одновременно уменьшительное). И русск. *сельдька* следует считать закономерным сингулятивом, образованным от *сельдь* или *сельди* (в собирательном значении).

Другой пример. В польском языке при собирательном в форме множественного числа *kości* вошел в употребление сингулятив *kostka*. При поддержке уменьшительного в той же форме он, правда, сохранился, но его употребление было ограничено: в настоящее время *kostka* значит «игральная кость», а в старом языке и в диалектах «твердое ядро плода, косточка»; в отличие от него уменьшительное получило добавочный суффикс *-(y)ka* : *kosteczka* (: русск. *косточка* «твердое ядро плода»).

Сингулятивы имелись, конечно, и в балтийских языках (на что Станг не обращает внимания). Ограничимся здесь указанием на слова сингулятивного происхождения с суффиксами *-lis, -las; -lė*: литов. *mėnuolis* : *mėnuo* «месяц»; диалектн. *širšuolis*, литерат. *širšuolas* : *širšuo* «щершень»; *musėlė* «большая муха» : *musė* «муха». Сингулятивный суффикс с согласным *l* был и в славянских языках; он сохранился, например, в слове, обозначающем «воробей» : литов. *žvirblis*, латыш. *zvirbulis* : польск. *wróbel*, словен. *vrbelj*, род. п. *vrbělja* из **vorb(ě)lŷ* при русск. *воробей* из **vorbŷ* /*ŷ*.

Итак, балтийская особенность, состоящая в том, что глагол имеет в наличии лишь одну форму 3-го лица (ед. ч.), отнюдь не противопоставляет балтийских языков славянским. Возникновение этой особенности находится в связи с весьма большой ролью, которую в балтийских языках играло некогда «собрательное» имя существительное (его индоевропейская форма на *-(i)ā-* превратилась впоследствии в форму им. мн. на *-āi*). В славянских языках то же собирательное породило сингулятивные образования. Иначе говоря, единая форма 3-го лица для всех трех чисел в балтийских языках и продуктивный славянский сингулятив — это два разных порождения одной и той же славяно-балтийской грамматической категории, бывшей достоянием сначала индоевропейского, а затем и славяно-балтийского языкового коллектива.

В списке отличительных черт балтийских языков находим на стр. 3 и «тенденцию к добавлению *k* перед сочетанием согласных, начинающимся согласным *s* : литов. *rįkštė*, латыш. *rīkste* при прусск. *riste* «прут, розга»; литов. *krikštuti*, прусск. *cziłtwei* «крестить», *Christus* II². Явлению этому автор посвятил в «Грамматике» особую статью (стр. 108—113), но представил его, несмотря на то, что располагал большим количеством примеров, неудовлетворительно. Добавление *k* встречается только внутри слова и только в определенных условиях. Оно никогда не наблюдается, когда за свистящим или шипящим спирантом следует *k* (*g*): ср. литов. *viskas* «все», *miskas* «лес». Добавлению *k* способствовало главным образом обилие слов с сочетанием типа *kšt*, получившимся из труднопроизносимых сочетаний типа *skt*. Ни в славянских, ни в балтийских языках эти сочетания не утрачивали согласного *k*. Славяне сочетание *sk* превращали в *ch*: польск. *plachta* «полотнище» из **plask-ta*, русск. диалектн. *плашья* «плоской стороной» из **plach-ym*; ср. польск. *plaski* (: русск. *плоский*). Балты произношение *sk*, *zg* облегчали путем перестановки *ks, gz*: литов. 3-е лицо настоящего времени *mėzga* : *mėgzti* «завязывать; вязать»; *rėiškia* : *rėikšti* «значить; означать; иметь значение». Сочетания типа *kst* в балтийских языках столь обычны, что они встречаются иногда и вместо этимологического *kt*: литов. *minkštas*, латыш. *mīksts* «мягкий»; литов. *minkyti* «мять; месить; замешивать» = латыш. *micīt*; литов. *aukštas*, латыш. *augsts* «высокий» : литов. *augti*, латыш. *augt* «расти».

На фоне такого распространения сочетаний типа *kst* понятным становится добавление согласного *k, g* в положении

² См.: R. Trautmann, Die alt-preussischen Sprachdenkmäler, Göttingen, 1910, стр. 316.

перед сочетаниями *s, z* + согласный [*v, l, n*, но главным образом *t(d)*]: литов. *krikštyti*, прусск. *crizitiwei* (при латыш. *kristīti*): ст.-русск. *крѣстити*; литов. *pėkščias* наряду с *pėščias* «пешный», *pėstomis* «пешком»; литов. *žvaigždė* при диалект. *žvaizdė* «звезда» (в Zietela, белорусск. Дзятлава), ст.-слав. *zvězda*; литов. *beįgždžias* «бесплодный; яловый; тщетный»; *beįgžti, beįgždžia* «яловеть; тратить, расточать» при диалект. *beįzdžias, beįžti* являются, по всей вероятности, звонкой разновидностью слав. **porzd-(v)ъ* в ст.-слав. *prazdyňь, prazny* «пустой; бесплодный; праздный». Согласный *k(g)* добавлялся, таким образом, внутри слова, и, по-видимому, в связи с делением слова на слоги. В этом положении *s* сочетаний типа *st* произносилось, по всей вероятности, в качестве геминаты (а с течением времени даже аффрикаты *tsʔ*).

В области словообразования характерной особенностью балтийских языков является, по мнению Станга, особый тип отглагольных существительных, ср.: латыш. *iešana* «ходьба, хождение»: *iet* «идти; ходить», литов. *eisenà* «походка»: *eiti* «идти; ходить»; прусск. *bousennis* «Wesen, Stand»: *būton* «быть»; латыш. *lūgsna* «просьба; молитва»: *lūgt* «просить; молить»; прусск. *bīānsap* (твор. ед.) «боязнь»: *bīānēi* «боятся». В действительности эти образования ведут свое начало из общего славяно-балтийского языка. В славянских языках им соответствуют отглагольные существительные на *-snъ*: ст.-слав. *pěsnъ*, польск. *pieśń*: ст.-слав. *pěti*. Ждет своего истока происхождения этого видоизменяющегося суффикса, но это уже особый вопрос.

Нельзя считать отличительной особенностью балтийских языков и наличие суффикса *-ānas* в словах типа литов. *pėrkānas*, латыш. диалект. *pėrkāns*, прусск. *perkunis* «гром», как утверждает Станг. Данный суффикс был в употреблении и в славянских языках. В качестве пережитка он сохранился, между прочим, в слове **voldy-ka*: ст.-слав. *vладыka* «властелин», ст.-польск. *włodyka* «дворянин (но не землевладелец)» из **woldū-n-*, на что указывает прусск. *waldūns* «наследник». В славянских языках имеются слова, в которых суффиксы *-unъ* и *-unъ* могут заменять друг друга; см. польск. *piotun*, русск. *пейный*: польск. *piotun*. Пруссам и литовцам было известно, что их суффикс *-ānas* имеет ту же функцию, что и слав. *-unъ*, вследствие чего польск. *tyln* «мельница» передавалось словами: прусск. *malunis*, литов. *maĩūnas*. Впрочем и в балтийских языках суффикс *-ānas* заменялся его разновидностью *-aunas*: *-uonas*: латыш. диалект. *pėrkāunis, pėrkuons*, литерат. *pėrkons*. Нисходящая (острая) интонация ударяемого *ā* в литов. *pėrkānas* имеет экспрес-

сивный характер. Та же интонация свойственна и глаголам в значении «гремять»: литов. *griāusti, griāudžia; dundėti, dunda*.

Несостоятельно также утверждение Станга, что к числу отличительных особенностей балтийских языков принадлежат уменьшительные на *-utis*. Соответствующий ему славянский суффикс *-ъть* сохранился, например, в словах: русск. *ноготь* и *коготь* (ср. ст.-слав. *raz-negъть* «коготь»); польск. *poleć* «один из двух бочков мяса, сала» из **polъть*, ст.-слав. *polъ* «половина»; польск. *pypecь* «питuit» и т. д. Верно, однако, то, что суффикс *-ъть* утратил свою жизнеспособность в ходе развития славянских языков.

В славянских языках сохранились также остатки образований с суффиксом *-(v)l-*, соответствующим балтийскому *-ulis*: суффикс *-al-jo-* имеется в сокращенных формах сложных личных имен; ср. ст.-польск. *Bogel* из **bog-ъль*: польск. *Bogo-, Bogumil*. Сюда принадлежит и упомянутое выше славянское название воробья: польск. *wróbel* из **worb-(v)l'ъ*. Как это ни странно, по ни балтийские филологи (как, например, Станг), ни славянские (как, например, Ташицкий) не обратили внимания на это замечательное соответствие.

На стр. 4 и сл. автор сопоставляет прусские сложные личные имена с соответствующими литовскими. В его списке находим прусск. *Wisse-bar*, литов. *Visbaras*, однако там отсутствует ст.-польск. *Wsze-bor*.

Станг говорит, что литов. *neklāužada* «тот, кто не слушается» является сложным словом типа греч. *ἀκούε-χαλός* и произошло из первоначальной формы *(*ne*)*klaus(i)žad-*. В действительности данное слово нуждается в более подробном разборе. В древних текстах имеется и его разновидность без отрицания со значением «послушание, повиновение» (*nomen actionis*). Со значением *nomen agentis* это слово появилось сначала, кажется, в своей отрицательной форме *neklāužada*, которую находим уже у Даукши, Post. 264₁₅ («nieposlušni»). По внешнему виду *klāužada* из **klaus-i-žada* напоминает сложное слово *aki-žada* «кто говорит в глаза (не стесняясь, например)», но не соответствует ему полностью. Член **klaus-i-* является формой глагола *klausyti, klauso* «слушаться», а *-žada* — отглагольным существительным со значением «речь» (и находится в родстве с *žadėti, žada* «обещать», первоначально «говорить»). По характеру образования **ne-klaus-i-žada* напоминает славянские сложные слова типа польск. *maci-woda* «кто мучит воду», *Maci-mir* «Возмутитель мира, сложояствия». В отличие от *klāužada* сложное слово *aki-žada* заключает в себе член *-žada* в значении действующего лица.

На стр. 6 Станг приводит славянские сложные имена, в которых первый именной член заканчивается не ожидаемым -о, но гласным -i (-i). В его список некоторые имена попали, однако, ошибочно. Член *brati-* в *Brati-mirь* следует сопоставлять не с *bratъ*, а с собирательным *bratъja*. Член *ljudi-* в *Ljudi-mirь* происходит от *ljudъ* (а *Ljudo-mirь* от *ljudъ*; польск. *lud*). Член *bozi-* в *Bozi-darъ* является формой основы прилагательного *božъjъ* (а не существительного *boгъ*); ср. польск. *Boży-stopka*.

На стр. 7 и сл. книги Станга находим перечень слов, известных только балтийским языкам. Большинство этих слов все еще напрасно ждет объяснения. Можно сказать, что это перечень балтийских слов без этимологии. Ниже попытаемся объяснить некоторые из них.

Корень слов литов. *gimti* и латыш. *dzimt* «родиться, рождаться» не имеет ничего общего с индоевропейским корнем *g^hem- в гот. *qiman* «притти», который здесь принимает Станг, следуя многим другим исследователям. Этот корень принадлежит, по-видимому, к числу тех, которые могли иметь то непаладальное g, то паладальное g'. Первоначальная форма этого корня была *gemen или *g'emen-, причем сочетание -men- появлялось и в двух сокращенных формах, -m- или -n-: литов. *gimin-ē* «родня, родственник», литов. *gimti*, латыш. *dzimt*; сокращенную форму с -n- находим, например, в лат. *genō* или *gignō*, -ere «родить, рождать» и греч. τίκνωμαι «родиться, рождаться», далее в литов. *žentas* «зять» и ст.-слав. *zety* при греч. τῆρβρός «зять» = *τῆρβ-ρος.

Приводя балтийские слова, обозначающие лебедя, а именно литов. *gulbė* (но в литературном языке *gulbė*), латыш. *gulbis* и прусск. *gulbis*, автор не упоминает, что в славянских языках сохранилось то же слово, но только в глухой разовидности, а именно **kulprjo-*: луж. *kołp*, кашуб. *kēlp* «лебедь»; ср. также русск. *колкич* «род птицы из породы цапель»³. Сходным образом различаются русск. диалектн. *гракатъ*, *грач* и *каркнуть*; слав. **ga-vornъ* в польск. *gawron* «Corvus frugilegus»; литов. *kā-varnis* «грач». Приведенные в том же списке литов. *tolūš* и латыш. *tāls* «далекий», прусск. наречие сравнительной степени *tālis* «дальше» образованы от морфемы **tā-l-*, которая является глухой разовидностью слав. **dā-l-* в ст.-слав. *въ dālje*, *dal'ъnjъ*, *daleče*; русск. *с-даль*, *дальный*, *далекый* и т. д. В общем языке славян и балтов были в употреблении, по-видимому, по две формы некоторых слов, различаемые по оттенку значения,—

глухая и звонкая, но после распада первоначального единства каждая из двух языковых групп обобщила одну из этих форм.

В списке слов, находящихся лишь в балтийских языках, находим и литов. *mėdis* «дерево», латыш. *mēš* «лес», прусск. *median* «лес». Как известно, балт. **medja-* в этимологическом отношении тождественно со слав. **medjā* «межа, граница, линия раздела между двумя участками земли или территориями» в русск. *межа*, польск. *miedza* и т. д. Исходное значение этих балтийских и славянских слов было «находящийся в середине», на что указывают ст.-инд. *madhya-*, лат. *medius*, гот. *midjis* и т. д. Станг противопоставляет балтийские слова славянским, по-видимому, по причине их различных значений. Но семасиологический момент лишен в данном случае доказательной силы. Значение балтийских слов отражает, несомненно, позднейшую ступень развития, а его возникновение является вполне понятным. Ведь в ту отдаленную эпоху, которую мы здесь должны иметь в виду, границы были лишь естественные: служили ими реки, горы и лесные массивы, в особенности на занятых балтами пространствах, которые изобиловали лесами. Впрочем значение «лес» не чуждо и славянам: серб.-хорв. *měda* «граница; заросль кустов», словен. *měja* «граница; кустарник, низкий лес, гай».

Балтийское название мыши: литов. *pešė* и латыш. *pele* Станг называет исключительно балтийским новообразованием и усматривает в нем тот же корень, что и в ст.-инд. *palita-* и греч. *πῶλις* (не *πῶλιος*!) «серый». Но балтийское слово следует сопоставлять прежде всего с греч. *πέλεκυς* «дикий голубь», первоначально «лесная птица». Кстати сказать, прусск. мн. ч. *peles* не значит «мышь», но «мышца, мускул, Armmskel». («Das Elbinger Deutsch-Preussische Vokabular», 111, где оно приведено среди названий других частей тела).

Литов. *petšys*, мн. ч. *pešiai* «плечо» и прусск. *pettis* «Schulterblatt», *pette* «Schulter» Станг сравнивает не со ст.-слав. *plešte*, дв. ч. *plešit*, ст.-польск. *plece*, дв. ч., *plecy*, а с авест. *padana-* «широкий», греч. *πετάσσειν* «расширять». Однако балт. **petja-* и слав. **pletje-* по образованию полностью соответствуют. Это совпадение в данном случае весьма важно, во всяком случае важнее, чем незначительное различие в корне. Отношение между балтийской и славянской основами равно отношению между глаголами греч. *πετάσσειν* и литов. *pěstii*, *piššia*, *plētē* «расширять, распространять». Глагол этот был и в общеславянском языке, его остатком является форма корня в слове **pletje-* (с л).

Литов. *sliėkas*, латыш. *sliėka* и прусск.

³ См.: А. П. Непокуйный, Лингво- и зоогеографические замечания к взаимосвязи балт. *gulbis* и слав. *kъlpъ*, «Baltistica», II (1), 1966.

slayx «дождевой червь» также считаются Стангом особенностью балтийского словарного состава. Такого слова нет ни в одном индоевропейском языке, его следует считать балтийским неологизмом. В родстве с ним состоит польск. *ślimak* «улитка, слизень», греч. *λεϊμαῖ*, лат. *līmāx* из **slaimk-o*. Все это образования от корня **slai-* «быть слизистым, содержать слизь», который распространялся суффиксом *-men-* в двух сокращенных формах: *-m-* и *-n-*⁴. Образование **slaim-ā-* получало еще распространитель *-k-*, отсюда **slaim-ā-k-*; ср. также ср.-в.-нем. *slīm*, нем. *Schleim*. Ст.-слав. *slina* и польск. *ślina* из **slaim-nā* представляют собой образование с суффиксом *-(me)n-*. Литов. *sliekas* и латыш. *slieka* доказывают, что суффикс *-men-* мог отсутствовать. В общем языке славян и балтов были в употреблении слова и с одним только суффиксом *-k-*. Балты обобщили это последнее образование.

По мнению Станга, литов. *turėti*, латыш. *turēt* и прусск. *turī* «иметь, держать»: литов. *tverti* «хватать» лишь кажутся родственными ст.-слав. *tvoriti*. От внимания Станга ускользнул тот факт, что *tvoriti* — слово производное, оно образовано от сохранившегося в старославянском языке существительного *tvorъ*. Именно это существительное выступает и в литовском языке: *āp-tvaras* «ограда; загон», *prie-tvaras* «запор», *ūž-tvara* «заграждение, заграда; загородка». Что касается литов. *-tvaras*, то никто не высказывал сомнений в том, что оно состоит в родстве с приведенными выше глаголом *tverti*, *tvertia*, *tverē*, одним из значений которого было «огораживать, ставить забор».

Равнодушное отношение к словообразованию наблюдается в книге и в других случаях. Как специально балтийское значит в списке литов. *balsas* «голос». Этого слова в славянских языках, действительно, нет, но есть слово, равное ему по образованию и значению: **gol-ъ* в ст.-слав. *glasъ*, русск. *голос*. Корень **bal-* литовского *balsas* имеется и в славянских языках, ср. русск. *балакать* (с «просторечным» сочетанием *ала* вместо *оло*) из **bol-kā*. Корень слав. **gol-ъ* тот же, что, например, в русск. *гоголь* из **gol(l)-gol-*. Итак, литов. *balsas* и слав. **gol-ъ* отличаются один от другого, правда, относительно корня, который являлся в двух разновидностях, **bal-* и **gol-*, но они тождественны по образованию и значению. Тождество суффиксов в **bal-sas* и **gol-ъ* не менее важно, чем различие относительно корня. Впрочем к словообразованию равнодушны чуть ли не все авторы этимологи-

ческих словарей; например, в «Русском этимологическом словаре» Фасмера словообразование не играет почти никакой роли.

В книге Станга довольно подробно рассматривается судьба индоевропейского *s* в литовском языке. Этот вопрос освещается во «Введении» (стр. 14 и сл.), а также при дальнейшем изложении (стр. 94 и сл.). Здесь я пользуюсь случаем, чтобы ответить Хр. Стангу на некоторые возражения, которые он высказывает по поводу моей гипотезы⁵. На первый взгляд, и.-е. *s* в балтийских языках сохраняется без изменений. Исключение составляет в этом отношении, однако, литовский язык, так как в нем в положении после *i*, *u*, *r*, *k* на месте и.-е. *s* находим не только *š*, но и *š*. Как объяснить этот факт? Поскольку в положении после названных звуков и.-е. *s* не осталось без изменений ни в языках арийских (индо-иранских), где оно превратилось в *ś*, ни в славянских, где оно, представлено согласным *ch*, правомерно предположить, что и.-е. *s* должно было измениться и в балтийских языках, а именно в *š*. Отсюда следует, что имеющееся в балтийских языках *s* из и.-е. *s* после *i*, *u* (*r*, *k*) получилось из более древнего *š*, которое можно считать проявлением субстрата. Исключительное положение литовского языка состоит в том, что его *š* из и.-е. *s* в некоторых случаях не подверглось изменению в *š*, сохранившись в качестве архаизма.

Шипящее *š* наблюдается прежде всего в положении после *k*: *lūkštas* «шелуха» при польск. *luskā*, русск. *лузга*. В литовском языке сочетание *kšt* настолько привычно, что оно появляется неожиданно и в поздно заимствованном *kriškštyti* из ст.-русск. *крьштити*. В противоположность шипящему *š* свистящее *š* выражало, кажется, пренебрежительный оттенок значения, и потому находим *s*, например, в *vikšvā* «ососка» или в *kriukšėiti* «хрюкать». Таким образом, согласные *k* и *r*, которые в эпоху симбиоза восточноиндоевропейских языков вызвали превращение следующего *s* в *š*, действовали и в позднейшую эпоху, предотвращая обратный процесс изменения *š* в *s*.

В положении между *i*, *u* и гласным получившийся из *s* согласный *š* обычным образом изменялся в *s*: *liesas* «худой, тощий, худощавый» из **leisas*; польск. *lichy* «плохой»; *bluś*: слав. **blъcha* в рус-

⁴ См.: J. Otrębski, Lat. *autumnus* und griech. *ἐκατοβός*, «Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung», 81 (1967).

⁵ См.: Я. С. Отрѣмбский, Славяно-балтийское языковое единство, ВЯ, 1954, 5, стр. 32 и сл.

ск. *bloza* (с о из род. мн. *blaz*) и т. д. Этому именованию не подвергалось, однако, *s'* палатальное, возникшее из сочетания *sj*, на что указывают латышский и славянский языки, где сочетанию *sj* соответствует обычно *š*, *š*. Станг утверждает, что этой гипотезе противоречит слово *mūsē* «муха». Но прежняя форма этого слова была, несомненно, **muš'ē* из собирательной формы **muš'ā* < **muš-jā*; ср. литов. диалект. *mušā* = латыш. *muša* (1). Наряду с **muš'ē* были в употреблении архаические уменьшительные, образованные от исходного слова с основой на *-ā*, ср. слав. *muša* из **mouš-ā*. Эти формы, употребляемые весьма часто (как и современные *mušlē*, *mušikē*, *mušytē*), передали свое *s* и образованию *mūsē* и *mušā*.

Подобным образом позволительно гадать и другие «исключения», например, приведенное Стангом слово *līšē* «грядя, грядка». Исходной была для этого слова форма **līšā*, с основой на *-ā*; об этом свидетельствуют: прусск. *lyso* «Gartenbeet» V. 242, ст.-слав. *lěcha* «борозда; грядя» из **loisā*, лат. *lira* «борозда». Наряду с **līšā* были в наличии собирательные образования на *-jā* и *-jū*: *līšja* встречается до сих пор в диалектах литовского языка; *līšjē* получило из преобразования формы **lysa* под влиянием *līšē*. Итак, в *līšē* вместо ожидаемой формы **līš'ē* из **līš'jā* согласный *s* может быть аналогического происхождения; возможен, конечно, и обратный процесс: *līšē* сохранило *s* начальной формы **lysa*, несмотря на заимствованное *-ē* (в **līšē*).

Есть и обратные «исключения», с *š* вместо предполагаемого по моей гипотезе *s*. Таково слово *maišas* «мешок»: ст.-слав. *měchъ* «снятая с животного кожа; сделанный из кожи мешок», ст.-инд. *meśā-h* «баран». При этом Станг упускает из виду наличие родственного, весьма употребительного *māišē* в увеличительном значении «большой мешок». Этому первоначальному собирательному образованию обязано своим *š* слово *maišas*. В отличие от этого отпавшего слова производное *māišē* имеет нисходящий акцент на дифтонге *ai* — он подчеркивает увеличительное значение собирательной формы.

Не составляет исключения и *aišrā* «заря, рассвет». Его *š* по происхождению тот же звук, что в глаголе *aišti*, *aišta*, *aišo* «светать» и таким образом происходит из индоевропейского сочетания *sk'*, как в ст.-инд. *ischāti* «светит» и авест. *usaiti* «светает»; ср. также хет. *uški(z)ti* «sieht». Из сказанного следует, что литов. *aišrā* относительно корня не совпадает с лат. *aurōra*, где первое, корневое *r* получило из *s* (z). Тождество корня *aiš-*

в *aišrā* и *aišti* предполагалось индоевропейцами уже много времени тому назад. В некоторых диалектах имеется неясная форма *austrā*; ср. ст.-польск. *justzenka*.

Литов. *rišti*, *riša*, *rišo* «вязать» можно сопоставить с литов. *rigiti*, *rigiti*, *rįga*, *rigo* «чутаться, переплетаться (о нитях)». Корень последнего слова является звонкой разновидностью корня **risk-* или **risk-*, содержащегося в *rišti*. Ст.-слав. *rěšiti*, русск. *pešumъ* образовано от корня **rěch-* из **roisk-* с дифтонгом *oi*, тождественным с *ai* в литов. мн. ч. *raizgai* «силки». Литов. *rišti* и слав. *rěšiti* сопоставлялись уже не раз; это одно и то же слово с двумя противоположными значениями.

Что касается литов. *riešas* (*riešutas*) «орех», то его корень **raiš-* из **roisk-* можно считать вариантом корня **loisk-* в славянском слове **lěška*: русск. *лещина* «орешник», чеш. *liška*, словац. *lieska* и т. д. Сопоставление это может служить одним из многих примеров на чередование *r:l* в индоевропейских языках.

Литов. *krušā* и латыш. *krusa* «град» нуждается в подробном рассмотрении. Ограничусь здесь лишь замечанием, что это разновидность ожидаемой формы **kruska*, образованной от корня **krū-* в латыш. *kruveši* мн. «замерзшая земля» при помощи распространителя **-sk-ā*. Своим образованием предполагаемое балтийское **kruska* напоминает литов. *druskā* «соль» и латыш. *druska* «кроха, крошка», образованное от корня **d(h)reu-* в литов. *drevē* «душо, борт» и латыш. *drava* «пачека, пчельник». В результате чередования *sk/sk'* наше слово получило *sk' >* литов. *š*.

Окончательное решение вопроса о судьбе и.-е. *s* в балтийских языках, в особенности же в литовском, будет возможно лишь тогда, когда соответствующий материал будет проанализирован в морфологическом и этимологическом отношении и будет по возможности определен хронологически⁶.

Главной целью этих критических замечаний о полезной книге Хр. Станга «Сравнительная грамматика балтийских языков» было обсуждение некоторых трудных вопросов славяно-балтийского языкознания.

Я. С. Отрембский

⁶ Уже по одной этой причине опубликованные в журнале «Baltistica» две статьи на эту тему [С. Каралюнас, К вопросу об и.-е. **s* после *i, u* в литовском языке, I (2), 1966; Е. Р. Намр, On the **s* after *i, u* in Baltic, III (1), 1967] являются преждевременными. Они страдают и другими недостатками.

Z. Zinkevičius. Lietuvių dialektologija. Lyginamoji tarmių fonetika ir morfologija (su 75 žemėlapiais). — Vilnius, 1966. 542 стр.

До сих пор литовская диалектология в основном опиралась на монографические исследования отдельных говоров или их групп. Известны также и более ранние труды обобщающего характера. Среди них следует выделить книгу А. Дорича «Исследования по литовской диалектологии», в которой дается фрагментарное описание литовских говоров Пруссии и Литвы и приводятся диалектные тексты¹. Но так как в книге не были представлены все литовские говоры и ее автор не различал интонаций гласных звуков литовских диалектов, в научном обиходе книга могла быть использована лишь частично. Следует упомянуть также и конспект лекций А. Салиса по литовской диалектологии², где дается систематическое описание литовских говоров и их карта. В изданном в 1948 г. орфографическом словаре литовского языка³ имеется глава «Говоры литовского языка» («Lietuvių kalbos tarmės», стр. 109—124), в которой дается конспективное описание современных литовских говоров с четырьмя картами, отображающими их территорию.

В течение последнего двадцатилетия было написано несколько десятков монографий отдельных литовских диалектов, в их числе кандидатские диссертации. За это время опубликован и ряд статей по литовской диалектологии, в которых описываются и исследуются основные особенности (главным образом, фонетические и морфологические) и группы диалектных явлений. В основном статьи публиковались в серийном издании «Вопросы литовского языковедения» («Lietuvių kalbotyros klausimai»), в «Трудах» Академии наук ЛитССР («Lietuvos TSR Mokslų akademijos darbai», Serija A), в «Языковедении» («Kalbotyra»), в «Ученых записках» Вильнюсского университета, Вильнюсского пед. ин-та и др. В нынешнее время, когда по существу завершено собирание диалектного материала для «Атласа литовского языка», стали появляться статьи, решающие определенные комплексы вопросов литовской диалектологии. И все же до сих пор литовская диалектология не имела более широких исследований обобщающего характера, хотя условия для создания таких работ сейчас налично.

Рецензируемая книга З. Зинкявичюса «Литовская диалектология» является первым капитальным трудом, в котором на основе большого фактического диалект-

ного материала, а также на основе письменных памятников литовского языка дается полный обзор фонетических и морфологических систем литовских диалектов в их историческом развитии. Данная книга — результат 15-летнего труда З. Зинкявичюса. К собиранию диалектного материала автор привлек своих студентов, которые собирали диалектный материал в 700 населенных пунктах.

Рецензируемая книга состоит из «Введения» (стр. 11—31), «Фонетики» (стр. 32—199), «Морфологии» (стр. 200—444) и 75 диалектных карт (стр. 446—520). Во «Введении» дается новая классификация литовских диалектов и характеристика литовских говоров за пределами Литвы (в Белоруссии и Польше), а также говоров переселенцев, описывается влияние литературного языка на говоры и исследуются взаимосвязи литовских диалектов. В «Фонетике» описываются и в историческом плане исследуются ударения и интонации гласных звуков, вокализм и консонантизм литовских диалектов. В «Морфологии» изучаются диалектные формы отдельных частей речи в их историческом развитии. На 75 картах изображаются изоглоссы диалектных особенностей (в основном, фонетических), дается диалектная карта, построенная на основе новой классификации литовских диалектов. Таким образом, представленный диалектный материал дает полную возможность для исследователей литовского языка ознакомиться с разнообразной и многосторонней системой фонетики и морфологии диалектов литовского языка.

Новая классификация литовских диалектов, которая составлена в соавторстве с А. Гирдянисом, по словам автора книги, опирается не на изолированные факты, а на различия и общности вокализма, а также ударения и интонации (традиционная классификация литовских диалектов, в основном, была построена на особенностях консонантизма). Автор считает ее улучшенным вариантом классификации А. Баранускаса. При делении литовских диалектов на аукштайтское и жемайтское наречия автор избирает критерием не «жемайский закон звуков» (произношение древних сочетаний *-tja*, *-dja*), а произношение софтангов *ie*, *uo*. Такой подход имеет основания, так как «жемайский закон звуков» свойствен и некоторым литовским говорам Пруссии, а также соседним с ними западноаукштайтским говорам (окрестности Пагегай). С другой стороны, в некоторых случаях он отсутствует в юго-восточной части жемайтского наречия (Эржвилкас, Эйлий, отчасти Таураге, Расейний, Титувеней). Для названия отдельных диалектов и говоров автор предла-

¹ A. D o r i t s c h, Beiträge zur litauischen Dialektologie, Tilsit, 1912.

² A. S a l y s, Lietuvių kalbos tarmės, 1 leid., Kaunas, 1933, 2 leid., Tübingen, 1946.

³ «Lietuvių kalbos rašybos žodynas», Kaunas, 1948.

гает или географические термины (например, северожемайский, южножемайский, западножемайский диалекты — по традиционной классификации жемайтский доунининский, дуинининский, доининякский диалекты), или словообразовательные варианты названий более известных городов, находящихся на их территории (например, варнянский, кредингский, расейняйский горы).

В некоторых случаях новая классификация диалектов (особенно восточноаукштайтских), по сравнению с традиционной, лучше соответствует распределению изоглос (в основном, в области вокализма). Она более удобна не только для описания систем определенных диалектов, но и для практических целей, например, для преподавания курса диалектологии. Однако она нуждается в некоторых уточнениях. Так, в западноаукштайтский диалект не включаются литовские говоры Пруссии. Верно, эти литовские говоры в действительности уже почти исчезли, но так как имеется довольно богатая литература и диалектный материал (монографии, тексты, первые грамматики литовского языка, написанные на основе этих говоров и т. д.), при составлении классификации их нельзя не учитывать. Автор же, касаясь литовских говоров Пруссии, пользуется традиционной классификацией и ее терминологией (стр. 81, 91 и др.). Кроме того, в новой классификации следует выделить в отдельную группу говоры капов и занавиков, на основе которых сформировался литовский литературный язык. В классификации З. Зинквичюса эти говоры, вместе с другими аукштайтскими говорами, не являющимися основой литературного языка, составляют южную часть западноаукштайтского диалекта — каунасский говор.

По мнению автора, вильнюсский говор среди других аукштайтских говоров выделяется сохранением безударного дифтонга *ie*. Однако в окрестностях Швенчёляй, Дотиненай, Линкмянис и др. (вильнюсский говор) данный дифтонг в безударном положении (за исключением позиции перед кратким ударным окончанием) монофтонгизированы.

Описание и анализ фонетических и морфологических фактов З. Зинквичюс дает в сравнительном плане. В «Фонетике» описываются и исторически исследуются ударение и интонация гласных звуков и отдельные звуки, встречаемые во всех говорах литовского языка, например, гласный *a* во всех литовских говорах, затем гласный *e* и т. д. Такой метод описания дал возможность автору объединить адекватный материал всех говоров, систематизировать его, показать рефлекс каждого звука во всех диалектах и создать соответствующую карту. Исходным пунктом для сравнения служат звуки и формы литературного языка.

Избранный З. Зинквичюсом метод описания и исследования является целесообразным на настоящем этапе развития литовской диалектологии, ибо анализ отдельных фактов и систем диалектов не может быть успешным без общего представления о всех диалектах. С другой стороны, описание отдельных звуков на всей территории языка не дает возможности выяснить фонетические и фонологические системы отдельных диалектов и исследовать их развитие. Но это задача будущего.

Отображению фонетических особенностей говоров посвящается 73 карты. Они представляют собой первый диалектологический атлас фонетических особенностей литовских диалектов. Выводы о развитии фонетических особенностей автор делает осторожно, обоснованно, и в основном они не вызывают сомнений. Тем не менее, некоторые спорные вопросы развития фонетических особенностей нельзя считать окончательно решенными. Одним из таких вопросов является оттяжка ударения в говорах литовского языка. Почти все языковеды, исследовавшие эту проблему, искали причину оттяжки ударения в соответствующих явлениях финских (в особенности, ливского) языков. Однако объяснение самого процесса оттяжки ударения до сих пор остается спорным⁴. Предлагаемое в книге объяснение, согласно которому распространению оттяжки ударения способствовала пивелировка различий между акutum и циркумфлексом (гласных и дифтонгов *ie, io*) в восточнолитовских говорах, противоречит другому положению автора о новом характере этой пивелировки (стр. 33), чего нельзя сказать об оттяжке ударения.

Во многих случаях автор уточняет представление об отдельных диалектных явлениях или исправляет фактические ошибки, получившие распространение в лингвистической литературе. В книге устанавливается, например, что в восточноаукштайтских говорах имеется шесть вариантов произношения дифтонгических сочетаний *am, an, em, en* и указывается территория распространения каждого варианта (см. карты 67, 68), а до сих пор преобладало мнение, что имеются только три различных типа произношения данных дифтонгических сочетаний. В книге также приводятся все случаи сохранения без изменения этих дифтонгических сочетаний в данных говорах. На стр. 257 исправляются не существующие в действительности формы *mėnūng, šūng, sesūng*, зафиксированные Ф. Куршатом в жемайтском диалекте в окрестностях Векшнй (Мажейкяйский

⁴ О процессе оттяжки ударения см. еме: J. K a z l a u s k a s, Fonologinė kirčio raidos baltų kalbose interpretacija, «Baltistica», II (2), 1966.

р-н). Некоторые языковеды, опираясь на эти ложные формы, полагали, что в литовском языке якобы найдены рефлексы и.-е. *-ōi*. На самом деле в данном диалекте существуют только формы *miēnfi* «месяц, луна», *šēi* «собака», *sēsūi* «сестра».

Богатый материал содержится в разделах, касающихся законов комбинаторных изменений гласных и согласных, причем этот материал во многих случаях является новым. На основе его автор делает новые и довольно убедительные выводы. Это прежде всего касается протетического *i*, прибавленного к формам *inti* «взять» (стр. 189), возможного происхождения слова *plūksna* «перо» от *plūksna* (стр. 189) и др.

Часть «Морфология» представляет собой первое в литовской диалектологии синтетическое описание морфологических особенностей говоров. Отдельные морфологические особенности литовских диалектов до сих пор исследовались только в монографиях отдельных говоров, а также использовались в грамматиках литовского языка Ф. Куршата, К. Яунюса, И. Яблонскиса, Я. Отрембского, в трудах К. Буги, Я. Эндзелина и др. Описать и изучить морфологические системы всех литовских диалектов до сих пор никто не пытался.

Морфологические формы в книге исследуются по отдельным частям речи, только союз и частицы изучаются в одном разделе; один раздел посвящается также междометию и звукоподражательному междометию. В этой главе, как и в «Фонетике», много места уделяется фактическому материалу. Приводятся различные именные, отглагольные и другие формы, употребляемые во всех диалектах, указывается территория их распространения, объясняется происхождение и развитие отдельных форм в различных говорах. Много внимания уделяется морфологическим различиям диалектов и литературного языка.

Последовательное описание и исследование форм, а также установление их территории позволили автору сделать оригинальные и убедительные выводы. Например, опираясь на распространение в южноукшайтских говорах (до линии Любавас — Нямунайтис — Шальчиняй — пограничье территории древних ятвягов) окончания *-uoj* именительного падежа единственного числа имен существительных с основой на согласный, автор убедительно связывает это окончание с окончанием *-ou* древнепрусского языка в слове *stou* «человек», ср. *žtuoj* «то же» Лаунай (см. стр. 256).

Автору книги можно сделать упрек по поводу некоторых неточных формулиро-

вок. Например, на стр. 303 утверждается, что жемайтский по примеру произношения притяжательных местоимений *mano* «мой, моего», *tavo* «твой, твоего», *savo* «свой, своего» передавали и формы местоимений *māsu* «нас, наших», *jūsū* «вас, ваших» в формы *māso*, *jūso* (произносятся *māsa*, *jūsa*). На самом деле такие формы (*māso*, *jūso*) употребляются лишь в одной части северожемайского диалекта. Диалектные примеры в некоторых случаях в книге подаются в фонетической транскрипции (особенно в главе «Фонетика», за исключением разделов о комбинаторных законах гласных и согласных); в других случаях они приводятся в транскрибированной на литературный язык форме (большею частью в главе «Морфология»). Но автор нигде не объяснил, в каких случаях диалектные примеры приводятся в диалектной форме, в каких в литературной. Неодинаковая подача диалектного материала может ввести в заблуждение неопытного читателя.

Как положительную черту книги нужно отметить, что топонимы, указывающие локализацию приведенных диалектных примеров, даются в полной форме с ударением. Это не только облегчает чтение книги, но и способствует нормализации топонимов в литературном языке. Еще следует добавить, что вся работа написана сжато, живым языком и легко читается.

В предисловии к книге автор пишет: «Каждому исследователю балтийских языков ясно, что дальнейшему прогрессу балтистики в некоторой степени препятствует сравнительно слабое изучение литовских диалектов» (стр. 3). Рецензируемая книга в области фонетики и морфологии этот пробел по существу заполняет. Нет еще обобщающих работ по синтаксису и лексике литовских говоров. Нужно сказать, что и латышская диалектология недавно дождалась более основательного описания и исследования латышских говоров⁵, где дается исчерпывающее систематическое описание современных латышских говоров.

Книга З. Зилкявичюса дает полное и последовательное описание литовских диалектов на современном этапе и является важным вкладом не только в балтистику, но и в славистику (в особенности в область исследования балто-славянских языковых отношений), а также в индоевропеистику вообще.

В. Гринавецкис

⁵ M. Rudzīte, *Latviešu dialektoloģija*, Rīga, 1964.

С. Бабић. Sufiksna tvorba pridjeva u suvremenom hrvatskom ili srpskom književnom jeziku. — «Rad Jugoslävenske akademije znanosti i umjetnosti», 344, 1966. Стр. 63—256.

Словообразование хорватскосербского языка до сих пор разработано слабо. До недавнего времени им никто специально не занимался, а составители разных грамматик, главным образом нормативных, представляли его суммарно, в небольшом объеме. Так дано словообразование хорватскосербского языка и в наиболее полной большой «Грамматике и стилистике хорватского и сербского литературного языка» Мареича, написанной еще в конце прошлого столетия (Загреб, 1899, 1932, 1963). Значительно улучшилось дело с изданием обратного словаря сербскохорватского языка¹. До сих пор вышло три выпуска, вскоре ожидаются остальные. В словаре собран огромный лексический материал, облегчающий дальнейшую работу в области словообразования.

С. Бабић первым обратился к рассмотрению общих проблем словообразования на материале отдельной грамматической категории. Перед автором стояла сложная задача. Трудности ее усугублялись скудостью работ по хорватскосербскому словообразованию, а особенно словообразованию прилагательных, нерешенностью многих теоретических вопросов, неизученностью сходных словообразовательных категорий. Несмотря на это, автор достиг значительных результатов, и его «Суффиксальное образование прилагательного в современном хорватскосербском литературном языке» в настоящее время является основным трудом в этой области.

Как видно из заголовка книги, речь идет об образовании прилагательных в современном литературном языке, что почти исключает диахроническое рассмотрение. За исключением оправданных (и неизбежных) обращений к некоторым формам близкого или далекого языкового прошлого, принцип синхронии проведен последовательно. В очень небольшой мере в работе затрагиваются сходные образования родственных языков, диалектные формы и индивидуальные образования (парах legomena). Стиль изложения точный, сжатый.

Значительным упущением является отсутствие раздела об акцентуации прилагательного; исключения составляют только те факты, когда речь идет о различительной роли ударения. Поскольку для многих случаев вопрос об ударении в хорватскосербском языке остается спорным, С. Бабић, вероятно, хотел избежать имеющейся неясности. А приведение

примеров требовало бы в какой-то мере решения поставленного вопроса.

Одним из основных вопросов, требовавших в книге своего решения, был вопрос о классификации прилагательных по значению. Автор принимает традиционную классификацию, однако во многом дорабатывает ее и снабжает новыми терминами. В хорватскосербских грамматиках утвердилось деление прилагательных по значению на качественные (орисни), относительные (gradivni) и притяжательные (присвојни, посвојни, посесивни). С. Бабић «притяжательные» прилагательные обозначает единственным термином «относительный» («odnosni») (который взят из русского языкознания), «орисни» заменяет термином «kvalitativni», термин «gradivni» оставляет без изменения. Эти замены имеют большое значение. Дело в том, что из-за излишней широты термина «posvoјni (prisvoјni, posesivni)» возникли неясности и различные толкования. С. Бабић выделяет составные элементы притяжательности и устанавливает следующие подгруппы: а) прямая принадлежность (prava posvoјnost); bratov konj; б) родственные и дружеские отношения: Mladenov kolega; в) происхождение: bogataški sin; г) предназначение: dječja knjiga; д) различные другие отношения людей, животных, растений, вещей, наук, времени, места и т. д.: večerašnji sastanak.

Относительные (по традиционной классификации) прилагательные количественно составляют наименьшую группу, и автор склоняется к тому, что их не следует выделять в самостоятельную категорию, так как их место — по морфологическим признакам — среди относительных (по классификации Бабића) прилагательных (стр. 84). Однако если исходить из семантических критериев, то относительные (gradivni) прилагательные оказываются ближе к качественным.

Автор пользуется терминами «sekundarna mutacija» и «neutralizacija»; первый заимствован у немецкого ученого Вюрстера и означает явление, при котором прилагательное образовано от одного имени существительного, но при этом относится и к другому, например: biologski: biolog и biologija, filološki: filolog и filologija, indološki: indolog и indologija, kirurški: kirurg и kirurgija, patološki: patolog и patologija; другой термин означает совпадение двух прилагательных в одном в результате словообразования: prsni от prsa и prst, repni от rep и pera.

Рассматривая словообразование посредством отдельных суффиксов, автор предполагает их не в алфавитном порядке, как это обычно принято, а по частоте употребления. Такое расположение впол-

¹ J. M a t e š i ć, Rückläufiges Wörterbuch des Serbokroatischen, Wiesbaden, 1965.

не оправдано: в процессе обзора рассматривается продуктивность или непродуктивность каждого суффикса отдельно. На основании этого можно было бы вычертить график продуктивности всех суффиксов прилагательных в хорватскосербском языке и легко получить статистические данные о том, сколько прилагательных образуется с помощью какого-либо суффикса. Автор, к сожалению, не сделал такого простого графика, хотя для некоторых суффиксов указывается точное число прилагательных, которые образуются с их помощью (для других дается только приблизительная цифра). Материал по каждому суффиксу располагается таким образом, что прежде всего приводятся примеры, затем следует глава о значении.

Автор дает толкования многим на первый взгляд неясным явлениям словообразования; так, объясняется, почему одни прилагательные, которые образовались от имен существительных на *-ija*, не сохраняют окончания *-ij*, а другие его сохраняют, ср.: *abesinski* : *Abesinija*, *albanski* : *Albanija*, *hispanski* : *Hispanija*, *holandski* : *Holandija*, *skandinavski* : *Skandinavija*, *slovenski* : *Slovenija* и др., по: *aleksandrijski* : *Aleksandrija*, *austrijski* : *Austrija*, *azijski* : *Azija*, *belgijski* : *Belgija*, *kalabrijski* : *Kalabrija*, *kenijski* : *Kenija*, *metohijski* : *Metohija*, *perzijski* : *Persija*, *šumadijski* : *Šumadija* и др. Автор дает фонетическое толкование этому явлению: «окончание *-ija* не отбрасывается те имена существительные, от которых полученная таким путем основа образовала бы фонетическое препятствие для добавления суффикса *-ski*» (стр. 101). От приведенных примеров отличаются формы: *babilonski*, *galski*, *mongolski*, *pruski*, *ruski*, *srpski*, *zelandski*, потому что они образовались не от *Babilonija*, *Galija*, *Mongolija* и т. д., а от *Babilon*, *Gal*, *Mongol* и т. д.

Рассматривая образование прилагательных от фамилий на *-ski*, автор отмечает, что они могут иметь и суффикс *-ov*, и суффикс *-jev*. Употребляются формы *Bačvanskov* и *Bačvanskijev*, *Crnjanskov* и *Crnjanskijev*, *Zrinjskov* и *Zrinjskijev* от *Bačvanski*, *Crnjanski*, *Zrinjski*. Как известно, эти формы считаются ненормативными, и автор замечает, что такие прилагательные остаются в границах индивидуального словообразования. Однако хотя такие прилагательные слабо проникают в произведение художественной литературы, в публицистике, административном и разговорном языке примеры таких образований не так уж редки.

Стоит отметить описание и толкование прилагательных, которые образуются от названий растений, животных, химических элементов и соединений (стр. 133). Автор использует материал терминологической лексики двух наук (биологии и химии), что весьма важно для составления терминологических словарей.

Верно замечена разница между сходными суффиксами *-(a)n* и *-ski* у прилагательных, которые образованы от имен существительных на *-ika*, заимствованных главным образом из греческого языка. Такими являются имена существительные *didaktika*, *dinamika*, *fantastika*, *mehanika* и др. На практике наблюдается путаница в употреблении соответствующих прилагательных, потому что одинаковыми считаются качественный суффикс *-(a)n* и относительный суффикс *-ni*. Прилагательные *didaktičan*, *dinamičan*, *fantastičan*, *mehaničan*, *plastičan*, *polemičan*, *romantičan*, *taktičan*, *poetičan* и др. обозначают свойство (*didaktičan* «пучительный», *dinamičan* «сильный, проливной», *fantastičan* «величественный, загадочный»), прилагательные *didaktički*, *dinamički*, *fantastički*, *mehanički*, *plastički*, *poetički*, *polemički*, *romantički* обозначают отношение к *didaktika*, *dinamika*, *fantastika* и т. д. (*didaktički* «который согласуется с принципами дидактики», *dinamički* «который согласуется с законами динамики» и т. д.). На практике (особенно в административной речи и публицистике) это различие мало принимается во внимание.

Говоря о синонимических словообразовательных парах, автор затрагивает вопрос о суффиксе *-ni*: является ли он особым суффиксом (для ограниченного числа прилагательных) или только определенной формой суффикса *-(a)n*. Следует заметить, что суффикс *-ni* выступает как самостоятельный в одних прилагательных (например, *cementni*, *šetni*), в других же он представляет собою только разновидность суффикса *-(a)n* (*kišan* : *kišni*, *vidan* : *vidni*).

Автор не замечает семантической разницы между формами *župni* и *župski* (стр. 177) и дает неполное освещение материала. Он ссылается на разговорную практику в Коприве и в своем родном селе Орнове (Славония). При этом упускается из виду широко распространенный топоним *Župa*, от которого образовано прилагательное *župski*.

Относительно значения суффиксов *-iv*, *-jiv*, *-lživ* (*bodiv*, *branjiv*, *ganulživ*) нет единого мнения: некоторые лингвисты считают, что они различаются, другие, наоборот, не видят здесь разницы. С. Бабич пишет, что эти суффиксы ничем не различаются в значении, и в доказательство приводит множество примеров (стр. 189).

При рассмотрении суффикса *-(a)bač* (стр. 299) автор, между прочим, говорит: «Мне кажется, что в значении *duž* употребляется только *dužbačak* и что *dužabačak* и сегодня могло бы быть уменьшительным прилагательным, но частота остальных прилагательных этого типа не велика, так что разница только намечается, а нормативные справочники ее не устанавивают». Представляется, что между эти-

ми двумя акцентными формами нет разницы в значении, и нельзя говорить о какой бы то ни было уменьшительности формы *đugađak*. Напротив, в количественном отношении эта форма употребляется чаще, и это до некоторой степени исключает ее возможную уменьшительность.

В заключительном разделе работы преобладают статистические данные: приводятся слабо продуктивные суффиксы, мертвые суффиксы, затем алфавитный перечень всех суффиксов и еще некоторые количественные показатели. Несмотря на то, что эти сведения имеют преимущественно технический характер, они вызывают интерес. Удивляет множество слабо продуктивных суффиксов; в их числе автор называет: *-acki, -ač(a)k, -ački, -ači, -ačiv, -ah(a)n, -ajiv, -ajiv, -(a)k, -aljiv, -anski, -anji- -arast, -aš(a)n, -ašnji, -at(a)n, -av(a)n, -ažljiv, -beni, -cat, -cijat, -cit, -čit, -ec(a)k, -ec(a)n, -eč(a)k, -eči, -ečiv, -eljast, -eljav, -enski, -enji, -eš(a)n, -ev(a)n, -evljev, -evlji, -evni, -ežljiv, -ič(a)n, -ičast, -ičav, -ični, -iči, -ijacit, -ijski, -ikast, -ikav, -injav, -inji, -injski, -iš(a)n, -iš(a)v, -it, -jihav, -juš(a)n, -karast, -kast, -kav, -ljan, -ljast, -ljat, -ljav, -ljev, -ljičast, -ljikav, -n, -mast, -ovet(a)n, -ovljev или -evljev, -ovlji или -evlji, -ovni, -š(a)n, -šnji, -ujski, -uljast, -uljat, -uljav, -uljiv-unjav, -uš(a)k, uš(a)n, -ušast, -ušav,*

-uš-kast. Существует 14 мертвых суффиксов и 58 продуктивных. Количественно преобладают слабо продуктивные суффиксы; на некоторые из указанных суффиксов можно привести всего лишь один пример, на другие — два, три или еще несколько, и на некоторые — до 20. Средняя употребительность во всяком случае низка. Примеров на продуктивные суффиксы приходится несравненно больше. Автор приводит такие данные: с суффиксом *-ski* образуются 4629 прилагательных, с *-(a)n* 1987, с *-ni* 1698, с *-ast* 796, с *-ljiv* 711 и т. д. По всей работе отмечено 17 730 прилагательных с различными суффиксами.

«Суффиксальное образование...» С. Бабича заполняет большой пробел в изучении словообразования хорватско-сербского языка. Автор — сторонник структурального метода, что сказывается на обработке материала, однако этот метод не проведен до конца, и ряд вопросов рассматривается традиционно. Автор выбрал средний и надежный путь. Работа С. Бабича весьма полезна, особенно в практике преподавания хорватско-сербского языка.

М. Шимундић

Перевела с хорватско-сербского
Д. А. Вейлина

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

СЕРЬЕЗНЫЙ НЕДОСТАТОК ХОРОШЕГО ИЗДАНИЯ

Институт русского языка АН СССР сделал очень нужное и полезное дело, выпустив в свет Синайский патерик¹. Потребность в таком издании назрела давно. Синайский патерик имел большое значение в древнерусской письменности и широко использовался средневековыми писателями, не говоря уже о том, что и сам по себе он является выдающимся литературным произведением. Поэтому новое издание патерика выполняет для медиевистов и справочную роль и встречено с большим сочувствием. Следует отметить, что издатели В. С. Гольщенко и В. Ф. Дубровина проделали большую работу по подготовке сложного текста к печати.

Однако одно обстоятельство делает очень затруднительным пользование этим ценным изданием. Это — отсутствие каких-либо указателей. Для того чтобы найти необходимый текст или имя, приходится перелистывать всю книгу, тратя непомерно много времени. Всякая научная

публикация должна сопровождаться справочным аппаратом, позволяющим специалисту легко ориентироваться в тексте. Тем более это относится к такому произведению, как Синайский патерик. В подобной книге безусловно должен быть именной и предметный указатель или по крайней мере словуказатель, как это сделано в изданном тем же институтом Изборнике Святослава 1076 г.²

Мы не знаем, кто виноват в этом серьезном просчете. Иногда издательство «Наука», экономя бумагу, идет на такой неоправданный шаг. Может быть, так было и в данном случае. Однако обязанность издателей добиваться полноценной публикации.

Как известно, Институт русского языка планирует серию изданий древнерусских текстов. Очень хотелось бы, чтобы справочная часть их была на высоте.

В. И. Малышев

¹ «Синайский патерик», издание подготовили В. С. Гольщенко, В. Ф. Дубровина, М., 1967, 412 стр.

² «Изборник 1076 г.», издание подготовили В. С. Гольщенко, В. Ф. Дубровина, В. Г. Демьянов, Г. В. Нефедов, М., 1965, стр. 839—1055.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

С 15 по 25 сентября 1967 г. в Кязьрику проходила межвузовская конференция по порождающим грамматикам, организованная кафедрой эстонского языка Тартуского госуниверситета. В ее работе приняло участие большинство ученых нашей страны, работающих в области порождающих грамматик. Было прослушано и обсуждено 50 докладов¹.

Открыл конференцию А. Каск (Тарту), отметивший актуальность проблематики порождающих грамматик как для теории языкознания, так и в плане создания кибернетических устройств, моделирующих речевую деятельность человека.

Наиболее полно на конференции было представлено направление исследований, связанное с разработкой аппликативной порождающей модели. С докладом «Двуступенчатая теория порождающих грамматик» выступил С. К. Шаумяна (Москва). Он отметил, что необходимо выяснить общие формальные условия, которым должна удовлетворять конкретная порождающая грамматика. Главное из них следующее: всякая конкретная порождающая грамматика должна быть выводима из единой абстрактной грамматики, порождающей так называемый генотипический язык и представляющей собой теорию лингвистических универсалий. Аппликативная модель представляет собой опыт построения такого рода теории. В отличие от нее трансформационная порождающая модель Н. Хомского характеризуется как одноступенчатая.

В докладе П. А. Соболевой (Москва) излагались принципы анализа результатов описания словообразования в рамках аппликативной модели. Достоинство этого подхода заключается в возможности описания динамического аспекта синхронии и вскрытия таким образом иерархической организации словообразовательной системы естественного языка.

¹ См. сб. «Межвузовская конференция по порождающим грамматикам. Тезисы докладов», Тарту, 1967. Сокращенные тексты докладов публикуются в отдельном выпуске «Ученых записок» Тартуского госуниверситета.

Основные положения докладов С. К. Шаумяна и П. А. Соболевой были конкретизированы и иллюстрированы материалом в совместном докладе С. К. Шаумяна, П. А. Соболевой, И. Б. Альтман, С. С. Белокрицкой и Г. А. Смирновой (Москва) «Построение словообразовательного словаря на основе аппликативной порождающей модели». В докладе излагались результаты описания русского словообразования (на материале четырехтомного словаря русского языка), произведенного с помощью аппарата аппликативной модели.

Е. Л. Гинзбург (Москва) в докладе «Сложные слова в порождающей грамматике» демонстрировал адекватность аппарата аппликативной модели для описания сложных слов русского языка. В докладе М. М. Копыленко (Алма-Ата) «О возможностях и задачах генеративного словообразования» излагались результаты алгоритмического порождения русских существительных с суффиксом *-тель*.

Проблемам автоматизации анализа словосочетаний украинского языка был посвящен доклад Л. А. Алексеенко (Киев). Использовался аппарат исчисления трансформаций аппликативной модели. Анализ 800 словосочетаний, проведенный на ЭВМ «Минск-2», показал, что до 70% результативных трансформов представляют собой осмысленные словосочетания.

В докладе В. А. Московича (Москва) рассматривался вопрос об универсальных ограничениях количества тактов порождения слов естественных и искусственных языков.

В ряде докладов, прочитанных Ю. А. Шрейдером, М. В. Араповым, В. Б. Борщевым и М. М. Херцем (Москва) излагалась теория так называемых диспозиционных грамматик.

Диспозиция — это обобщение понятий исчисления и алгоритма. От алгоритма диспозиция отличается тем, что после каждого оператора может быть разрешен переход более чем к одному оператору и в пределах самой диспозиции нет никаких указаний, в каком порядке пробовать возможные пути. Поэтому диспози-

дия является' более удобным, чем алгоритм, средством для задания методов решения переборных задач.

Несмотря на солидную математическую обоснованность теории диспозиционных грамматик, она, к сожалению, еще не применена к конкретному лингвистическому материалу. О перспективах применения этой теории можно судить по изложенной в докладе М. В. Арапова и В. Б. Борщева синтаксической модели, разработанной для естественных языков с богатой флективной системой и свободным порядком слов (типа русского языка).

Оригинальную интерпретацию системы знаков препинания русского языка дал в своем докладе М. В. Арапов. Он рассматривает эту систему как модель с конфликтами, возникающими при работе двух автономных механизмов — грамматик сегментов и грамматики стыков.

В нескольких докладах рассматривались вопросы общей теории порождающих грамматик. В. В. Мартынов (Минск) считает, что значение теории порождающих грамматик заключается в том, что в ней впервые в явном виде определяются принципы речевого творчества. Исчисление трансформаций, введенное С. К. Шаумяном, позволяет дедуктивно получить множество всех элементов языка, несущих коммуникативную функцию. В. В. Мартынов указывает на важность вопроса о порождении элементов языка, несущих номинативную функцию, т. е. парадигматического порождения. Поскольку естественные грамматические системы в значительной мере не поддаются формализации, А. Г. Ларин (Москва) предложил создать механизм, который сам мог бы строить порождающую грамматику какого-либо языка из предъявленных ему текстов.

В докладе Т. - Р. Вейтсо (Тарту) проблема правильности в порождающей грамматике рассматривалась в свете глоссематической теории. Семантические проблемы в теории порождающих грамматик обсуждались в докладе М. Реммеля (Тарту).

Рассмотрению принципов, на которых должна быть основана порождающая грамматика для языка с развитым словоизменением, был посвящен доклад М. В. Ломковской (Москва). Были проанализированы следующие компоненты порождающей грамматики: ядро и трансформации, дерево зависимости, грамматические признаки, типы связи, порождение дерева. Во втором докладе М. В. Ломковской описывалось исследование, порождающее ядерные русские предложения.

И. Кульб (Тарту) и М. Томбак (Таллин) привели в своем докладе доказательство того, что не существует алгоритма, который по разрешающему алгоритму множества A дает индуктивное

определение этого множества. На базе индуктивных определений и ассоциативных исчислений можно определить разные порождающие системы, близкие к трансформационным грамматикам.

Исчисления, в которых выводимы маркеры составляющих, управления и характеристик (так называемые маркерные грамматики) рассматривались в докладе М. И. Белецкого (Киев). Э. Д. Стоцкий (Москва) дал классификацию грамматик непосредственно составляющих с ограничениями при выводе фразы. Эти грамматики предлагаются как модель речевого поведения, при этом ограничение на вывод рассматривается как «программа» речевого поведения.

Об организации машинных словарей справочного типа на основе грамматик с конечным числом состояний рассказал В. В. Бородин (Горький). А. Е. Кибрик (Москва) защищал тезис о существовании древовидной структуры смысла текста и дал наметки аппарата, способного порождать текст согласно заданному смыслу и анализировать смысл текста.

В. Ю. Городецкий (Москва) предложил использовать понятие имплицитивного отношения и метод схематического описания при описании семантических категорий естественного языка. В. В. Раскин (Москва) считает целесообразным строить для ограниченных языковых подсистем порождающие грамматики, опирающиеся не на морфологосинтаксические свойства языка, а на логико-понятийную, ситуационную функцию слов в текстах, соответствующих этим подсистемам.

В докладе М. М. Ланглебен (Москва) была описана порождающая грамматика для одной из наибольших подсистем такого рода — языка химической номенклатуры. «Порождающая грамматика и проблема вариативности в языке» — такова тема, поднятая в докладе С. И. Калабиной (Орел).

В ряде докладов освещались вопросы применения методов порождающих грамматик к исследованию материала отдельных языков: эстонского — Х. Раянд и (Таллин) «Адъективация и ангоминизация», Х. Рятсен (Тарту) «О типах управления глаголов эстонского языка и их представлении в порождающей грамматике», Э. Уусыльд (Тарту) «Некоторые закономерности порождения обстоятельственных конструкций с центральным словом в неспрагаемой форме глагола эстонского языка», М. Хинт (Таллин) «Создание морфофонологической транскрипции для описания морфологии эстонского языка», Х. Ыйм (Тарту) «О селекционных ограничениях внутри именной фразы» и М. Эрельт (Тарту) «О выражении степени качества в эстонском языке»; русского — Т. Ф. Ефремова (Москва) «Словарь морфем русского языка», Л. Н. Засорина (Ле-

нинград) «Дистрибутивно-семантическая схема как основа для порождающей грамматики», Я. Каплинский (Тарту) «Об одном возможном типе правил в порождающей грамматике», Т. Г. Козырева (Минск) «Дистрибутивный анализ как способ разграничения безлично-предикативных слов и форм других частей речи в системе русского литературного языка», Н. В. Коссец (Одесса) «Порождающая модель осмысленных предложенных словосочетаний в русском языке», Э. В. Кузнецова (Донецк) «Метод ступенчатой идентификации в описании лексико-семантической группы слов», В. Г. Руделев (Оренбург) «Фонологическая интерпретация структуры слова» и Т. А. Тулина (Одесса) «Пути порождения некоторых трехкомпонентных атрибутивных конструкций»; английского — Л. Л. Нелюбин (Москва) «К вопросу об использовании отрицательных трансформов в официально-деловом стиле речи», А. А. Хадеева - Быкова, Н. М. Булавиц (Орехово-Зуево) «Об одной модели порождения неологизмов», Л. Е. Хиженкова (Москва) «Трансформационная модель порождающей грамматики и системные (парадигматические) отношения в синтаксисе»; грузинского — Л. А. Енукидзе (Тбилиси) «К исследованию форм глагола в ядерных предложениях грузинского языка»; армянского — М. Р. Мелкунян (Ленинград) «Армянский глагол: каузативный залог и схема глаголообразования»; финского — А. П. Болдин

(Ленинград) «Система структур финского языка», украинского — О. Г. Левченко (Киев) «О структурном описании словообразовательных гнезд». На материале германских языков был построен доклад А. А. Хадеевой - Быковой и А. Н. Гуляева (Ярославль) «Об одной интерпретации гипотезы глубины Ингве».

В двух докладах рассматривалось применение порождающих грамматик для описания различных семиотических систем. Это доклад Б. М. Гаспарова (Тарту) о порождении музыкальных произведений и А. М. Кондратова (Ленинград) — о порождении графических систем.

При обсуждении докладов были затронуты такие вопросы, как соотношение семантики и синтаксиса в порождающей грамматике, соотношение порождающей и таксономической модели языка, значение принципа двух- и многоступенчатого построения порождающей модели, проблема правильности в порождающей грамматике, основания порождающей модели и т. п.

На закрытии конференции выступил академик АН ЭССР П. Аристе, подчеркнувший, что, несмотря на различие подходов и направлений к построению порождающей грамматики, выявившихся ходе дискуссии, конференция, несомненно, будет способствовать лучшей координации работ в этой области.

В. А. Москович (Москва)

КНИГИ, ЖУРНАЛЫ И БРОШЮРЫ, ПОСТУПИВШИЕ В РЕДАКЦИЮ

- Приводимый список подтверждает получение посланных в редакцию книг. Редакция благодарит издательства и авторов, направивших книги в адрес редакции журнала «Вопросы языкознания». Редакция сообщает, что она не может гарантировать рецензирование всех присланных в редакцию книг. Рецензии помещаются в зависимости от возможностей и от профиля журнала, два экземпляра отписок рецензии высылаются издателю или авторам. Присланные книги не возвращаются.
- Восточнославяно-молдавские языковые отношения.— II.— Кишинев, 1967. 214 стр.
- Очерк современного молдавского литературного языка.— Кишинев, 1967. 92 стр.
- Зборник за филологију и лингвистику. IX.— Нови Сад, 1966. 222 стр.
- Beiträge zur Indogermanistik und Keltologie (Julius Pokorny zum 80. Geburtstag gewidmet).— Innsbruck, 1967. 332 стр.
- Finnisch-ugrische Forschungen. XXXVI, 3.— Helsinki, 1966—1967. Стр. 335—440.
- Jazykovédné aktuality. II. 1967. 46 стр.
- Język polski. XLVII, 3. 1967. Стр. 161—240.
- Phonologie der Gegenwart.— Graz — Wien — Köln, 1967. 391 стр.
- Revue roumaine de linguistique. XII, 2—3. 1967. Стр. 79—276.
- Lpravodaj miestopisné komise CSAV. VIII, 2. 1967. Стр. 107—222.
- Н. Д. Андреев. Статистико-комбинаторные методы в теоретическом и прикладном языковедении.— Л., 1967. 402 стр.
- І. К. Білодід. Розвиток мов соціалістичних націй СРСР.— Київ, 1967. 286 стр.
- И. Г. Голонов. Морфология современного русского языка.— М., 1967. 286 стр.
- Г. Б. Джаукян. Очерки по истории дописьменного периода армянского языка.— Ереван, 1967. 382 стр.
- A. Alhoniemi. Über die Funktionen der Wohinkasus im Tschremissischen.— Helsinki, 1967. 374 стр.
- R. Arnold, K. Hansen. Phonetik der englischen Sprache.— Leipzig, 1966. 160 стр.
- E. Beöthy. Die Bezeichnungen für Himmelsrichtungen in den finnisch-ugrischen Sprachen.— Bloomington, 1967. 241 стр.
- J. H. Friend. The development of American lexicography 1798—1864.— Mouton — The Hague — Paris, 1967. 129 стр.
- E. Gårding. Internal juncture in Swedish.— Gleerup/Lund, 1967. 189 стр.
- J. Gondal. A concise elementary grammar of the Sanskrit language.— Leiden, 1966. 152 стр.
- A. Graur. The romance character of Romanian.— Bucharest, 1967. 73 стр.
- M. A. K. Halliday. Intonation and grammar in British English.— Mouton, 1967. 61 стр.
- J. Hamn. Psalterium Vindobonense.— Wien, 1967, 369 стр.
- F. Hinz. Altkaschubisches Gesangbuch.— Berlin, 1967. 193 стр.
- H. Key. Morphology of Cayuvava.— Mouton, 1967. 73 стр.
- Z. Klemensiewicz. Studia syntaktyczne.— Wrocław — Warszawa — Kraków, 1967. 50 стр.
- J. Knobloch. Sprachwissenschaftliches Wörterbuch. IV.— Heidelberg, 1967. Стр. 241—320.
- M. Korjonen. Die Konjugation im Lappischen. I.— Helsinki, 1967. 364 стр.
- M. Kruszewski. Wybór pism.— Wrocław — Warszawa — Kraków. 1967. 171 стр.
- A. H. Kuipers. The Squamish language.— Mouton, 1967. 407 стр.
- S. Marcus. Introduction mathématique à la linguistique structurale.— Paris, 1967. 281 стр. 1
- R. Røed. Zwei Studien über den prädikativen Instrumental im Russischen.— Oslo, 1966. 94 стр.
- W. P. Schmid. Alteuropa und der Osten im Spiegel der Sprachgeschichte.— Innsbruck, 1966. 15 стр.
- C. Swanson. The names in Roman verse.— The University of Wisconsin press, 1967. 425 стр.
- J. Zsilka. The system of Hungarian sentence patterns.— Bloomington, 1967. 167 стр.


CONTENTS

Greetings to the VI International Congress of slavists; **Articles:** J. B e l i č (Prague). Trends and tasks of Czech dialectology; J. S t o l z (Bratislava). Trends, problems and tasks of Slovak dialectology; S. M i c h a l k (Budyšin), Research work on Sorbic dialectology; **Discussions:** V. I. G e o r g i e v (Sofia). Phonematic and morphematic approach to the explanation of inflections in the Slavonic languages; S. B. B e r n s t e i n (Moscow). Introduction to Slavonic morphonology; J. V u i t o v i č (Warsaw). On the origin of mazurenje; Y. S. M a s l o v (Leningrad). On the principal and intermediate levels in the structure of language; **Materials and notes:** V. V. K o l e s o v (Leningrad). Phonetic characteristics of reduced vowels in the Russian language of the XI century; A. V. B o n d a r k o (Leningrad). General and private meanings of grammatical forms; **From the history of linguistics:** L. A. B u l a k h o v s k y. Morphological problematics of Russian bird-names; **From the foreign periodicals:** E. M. U h l e n b e c k (Leiden). Some further remarks on generative grammar; **Critics and bibliography;** **A letter to the Editorial Office:** V. I. M a l y š e v (Leningrad). A serious defect of a good edition; **Scientific life.**

SOMMAIRE

Congratulation au VI Congrès International des slavistes; J. B e l i č (Prague). L'état actuel et tâches ultérieures de dialectologie tchèque; J. S t o l z (Bratislave). L'état actuel, problèmes et tâches ultérieures de dialectologie slovaque; S. M i c h a l k (Budyšin). Recherches sur la dialectologie sorbe; **Discussions:** V. I. G e o r g i e v (Sofia). Étude phonématique et morphématique des désinences slaves; S. B. B e r n s t e i n (Moscou). Introduction à la morphonologie slave; J. V o u y t o v i č (Varsovie). Sur l'origine de mazurenje; Y. S. M a s l o v (Leningrad). Sur les niveaux principaux et intermédiaires dans la structure de la langue; **Matériaux et notices:** V. V. K o l e s o v (Leningrad). Caractéristiques phonétiques des voyelles réduites dans la langue russe de XI siècle; A. V. B o n d a r k o (Leningrad). Significations générales et privées des formes grammaticales; **De l'histoire de la linguistique:** L. A. B u l a k h o v s k i j. Problèmes morphologiques dans l'étude des noms d'oiseaux en russe; **Extraits des périodiques étrangers:** E. M. U h l e n b e c k (Leiden). Une fois de plus sur la grammaire générative; **Critique et bibliographie;** Une lettre à la rédaction: V. I. M a l y š e v (Leningrad). Une faute sérieuse d'une bonne édition; **Vie scientifique.**

Технический редактор *Т. В. Таржанова*

Сдано в набор 29/IV-1933 г. Т-10316 Подписано к печати 5/VII-1933  Тираж 6085 экз.
Зак. 540 Формат бумаги 70×108¹/₁₆ Усл. печ. л. 13,3 Бум. л. 4¹/₂ Уч.-изд. л. 15,3